Габриэль
Гарсиа Маркес

1982 год
Нобелевская премия

Сто лет одиночества

[роман]

Annotation

Одна из величайших книг XX века.

Странная, поэтичная, причудливая история города Макондо, затерянного где-то в джунглях, – от сотворения до упадка.

История рода Буэндиа – семьи, в которой чудеса столь повседневны, что на них даже не обращают внимания.

Клан Буэндиа порождает святых и грешников, революционеров, героев и предателей, лихих авантюристов – и женщин, слишком прекрасных для обычной жизни.

В нем кипят необычайные страсти – и происходят невероятные события.

Однако эти невероятные события снова и снова становятся своеобразным «волшебным зеркалом», сквозь которое читателю является подлинная история Латинской Америки…

- Габриэль Гарсиа Маркес
  -
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Габриэль Гарсиа Маркес
Сто лет одиночества

Посвящается Хоми Гарсии Аскот и Марии Луизе Элио

Много лет спустя, перед самым расстрелом, полковник Аурелиано Буэндия припомнит тот далекий день, когда отец повел его поглядеть на лед.

Макондо был тогда небольшим поселком из двадцати глинобитных, с камышовыми кровлями домишек, стоявших на берегу реки, которая несла свои прозрачные воды по ложу из белых, гладких и огромных, как доисторические яйца, валунов. Мир был таким первозданным, что многие вещи не имели названия и на них просто тыкали пальцем. Каждый год в марте месяце лохмотное цыганское племя ставило свой шатер близ поселка, и под звонкое дребезжание бубнов и визготню свистулек пришельцы показывали жителям новейшие изобретения. Вначале они привезли магнит. Коренастый цыган с кудлатой бородой и воробьиными руками-лапками назвал свое имя – Мелькиадес – и стал демонстрировать обомлевшим зрителям не что иное, как восьмое чудо света, сотворенное, по его словам, учеными-алхимиками из Македонии. Цыган ходил из дома в дом, потрясая двумя брусками железа, и люди вздрагивали от ужаса, видя, как тазы, кастрюли, жаровни и ухваты подпрыгивают на месте, как поскрипывают доски, с трудом удерживая рвущиеся из них гвозди и болты, а вещицы, давным-давно исчезнувшие, объявляются именно там, где все было перерыто в их поисках, и скопом несутся к волшебному железу Мелькиадеса. «Всякая вещь – живая, – объявил цыган категорично и сурово. – Надо только суметь разбудить ее душу». Хосе Аркадио Буэндия, чье необузданное воображение превосходило чудотворный гений самой природы и даже силу магии и волшебства, подумал, что неплохо было бы приспособить это в общем никчемное открытие для выуживания золота из земли. Мелькиадес, будучи человеком порядочным, предупредил: «Ничего не получится». Но Хосе Аркадио Буэндия тогда еще не верил в порядочность цыган и променял своего мула и нескольких козлят на две намагниченные железки. Урсула Игуаран, его жена, хотела за счет домашней скотины увеличить скромный семейный достаток, но все ее уговоры были напрасны. «Скоро золотом дом завалим, девать будет некуда», – отвечал муж. Несколько месяцев кряду он усердно отстаивал неопровержимость своих слов. Шаг за шагом прочесывал местность, даже русло реки, таща за собой на веревке два железных бруска и повторяя громким голосом заклинание Мелькиадеса. Единственное, что ему удалось обнаружить в недрах земных, были насквозь проржавевшие военные доспехи пятнадцатого века, глухо звякавшие при постукивании, как сухая тыква, начиненная камнями. Когда Хосе Аркадио Буэндия и его четверо помощников разобрали находку на части, под латами оказался белесый скелет, на темных позвонках которого болталась ладанка с женским локоном.

В марте цыгане пришли опять. На этот раз они принесли подзорную трубу и лупу величиной с бубен и выдавали их за последнее изобретение евреев из Амстердама. Они посадили в другом конце поселка свою цыганку, а трубу поставили у входа в шатер. Уплатив пять реалов, люди прилипали глазом к трубе и видели перед собой цыганку в мельчайших подробностях. «Для науки нет расстояний, – вещал Мелькиадес. – Скоро человек, не выходя из дому, увидит все, что творится в любом уголке земли». Однажды в жаркий полдень

цыгане, манипулируя своей огромной лупой, устроили потрясающее зрелище: на охапку сена, брошенного среди улицы, они направили пучок солнечных лучей, и сено полыхнуло огнем. Хосе Аркадио Буэндия, который не мог успокоиться после провала своей затеи с магнитами, тотчас сообразил, что это стекло можно использовать как боевое оружие. Мелькиадес снова попытался отговорить его. Но в конечном счете цыган согласился отдать ему лупу в обмен на два магнита и три золотые колониальные монеты. Урсула рыдала от горя. Эти деньги пришлось вытаскивать из сундучка с золотыми дублонами, которые ее отец копил всю свою жизнь, отказывая себе в лишнем куске, и которые она хранила в дальнем углу под кроватью в надежде, что подвернется счастливый случай для их удачного применения. Хосе Аркадио Буэндия не соизволил даже утешить жену, отдавшись своим нескончаемым экспериментам с пылом истого исследователя и даже с риском для собственной жизни. Стремясь доказать губительное воздействие лупы на живую силу противника, он сфокусировал солнечные лучи на себе самом и получил сильнейшие ожоги, обратившиеся в язвы, которые с трудом заживали. Да что там, – он не пожалел бы и собственный дом, если бы не бурные протесты жены, устрашенной его опасными трюками. Долгие часы проводил Хосе Аркадио в своей комнате, рассчитывая стратегическую боеспособность новейшего оружия, и даже написал наставление, как его применять. Это удивительно доходчивое и неотразимо обоснованное наставление он отправил властям вместе с многочисленными описаниями своих опытов и несколькими рулонами пояснительных чертежей. Его гонец перебрался через горы, чудом вылез из бескрайней трясины, переплыл бурные реки, едва спасся от диких зверей и чуть не погиб от отчаяния и всякой заразы, прежде чем доплелся до дороги, где возили почту на мулах. Хотя поездка в столицу была по тем временам затеей почти нереальной, Хосе Аркадио Буэндия обещал приехать по первому распоряжению Правительства, чтобы продемонстрировать военным властям свое изобретение на практике и лично обучить их сложному искусству солнечных войн. Несколько лет ждал он ответа. Наконец, отчаявшись чего-нибудь дождаться, он поделился с Мелькиадесом своим горем, и тут цыган предъявил неоспоримое доказательство своей порядочности: забрав назад лупу, вернул ему золотые дублоны, да еще дал несколько португальских мореходных карт и кое-какие навигационные приборы. Цыган собственноручно написал для него краткий конспект поучений монаха Германа, как пользоваться астролябией, буссолью и секстантом. Хосе Аркадио Буэндия провел долгие месяцы дождливого сезона, запершись в сарае, специально пристроенном к дому, чтобы никто не мешал ему в его изысканиях. В сухую пору, полностью забросив домашние дела, он проводил ночи напролет в патио, наблюдая за ходом небесных тел, и едва не получил солнечный удар, стараясь точно определить зенит. Когда он в совершенстве овладел знаниями и инструментами, у него появилось блаженное ощущение необъятности пространства, что позволяло ему плавать по незнакомым морям и океанам, бывать на необитаемых землях и вступать в сношения с восхитительными созданиями, не покидая своего научного кабинета. Именно в это время он приобрел привычку разговаривать сам с собой, прохаживаясь по дому и никого не замечая, тогда как Урсула в поте лица своего трудилась с детьми на земле, выращивая маниоку, ямс и малангу, тыквы и баклажаны, ухаживая за бананами. Однако ни с того ни с сего лихорадочная деятельность Хосе Аркадио Буэндии вдруг прекратилась, уступив место странному оцепенению. Несколько дней он сидел как завороженный и непрерывно шевелил губами, словно повторял какую-то поразительную истину и сам не мог поверить себе. Наконец, в один из декабрьских

вторников, за обедом он разом сбросил с себя груз тайных переживаний. Его дети до конца жизни будут помнить ту величественную торжественность, с какой их отец занял место во главе стола, трясясь как в лихорадке, изнуренный бессонницей и бешеной работой мозга, и сообщил о сделанном им открытии: «Наша земля кругла, как апельсин». Терпение Урсулы лопнуло: «Если ты хочешь вконец спятить – дело твое. Но детям не забивай мозги цыганской брехней». Хосе Аркадио Буэндия, однако, и глазом не моргнул, когда жена в гневе грохнула астролябию об пол. Он смастерил другую, собрал в сарайчике односельчан и, опираясь на теорию, в которой никто из них ничего не смыслил, рассказал, что, если все время плыть на восток, можно опять оказаться в точке отправления.

Поселок Макондо уже склонялся к тому, что Хосе Аркадио Буэндия сошел с ума, но тут явился Мелькиадес и все расставил по местам. Он публично воздал должное разуму человека, который, наблюдая за ходом небесных светил, теоретически доказал то, что практически уже давно доказано, хотя пока еще и не известно жителям Макондо, и в знак своего восхищения преподнес Хосе Аркадио Буэндии подарок, которому было суждено определить будущее поселка: полный набор алхимической утвари.

К этому времени Мелькиадес уже заметно постарел. В годы первых своих посещений Макондо он выглядел ровесником Хосе Аркадио Буэндии. Но если тот еще не потерял свою силищу, позволявшую ему валить наземь коня, ухватив его за уши, то цыган, казалось, хирел от какой-то неодолимой болезни. На самом же деле это были последствия многих экзотических хворей, подхваченных им в бесчисленных странствиях по белу свету. Он сам рассказывал, помогая Хосе Аркадио Буэндии устраивать свою алхимическую лабораторию, что смерть грозила ему на каждом шагу, хватала за штанину, но никак не решалась добить. Он сумел увильнуть от многих бед и катастроф, казнивших род людской. Спасся от пеллагры в Персии, от цинги в Малайзии, от проказы в Александрии, от бери-бери в Японии, от бубонной чумы в Мадагаскаре, уцелел при землетрясении на Сицилии и при страшнейшем кораблекрушении в Магеллановом проливе. Этот чудодей, который говорил, что знает истоки магии Нострадамуса, был невеселым человеком, навевавшим грусть; его цыганские глаза, казалось, видели насквозь и вещи, и людей. Он носил большую черную шляпу, широкие поля которой колыхались, как крылья ворона, и бархатный жилет, позеленевший патиной веков. Но при всей своей глубокой мудрости и непостижимой сути он был плоть от плоти земных существ, застрявших в сетях проблем обыденной жизни. Его донимали старческие недуги, ему портили настроение мелкие денежные траты, он давно уже не мог смеяться из-за того, что цинга вытащила у него все зубы. Хосе Аркадио Буэндия был уверен, что именно в тот душный полдень, когда цыган поведал ему свои секреты, зародилась их тесная дружба. Дети, раскрыв рот, слушали чудесные рассказы. Аурелиано – в ту пору пятилетний малыш – на всю жизнь запомнит Мелькиадеса, который сидел у окна под струями расплавленного солнца и своим низким, звучным, как орган, голосом ясно и понятно говорил о самых темных и непостижимых явлениях природы, а по его вискам ползли вниз горячие капли жирного пота. Хосе Аркадио, старший брат Аурелиано, завещает неизгладимое впечатление, оставленное этим человеком, всему своему потомству. Урсула, напротив, долго будет с отвращением вспоминать о визите цыгана, потому что она вошла в комнату как раз тогда, когда Мелькиадес, взмахнув рукой, разбил пузырек с хлористой ртутью.

– Так пахнет дьявол, – сказала она.

– Ничего подобного, – возразил Мелькиадес. – Доказано, что дьявол попахивает серой, а это просто легкий запах сулемы.

И в продолжение своих откровений он стал было рассказывать о дьявольских свойствах киновари, но Урсула, не слушая его, увела детей молиться Богу. Тошнотворный запах навсегда сольется в ее памяти с образом Мелькиадеса.

Примитивная лаборатория располагала, не считая множества котелков, воронок, реторт и фильтров, маленькой печью, стеклянной колбой с длинным горлышком (некоей имитацией «философского яйца») и дистиллятором, который смастерили сами цыгане, руководствуясь новейшими описаниями трехтрубного перегонного куба Марии Иудейской. Кроме всего прочего, Мелькиадес дал образцы семи металлов, соответствующих семи планетам; показал формулы Моисея и Зосимы для производства золота, оставил рисунки и заметки, раскрывающие секрет Великого осадка и позволяющие тому, кто в них разбирается, сотворить философский камень. Соблазненный простотой формулы получения золота, Хосе Аркадио Буэндия несколько недель и так и эдак подъезжал к Урсуле, чтобы она вытащила на свет Божий все свои золотые монеты и позволила приумножить их число на столько, на сколько капель можно разлить банку ртути. Урсула, как обычно, уступила бычьему упрямству мужа. Хосе Аркадио Буэндия бросает тридцать дублонов в тигель и, добавив медные опилки, аурипигменты, ртуть и свинец, все сплавляет воедино. Полученный слиток кидает в котел с касторовым маслом и кипятит на сильном огне до тех пор, пока масло не превращается в густое вонючее варево, по виду больше похожее на дешевое повидло, чем на драгоценный металл. После опасных и отчаянных опытов по выпариванию жидкости, по привариванию слитка к семи планетарным металлам, по его обработке герметической ртутью и купоросом и после повторной варки в свином сале – за неимением репейного масла – ценнейшее наследство Урсулы обратилось в кусок обугленной поджарки, намертво припекшейся ко дну котла.

Когда цыгане явились снова, Урсула уже успела настроить против них все селение. Но любопытство пересилило страх, ибо на сей раз цыгане остервенело били в бубны и барабаны, а глашатай возвещал о том, что будет выставлено напоказ самое удивительное открытие неких назианцев. И люди повалили к шатру, уплатили по сентаво, и пред ними предстал Мелькиадес – молодцеватый, подтянутый, гладколицый, с белыми блестящими зубами. Тех, кто помнил его изъеденные цингой десны, его ввалившиеся щеки и изжеванные губы, объял суеверный ужас перед этим неопровержимым доказательством сверхъестественных способностей цыгана. Ужас перешел в неописуемое изумление, когда Мелькиадес вытащил изо рта обе челюсти вместе с розовыми деснами и минуту махал ими перед публикой, на эту короткую минуту опять сделавшись потрепанным жизнью стариком, – затем вставил зубы на место и снова широко заулыбался в горделивом сознании своей возвращенной молодости. Даже сам Хосе Аркадио Буэндия подумал, что возможности Мелькиадеса граничат с всесилием сатаны, но на сердце у него полегчало, когда цыган открыл ему секрет вставных зубов. Это оказалось так просто, хотя выглядело так фантастично, что Хосе Аркадио Буэндия сразу же утратил всякий интерес к алхимическим опытам. Его снова одолела хандра, он потерял аппетит и с утра до вечера бесцельно бродил по дому. «В мире творятся невероятные вещи, – говорил он Урсуле. – Даже рядом, на другом конце низины, каких только нет чудесных придумок, а мы тут живем, как стадо ослов». Люди, знавшие его со времен основания Макондо, диву давались, как он изменился под воздействием Мелькиадеса.

Прежде Хосе Аркадио Буэндия был своего рода молодым патриархом, который указывал, когда сеять, советовал, как воспитывать детей и ухаживать за скотиной, и сам помогал

другим, не чураясь тяжелой работы, чтобы в общине царили мир и порядок. Поскольку его дом был построен первым, да к тому же добротно и красиво, люди в поселке строили свои жилища по его образцу и подобию. В доме Буэндии была светлая и большая комната для гостей, столовая на террасе, увитой яркими цветами, две спальни, дворик-патио с гигантским каштаном, а возле дома – большой ухоженный огород и корраль, где мирно соседствовали козы, свиньи и куры. В этом доме, как, впрочем, и во всем селении, не держали только одну живность – бойцовых петухов.

В работе Урсула не отставала от мужа. Сноровистая, дотошная, основательная женщина с крепкими нервами, которая не ведала, что такое петь песни, и умела сразу поспевать всюду, с утра и до вечера шуршала в доме своими легкими полотняными юбками. Благодаря ей земляной пол, глинобитные стены, грубая самодельная мебель были идеально чисты, а старые лари, где хранилась одежда, источали слабый аромат альбааки.

Хосе Аркадио Буэндия, который был самым смекалистым человеком в поселке, предложил строить дома в таком порядке, чтобы всем было одинаково удобно спускаться к реке за водой, и так пробить улицы среди деревьев, чтобы в полуденный зной каждый дом не жарился бы на солнце больше, чем соседний. За несколько лет Макондо превратился в самый процветающий и благоустроенный поселок из всех тех, которые когда-либо видели его триста жителей. Это действительно был счастливый поселок, где никому еще не было больше тридцати и где еще никто не умирал. В годы основания Макондо Хосе Аркадио Буэндия стал мастерить клетки и силки. Очень скоро иволги, канарейки, малиновки и синицы заполонили не только его дом, но и все дома поселка. Разноголосые птичьи концерты всех доводили до одури, и Урсула затыкала себе уши пчелиным воском, чтобы от трезвона ум не зашел за разум. Когда в Макондо впервые объявились сородичи Мелькиадеса для продажи стеклянных шариков от головной боли, люди удивились, как это пришельцам удалось разыскать поселок, затерянный среди дремотных болот и лесов, и цыгане признались, что их сюда привел пронзительный птичий гомон.

Однако пристрастие Хосе Аркадио Буэндии к общественной деятельности как-то вдруг исчезло, уступив место магнитной лихорадке, астрономическим вычислениям, старанию изменить природу металлов и жажде познать чудеса света. Деятельный и аккуратный Хосе Аркадио Буэндия превратился в, казалось бы, никчемного, неряшливого человека с лохматой бородой, которую Урсула, прилагая немалые усилия, подрезала кухонным ножом. Кое-кто считал его жертвой черного колдовства. Но даже те, кто был уверен, что он не совсем в себе, бросили работу и дом и последовали за ним, когда он, положив на плечо топор с заступом, обратился к людям с призывом всем вместе пробить тропу из Макондо к великим мировым достижениям.

Хосе Аркадио Буэндия совершенно не разбирался в топографии местности. Он лишь знал, что на востоке тянется неприступная горная цепь, а по ту сторону гор лежит древний город Риоача, где в старые времена – как ему рассказывал его дед, первый Аурелиано Буэндия, – сэр Фрэнсис Дрейк любил стрелять из пушек по крокодилам, которых затем потрошили, подлатывали, набивали соломой и отправляли в дар королеве Елизавете. В юности Хосе Аркадио Буэндия и другие парни, забрав жен, скотину и домашний скарб, сумели перебраться через горы в поисках выхода к морю, но после более чем двухлетних скитаний отказались от своей затеи и основали Макондо, чтобы не тащиться обратно. Поэтому его совсем не манил путь на восток, который мог привести только в прошлое. К югу простиралась болотистая низина, покрытая вечнозеленым живым ковром, и эта необозримая

топкая вселенная, по свидетельству цыган, действительно не имела пределов. На западе Великая топь сливалась с безграничной водной стихией, где водились китообразные русалки с нежной кожей, сводившие с ума мореплавателей своими соблазнительно неохватными грудями. Цыгане полгода плыли этим путем, пока достигли полоски твердой земли, где шагали почтовые мулы. По расчетам Хосе Аркадио Буэндии, единственную возможность пробиться к цивилизации давал путь на север. И он снабдил орудиями труда и охотничьими ружьями тех же мужчин, которые возводили Макондо, положил в котомку приборы ориентирования и карты, и отряд пустился в рискованную авантюру.

Первые дни не доставили особых забот. Путники дошли по каменистому берегу реки до того места, где несколько лет назад они наткнулись на старинные доспехи, и оттуда вступили в лес, прокладывая тропку в диких апельсиновых рощах. К концу первой недели убили и зажарили оленя, но съели только половину, а остальное мясо засолили впрок. Надо было по возможности отдалить тот день, когда придется есть синее мясо попугаев-гуакамайо, бьющее в нос мускусом. Затем более десяти дней они не видели солнца. Почва сделалась влажной и мягкой, как вулканический пепел; заросли становились одним сплошным коварством, в их гуще глохли крики птиц и визгливая болтовня обезьян, мир навсегда погружался в печаль. В этом не знавшем первородного греха раю тишины и сырости, где сапоги тонули в маслянистых дымящихся лужах, а мачете крошили золотистых саламандр и кровоточащие ирисы, людей одолевали воспоминания о давным-давно позабытом. Целую неделю шли они вперед, почти молча, как лунатики, сквозь вселенную мрака и скорби, где лишь слабо мерцали светляки, а грудь распирало удушливым духом гнили. Обратно не было хода, потому что прорубленная тропа почти на глазах опять зарастала зеленью. «Не страшно, – говорил Хосе Аркадио Буэндия. – Главное – не сбиться с намеченного пути». Строго следуя компасу, он упрямо вел своих людей к невидимому северу, пока наконец они не выбрались из заколдованных мест. Стояла темная беззвездная ночь, но темь была пропитана новым, свежим воздухом. Изнуренные долгим переходом люди повесили гамаки и впервые за две недели забылись глубоким сном. Когда они проснулись, солнце стояло уже высоко и открывало им совершенно невероятное зрелище. Прямо перед ними в окружении пальм и папоротников, поблескивая дымчатой белизной в тихом утреннем свете, возвышался громадный испанский галион. Корабль слегка накренился на правый борт, и с уцелевших высоких мачт свисали тощие обрывки парусов и увитые роскошными орхидеями снасти. Корпус в панцире из окаменевших моллюсков, расцвеченный бархатным мхом, навеки врос в твердь земную. Казалось, это сооружение стоит в собственном пространстве, в зоне забвения и одиночества, запретной и для капризов времени, и для птичьих гнездовий. Внутри галиона, жадно и тщательно обысканного людьми, не оказалось ничего, кроме непролазного витья цветов.

Встреча с кораблем – свидетельство близости моря – погасила душевное горение Хосе Аркадио Буэндии. Он думал, что его лукавая судьба снова зло над ним посмеялась, как тогда, когда, претерпев массу мук и лишений, он не нашел моря, которое искал, а теперь вдруг встретил это самое море, перекрывшее ему дорогу и ставшее неодолимой преградой на пути. Много лет спустя полковник Аурелиано Буэндия тоже окажется в этих местах, когда здесь пройдет уже обычный почтовый тракт, и увидит обгоревший корабельный остов посреди плантации красных маков. Лишь тогда он убедится, что эта история не была плодом фантазии отца, и спросит себя: «Каким образом галион мог очутиться так далеко от побережья?» Но Хосе Аркадио Буэндию отнюдь не волновал этот вопрос, когда он увидел

море на пятый день пути, в двенадцати километрах от галиона. Рухнули его мечты у этой пепельно-серой, пенной и грязной воды, которая не стоила жертв и страданий пройденного пути.

– Мать твою! – вскричал он. – Макондо пропал! Вокруг – вода!

Убеждение в том что Макондо находится на полуострове, господствовало очень долго, основываясь на далеко не бесспорных данных карты, которую составил Хосе Аркадио Буэндия по возвращении из похода. Он нарочно преувеличил трудности прокладки дороги, вложив в чертеж всю злость на себя, словно в наказание за свою недальновидность при выборе места для поселка. «Нам отсюда вовек не вылезти, – жаловался он Урсуле. – Будем гнить тут заживо, не получая пользы от науки». Эта мысль, сверлившая ему мозг не один месяц в сарае-лаборатории, заставила его решиться на перенос Макондо в более удобное место. Но на сей раз Урсула успела помешать его бредовой затее. Трудясь тихо и упорно, как муравей, она настраивала женщин поселка против непостоянства мужчин, которые уже нацелились сменить один дом на другой. Хосе Аркадио Буэндия не заметил, с какого времени и благодаря каким вражьим козням его замыслы стали опутываться сетями сомнений, увиливаний и возражений, пока не превратились для всех в чистейшую мечту. Урсула с невинным видом наблюдала за мужем и в душе испытала даже некоторую жалость к нему, когда однажды утром заметила, как в своем сарае он, что-то бормоча под нос о переезде, укладывает лабораторные приборы в специальные ящики. Она дала ему закончить дело. Дала ему забить гвоздями ящики и на каждом начертить чернилами свои инициалы, не упрекнув его ни единым словом, но прекрасно зная, что и он знает (она это поняла, слушая его ворчливые монологи): мужчины не пойдут за ним из поселка. Лишь тогда, когда он начал снимать в сарайчике дверь с петель, Урсула решилась спросить его, зачем он это делает, и он ответил ей с долей горечи: «Раз никто не желает идти, мы уйдем вдвоем». Урсула пальцем не шевельнула.

– Мы никуда не пойдем, – сказала она. – Мы останемся здесь, потому что здесь у нас родился сын.

– Но у нас в семье еще никто не умер, – сказал он. – Человек – вольная птица, пока мертвец не свяжет его с землей.

Урсула возразила тихо, но твердо:

– Если надо, чтобы я умерла, лишь бы остаться здесь, я умру.

Хосе Аркадио Буэндия не верил в несгибаемость ее воли. Он попытался заворожить жену своей бурной фантазией, обещанием чудесной жизни в мире, где стоит лишь окропить землю волшебной жидкостью, чтобы всякий овощ и фрукт вызревал в мгновение ока и где за бесценок можно купить любое лекарство от всех болезней. Но Урсула не поддавалась его чарам ясновидца.

– Вместо того чтобы пороть чепуху, ты лучше бы занялся своими детьми, – отвечала она. – Посмотри на них, растут, как бурьян, по воле Господа Бога.

Хосе Аркадио Буэндия понял слова жены в буквальном смысле. Он взглянул в окно, увидел на солнечном огороде двух босоногих мальчишек, и ему почудилось, что они появились на свет только сейчас, рожденные вдруг упреком Урсулы. Что-то в нем дрогнуло, что-то необъяснимое и бесповоротное вырвало из настоящего времени и вернуло в непознанную область воспоминаний. Пока Урсула продолжала подметать полы в доме, который – теперь она была уверена – не оставит до конца жизни, Хосе Аркадио Буэндия растерянно глядел на мальчиков, и глаза его увлажнились; он отер веки тыльной стороной

руки и издал глубокий вздох самоотречения.

– Ладно, – сказал он. – Пусть придут и помогут мне вытряхнуть вещи из ящиков.

Старшему из сыновей, Хосе Аркадио, исполнилось четырнадцать лет. У него была квадратная голова, взъерошенные волосы и упрямый норов отца. Но хотя он тоже обещал стать могучим мужчиной, сразу было заметно, что силы воображения у него маловато. Он был зачат и рожден во время труднейшего перехода через горы, еще до основания Макондо, и родители воздали хвалу Господу Богу, что ребенок вроде бы ничем не смахивает на звереныша. Аурелиано – второй сын – стал первым существом, родившимся в Макондо, и в этом марте ему исполнялось шесть лет. Он был тих и нелюдим. Заплакал еще во чреве матери и родился с открытыми глазами. Когда ему отрезали пуповину, он крутил головой, оглядывая вещи в комнате, и всматривался в лица людей с любопытством, но без всякого удивления. Потом, не обращая внимания на толпившихся вокруг него, уставился не моргая на кровлю из пальмовых листьев, которая вот-вот должна была рухнуть под напором страшного ливня. Урсула не вспоминала о силе его взгляда до того дня, когда маленький, трехлетний Аурелиано вошел на кухню, а она как раз в ту минуту сняла с огня и поставила на стол горшок с горячей похлебкой. Ребенок, застыв в смущении на пороге, произнес: «Сейчас упадет». Горшок стоял на самой середине стола, но, как только прозвучал голос мальчика, начал неудержимо скользить к краю, словно движимый внутренней энергией, грохнулся на пол. Урсула, испугавшись, рассказала об этом случае мужу, но тот лишь пожал плечами: явление вполне естественное. Отец всегда оставался безучастным и равнодушным к жизни своих сыновей, отчасти потому, что считал детство периодом умственной неполноценности, отчасти потому, что всегда был целиком поглощен собственными химерическими затеями.

Но с того дня, когда Хосе Аркадио Буэндия позвал сыновей помочь ему вынуть из ящиков лабораторные приборы, он стал посвящать им очень много времени. В уединенной пристройке, стены которой постепенно затягивались фантастическими картами и диковинными рисунками, он учил их читать и писать, производить сложение и вычитание, рассказывал им о чудесах света – не только известных ему самому, но и порожденных его мощным воображением. Таким образом дети узнали, что на южной оконечности Африки живут миролюбивые и радушные люди, единственное занятие которых – сидеть и предаваться думам, и что Эгейское море можно перейти посуху, прыгая с острова на остров вплоть до порта Салоники. Эти удивительные рассказы так запечатлелись в памяти детей, что многие годы спустя, перед самым расстрелом, стоя в ожидании команды офицера правительственных войск «Взвод, товьсь, пли!», полковник Аурелиано Буэндия вдруг снова перенесется в тот теплый мартовский день, когда отец, прервав урок физики, застынет на месте с поднятой рукой и остановившимся взглядом, прислушиваясь как зачарованный к далеким звукам флейт, бубнов и барабанов, возвещавших о прибытии в поселок цыган, которые покажут новейшие и поразительные открытия мудрецов Мемфиса.

Это были уже другие цыгане. Молодые мужчины и женщины, говорившие только на своем языке, великолепные экземпляры с лоснящейся от масел кожей и сноровистыми руками. Их музыка и танцы разливали на улицах головокружительное веселье, их радужные попугаи хрипло пели итальянские романсы, а курица несла до сотни золотых яиц без отдыха под аккомпанемент бубна, а ученая обезьяна угадывала мысли, а механическая мельница одновременно пришлепывала пуговицы к одежде и ветерком сгоняла жар при лихорадке, а какой-то насос вытягивал из сердца горькие воспоминания; был там и пластырь, к которому липло потерянное время, и еще тысяча всяких вещей, таких сногсшибательных и необычных,

что Хосе Аркадио Буэндии захотелось изобрести машину памяти, чтобы ни о чем не забывать. В мгновение ока цыгане перевернули всю жизнь поселка. Обитатели Макондо блуждали как потерянные, не узнавая своих улиц, где царило ярмарочное светопреставление.

Таща детей за руки, чтобы не потерять их в сумятице, натыкаясь то на жулика с золотой броней на зубах, то на жонглера о шести руках, задыхаясь и одуревая от запахов навоза и сандала, распространяемых толпой, Хосе Аркадио Буэндия шарахался из стороны в сторону в поисках Мелькиадеса, чтобы тот помог ему разобраться в тьме-тьмущей тайн этого феерического кошмара. Он обращался ко многим цыганам, но они не понимали его языка.

Наконец он очутился на том месте, где Мелькиадес обычно ставил свой шатер, но нашел там только меланхоличного цыгана из Армении, который по-испански рекламировал напиток, превращающий человека в невидимку. Цыган только что осушил рюмку какой-то янтарной жидкости, когда Хосе Аркадио Буэндия ринулся к нему, расталкивая жаждущих чуда завороженных зевак, и успел задать ему свой вопрос. Тот объял его рассеянным удивленным взглядом и превратился в лужу вонючей клубящейся смолы, над которой воспарил отзвук слов: «Мелькиадес умер». Хосе Аркадио Буэндия стоял как вкопанный, стараясь осмыслить услышанное, освоиться с горем, пока люди не рассеялись в поисках нового чудодейства, а лужа, оставшаяся от меланхоличного армянина, не выгорела до последней капли. Позже другие цыгане подтвердили, что Мелькиадес погиб от желтой лихорадки в прибрежных топях Сингапура, а его тело брошено в море у берегов Явы в самом глубоком месте. Детей не тронула эта новость. Они приставали к отцу, чтобы он показал им диво дивное мудрецов из Мемфиса, о чем гласила надпись над входом в один из шатров, который, как говорили, принадлежал когда-то царю Соломону. Дети так теребили отца, что Хосе Аркадио Буэндия заплатил тридцать реалов и повел их в шатер, где великан с бритым черепом и волосатым торсом, с медным кольцом в носу и тяжелой цепью на щиколотке охранял большой пиратский сундук. Когда великан открыл крышку, из сундука дохнуло холодом. Внутри лежала одна большая прозрачная глыба, сплошь пронизанная иглами, падая на которые сумеречный свет дробился на мириады многоцветных звезд. Смутившись, зная, что дети ждут разъяснений, Хосе Аркадио Буэндия нерешительно пробормотал:

– Это самый большой в мире бриллиант.

– Нет, – возразил цыган. – Это лед.

Хосе Аркадио Буэндия, ничего не поняв, потянулся к глыбе, желая ее потрогать, но великан отвел его руку. «За это еще пять реалов», – сказал он. Хосе Аркадио Буэндия уплатил деньги, опустил пальцы на лед и держал их так несколько минут, а его сердце наполнялось страхом и восторгом от приобщения к тайне. Не говоря ни слова, он отдал еще десять реалов, чтобы его сыновья познали неописуемо странное ощущение. Хосе Аркадио-младший не захотел. Аурелиано, напротив, шагнул вперед, протянул руку, но сразу же ее отдернул. «Оно жжется!» – воскликнул мальчик в испуге. Но отец его не слышал. Потрясенный реальностью чуда, он в тот момент не помнил ни о крахе своих сумасбродных планов, ни о теле Мелькиадеса, брошенном на съедение спрутам. Он заплатил еще пять реалов, положил ладонь на лед, как на Библию, и, словно давая клятву в суде, произнес:

– Это самое великое творение нашего времени.

Когда пират Фрэнсис Дрейк в XVI веке ударил по Риоаче, прабабушка Урсулы Игуаран так оробела при звуке тревожного набата и пушечных выстрелов, что ноги у нее с перепугу подкосились и она села на раскаленную печку. И от ожогов навсегда перестала быть

исправной женой. Сидеть она могла только на правой ягодице или на мягких подушках, и с походкой у нее, наверное, что-то стряслось, потому что на людях она не вставала с места. Перестала общаться с родными и близкими, вбив себе в голову, что от нее пахнет жареным мясом. Часто она сидела в патио до зари, боясь войти в дом и уснуть, потому что ей представлялось, как англичане со своими свирепыми псами врываются через окно в спальню и жгут ей срамные места каленым железом. Ее муж, торговец из Арагона, с которым она прижила двух сыновей, истратил уйму денег на лекарства и врачевание, чтобы избавить ее от страхов и терзаний. В конце концов он закрыл лавку и увез семью подальше от моря к склонам гор, в деревню мирных индейцев, где построил для жены дом со спальней без единого окошка, чтобы к ней не влезали пираты из ее кошмарных снов.

В этой далекой деревушке с давних пор жил креол дон Хосе Аркадио Буэндия, который выращивал табак. Прадед Урсулы вошел к нему в дело, оказавшееся столь доходным, что оба за десяток лет нажили состояние. Несколько веков спустя праправнук креола женился на праправнучке арагонца. И всякий раз, когда Урсуле становилось тошно от мужниных сумасбродств, она вмиг забывала про эти триста лет со всеми их перипетиями и проклинала именно тот час, когда Фрэнсис Дрейк пошел на штурм Риоачи. Но, сказать по правде, она всего лишь облегчала душу, потому что супругов связывали неразрывные, более крепкие, чем любовь, узы: общие угрызения совести. Они были двоюродными братом и сестрой. Вместе выросли в старозаветной деревушке, которую их предки своим трудом и долготерпением превратили в одно из процветающих селений провинции.

Хотя этот брак был предрешен с момента появления обоих на свет, их же собственные родители пытались им помешать, когда они выразили желание пожениться. Родителей одолевал страх, что эти пышущие здоровьем отпрыски двух столетиями варившихся в своем соку родов, к стыду обеих семей, будут производить на свет хвостатых существ. Один такой ужасающий случай уже был. Тетка Урсулы, породнившаяся с дядей Хосе Аркадио Буэндии, родила сына, который всю жизнь носил широкие обвислые штаны и умер от потери крови сорока двух лет невинным, как младенец, потому что родился и вырос с хрящеватым, скрученным в штопор хвостиком, у которого на конце была еще и кисточка. Да, со свиным хвостиком, поглядеть на который не довелось ни одной женщине и который стоил ему жизни, потому что его другу мяснику вздумалось отхватить эту завитушку топором.

Хосе Аркадио Буэндия с беззаботностью своих девятнадцати лет решил проблему одной фразой: «Пусть хоть поросята рождаются, лишь бы не хрюкали, а говорили». Они поженились, на свадьбе три дня гремела музыка и в небе лопались огненные хлопушки. И жить бы им в мире и радости, если бы мать Урсулы не запугала ее всякими жуткими предсказаниями о потомстве и не добилась бы того, что дочь отказалась жить с мужем по-людски. Боясь, что могучий и своевольный супруг станет насиловать ее во сне, Урсула надевала на ночь нечто вроде панталон, сшитых матерью из холстины, перехваченных вдоль и поперек ремнями и запиравшихся на животе массивной железной застежкой. Так прожили молодые не один месяц. Днем он натаскивал своих бойцовых петухов, а она вышивала с матерью на пяльцах. Ночью же они часами изматывали друг друга в неистовом единоборстве, которое вроде бы стало им заменять любовный акт, но народ почуял недоброе, и пошли гулять слухи, будто Урсула после года замужества все еще ходит в девственницах, потому как муж ее ни на что не годен. Дошла сплетня и до Хосе Аркадио Буэндии.

– Слышишь, Урсула, что люди-то говорят? – бесстрастно спросил он жену.

– А пусть языком болтают, – сказала она. – Мы же знаем, что это не так.

И все продолжалось, как было, еще шесть месяцев, до того злополучного воскресенья, когда петух Хосе Аркадио Буэндии в клочья разнес петуха Пруденсио Агиляра. Вне себя от проигрыша, увидев своего любимца в луже крови, Пруденсио Агиляр выскочил на середину круга и, повернувшись к Хосе Аркадио Буэндии, крикнул, чтобы все слышали:

– Поздравляю! Может, этот твой петух наконец ублажит твою жену!

Хосе Аркадио Буэндия преспокойно взял на руки своего петуха.

– Я сейчас вернусь, – сказал он зрителям. И добавил, кивнув Пруденсио Агиляру: – А ты иди домой за оружием, потому что сейчас я тебя убью.

Через десять минут он вернулся с увесистым копьем, хорошо послужившим еще его деду. У ворот арены для петушиных боев, где собралось полдеревни, его ждал Пруденсио Агиляр. Но не успел он и глазом моргнуть, как копье Хосе Аркадио Буэндии, запущенное с бычьей силой и с той невероятной меткостью, с какой Аурелиано Буэндия Первый бил когда-то здешних ягуаров, продырявило ему горло. Этой же ночью на кругу для петушиных боев люди бдели у изголовья покойника, а Хосе Аркадио Буэндия вошел в спальню и увидел, как жена натягивает на себя панталоны целомудрия. Нацелив на нее копье, он приказал: «Скинь». Урсула ни на секунду не усомнилась в решительных намерениях мужа. «За все будешь в ответе сам», – буркнула она. Хосе Аркадио Буэндия всадил копье в земляной пол.

– Родишь игуан, станем растить игуан, – сказал он. – Но в этой деревне из-за тебя больше не будет покойников.

Стояла короткая июньская ночь, прохладная и лунная, они не спали и до рассвета били смертным боем деревянную кровать, не замечая ветра, гулявшего по комнате, тяжелого от слез родственников Пруденсио Агиляра.

Ссора, по общему мнению, закончилась поединком чести, но супругам не давали покоя угрызения совести. Как-то ночью Урсуле не спалось, она вышла в патио попить воды и увидела возле глиняной бадьи Пруденсио Агиляра. Он был страшно бледный, очень грустный и старался куском пакли заткнуть дырку на шее. Урсула испытала не страх, а жалость к нему. Вернувшись в комнату, она рассказала мужу об увиденном, но он только рукой махнул. «Мертвецы не разгуливают по свету, – сказал он. – Вся беда в том, что нас замучила совесть». Спустя две ночи Урсула снова увидела Пруденсио Агиляра, который в банном сарае смывал мочалкой запекшуюся на шее кровь. Потом наступила ночь, когда она увидела его на дворе в струях дождя. Хосе Аркадио Буэндия, раздосадованный галлюцинациями жены, вышел в патио, вооружившись копьем. Там стоял мертвец, печальный, как всегда.

– Сгинь, сучий сын! – взревел Хосе Аркадио Буэндия. – Попробуй еще прийти, я снова убью тебя.

Пруденсио Агиляр не сгинул и не получил удара копьем. Хосе Аркадио Буэндия не отважился, но с тех пор потерял сон и покой. Его терзали воспоминания о безысходном отчаянии, о глубокой тоске по миру живых, светившейся во взгляде мертвеца, который высовывался из дождя или метался по дому в поисках воды, чтобы смочить кусок пакли.

«Очень он мается, бедный, – говорила Урсула супругу. – Жуть, как ему одиноко».

Ей было так его жаль, что, увидев, как мертвец заглядывает в горшки на очаге, она сразу поняла, чего ему надо, и стала расставлять для него миски с водой по всему дому. Однажды ночью Хосе Аркадио Буэндия увидел, как мертвец обтирает свою рану в его спальне, и не выдержал.

– Ладно, Пруденсио, – сказал он. – Мы уйдем из этой деревни хоть на край света и никогда сюда не вернемся. А ты успокой свою душу.

Вот так и начался их долгий переход через горы. Несколько друзей Хосе Аркадио Буэндии, таких же молодых, как он, загорелись желанием познать неведомое, побросали свои дома и, взяв с собой жен и детей, пошли искать землю, отнюдь не обетованную.

Перед уходом Хосе Аркадио Буэндия закопал свое копье в патио и отрубил головы своим великолепным бойцовым петухам, веря, что таким образом он уймет муки Пруденсио Агиляра. Урсула взяла с собой только узел с подвенечным убором, немного домашней утвари и сундучок с золотыми монетами, завещанными ей отцом. Никто не знал, каким путем идти. Надумали отправиться совсем в другую сторону от Риоачи, чтобы и свои следы замести, и знакомых не встретить. Поход оказался зряшной затеей. Спустя четырнадцать месяцев, страшно взбучив живот обезьяньим мясом и похлебками из змеи, Урсула родила сына со всеми положенными человеку частями тела. У нее сильно распухли ноги, а вены лопались, как пузыри. Половину пути она проделала в гамаке, подвешенном к шесту, который тащили на плечах двое мужчин. Хотя и на детей с их вздутыми животами и ввалившимися щеками было грустно смотреть, они переносили трудности пути легче, чем родители, и не переставали с интересом глазеть по сторонам.

Однажды утром, после почти двух лет скитаний, эти люди стали первыми смертными, увидевшими западный склон горной цепи. С подоблачной выси они смотрели на огромную болотную низину, на неохватную топь, распластавшуюся до другого конца земли. К морю они так и не вышли. Как-то ночью, проблуждав несколько месяцев по тряской низине, позабыв, когда в последний раз встречали индейцев на своем пути, маленький отряд разбил лагерь на берегу речки с каменистым дном, бурливо несшей прозрачные холодные воды. Через много лет, во времена второй гражданской войны, полковник Аурелиано Буэндия тоже попытается пробиться с этой стороны, чтобы врасплох захватить Риоачу, но на шестой день пути поймет, что это безумие. Несмотря на все невзгоды, когда отряд остановился на ночлег у реки, а сподвижники отца полковника имели вид потерпевших кораблекрушение, их было числом не меньше, а много больше, чем до похода, и все они собирались (как это и случилось) умереть в весьма преклонном возрасте. Хосе Аркадио Буэндии в ту ночь приснилось, что в этом месте вознесся шумный город с зеркальными стенами домов. Он спросил, что это за город, и услышал название, ему не ведомое, не имевшее смысла, но во сне прозвучавшее колокольным звоном, – Макондо. На следующий день он убедил своих людей, что до моря им никогда не дойти. Приказал валить деревья, чтобы очистить землю у реки, где жара не так тяжела, и там они заложили поселок.

Хосе Аркадио Буэндия не мог понять, зачем ему приснились дома с зеркальными стенами, до того дня, когда он увидел лед. Тогда ему и подумалось, что он разгадал тайный смысл сновидения. Ему представилось, что в недалеком будущем можно будет наделать массу ледяных глыб из такого вездесущего материала, как вода, и построить для всех в поселке новые жилища. Макондо больше не придется жариться на солнце, которое плавит и сгибает задвижки и скобы, и поселок станет прохладнейшим в мире городом. И если Хосе Аркадио Буэндия не оседлал своего нового конька, не стал строить фабрику льда, то лишь потому, что в ту пору серьезно увлекся образованием сыновей, главным образом – Аурелиано, в котором сразу же обнаружился незаурядный талант алхимика. Лаборатория снова ожила. Перечитывая заметки Мелькиадеса, теперь уже вдумчиво, без былой спешки, они вместе долго и терпеливо возились у чана, стараясь выделить золото Урсулы из черного слитка, припаявшегося ко дну. Хосе Аркадио-младший почти не участвовал в их занятиях. Пока отец душой и телом отдавался своей печке, его норовистый первенец, который всегда

выглядел старше своего возраста, вымахал в здорового парня. Говорил он хриплым баском. Темный пушок появился над верхней губой и на подбородке. Как-то вечером Урсула вошла к нему в комнату, когда он перед сном скидывал одежду, и испытала сперва смущение, а затем жалость к нему: после мужа она впервые видела нагого мужчину, да к тому же сын был так мощно оснащен для жизни, что она сочла это уродством. Урсула ожидала третьего ребенка, и ее снова охватили страхи, которые она испытывала после свадьбы.

Тем временем в дом Урсулы зачастила резвая, разбитная, говорливая женщина, которая помогала ей по хозяйству и умела гадать на картах. Урсула рассказала ей про сына, про один его невиданный размер, какого у людей наверняка быть не должно, как, скажем, свиного хвостика у ее брата. Женщина взорвалась звонким дребезжащим смехом, словно обрушила на дом лавину битого стекла. «Наоборот, – сказала она, – это принесет ему счастье». Чтобы подтвердить свои слова, вещунья принесла через несколько дней карты и заперлась с Хосе Аркадио в маленькой кладовке возле кухни. Женщина, что-то бормоча, неспешно раскидывала карты на старом верстаке, а юнец стоял рядом со скучающим видом. Вдруг ее рука протянулась и ощупала его. «Ну и ну!» – только и смогла выдохнуть она в искреннем изумлении. Хосе Аркадио почувствовал, что кости у него стали легче пены, грудь сжал томительный страх, и очень захотелось плакать. Женщина больше до него не дотрагивалась. Но Хосе Аркадио всю ночь искал ее в легком запахе гари, которым несло от ее подмышек и который растекся по всей его коже. Ему хотелось все время быть с ней, хотелось, чтобы она была его матерью, чтобы они никогда не выходили из кладовки и чтобы она говорила ему «ну и ну!» и снова бы его щупала и говорила «ну и ну!». Наконец, он не выдержал и пошел к ней в гости. Во время визита чувствовал себя скованно и глупо и сидел в комнате как воды в рот набрав. В эти минуты он ее не хотел. Она виделась ему не такой, совсем не похожей на ту, которая источала тот запах, здесь она была совершенно другой. Хосе Аркадио выпил кофе и ушел в полном расстройстве. Ночью в часы бессонницы на него снова накатило зверское желание, но теперь он хотел не ту, что была в кладовке, а ту, которая сидела с ним нынешним вечером.

Через несколько дней эта женщина ни с того ни с сего позвала Хосе Аркадио к себе домой и увела из комнаты, где была ее мать, в спальню, якобы показать ему карточный фокус. Там она щупала его так напористо, что, сначала вздрогнув от удовольствия, он испытал вдруг разочарование, а потом даже страх. Она пригласила его к себе этой ночью. Он обещал прийти, больше от растерянности, нежели из любопытства. Но, когда наступила ночь, в жаркой постели он понял, что все равно пойдет к ней, даже сам того не желая. Он оделся не глядя, слыша в потемках ровное дыхание брата, сухой кашель отца в соседней комнате, кряхтенье кур с патио, звенящий стон москитов, барабанную дробь своего сердца и другие неуемные шумы жизни, никогда и нигде им не замечаемые. Хосе Аркадио вышел на спящую улицу. Он всей душой желал, чтобы дверь была заперта на засов, а не просто прикрыта, как было обещано. Но дверь оказалась незапертой. Он толкнул ее кончиками пальцев, петли так зловеще и громко скрипнули, что у него похолодело внутри. Едва он вошел, протиснувшись боком и стараясь не шуметь, его окутал тот самый запах. Он остановился в комнатушке, где трое братьев женщины спали в гамаках, которые были подвешены неизвестно где и как, – в темноте было не разобрать, – и ему ничего не оставалось, как прокрасться на ощупь до двери в спальню, а там, войдя, угадать, куда повернуться, чтобы не ошибиться кроватью. Прокрался и вошел. Но сначала наткнулся на веревки, потому что гамаки висели ниже, чем можно было предвидеть, и один из мужчин,

оборвав свой храп, во сне перевалился на другой бок и сказал с некоторым сожалением: «Прошла среда». Когда он сунулся в спальню, дверь – что поделать? – чиркнула низом по земляному полу. И тут, в полнейшей тьме, его охватила безысходная тоска: он не знал, куда ступить. В узкой комнатушке спали мать, вторая дочь с мужем и двумя детьми и женщина, которая, возможно, его и не ждала. Он мог бы идти на запах, если бы этот запах не разносился по всему дому, такой неопределенный и в то же время такой узнаваемый, свой, как своя кожа. Он долго и тихо стоял на месте, скованный леденящей беспомощностью, когда вдруг чья-то растопыренная пятерня, шарившая во тьме, прикоснулась к его лицу. Он не удивился, потому что невольно ждал этого прикосновения. И доверился невидимой руке. В состоянии полной подавленности дал довести себя до какого-то непонятного ложа, где с него стащили одежду, свалили наземь, как мешок картошки, ворочали с боку на бок в бездонной тьме, где у него было много рук, где уже пахло не женщиной, а нашатырем и где он старался вспомнить ее лицо, а видел лицо Урсулы, с трудом соображая, что делает то, что ему давно хотелось сделать, но никогда не представлялось, что он сможет это сделать; не зная, как это вдруг получается, потому что не знал, где у него ноги, где голова, чьи это ноги, чья это голова, и был уже больше не в силах сносить холодное шуршание своей поясницы, и вздохи своих кишок, и страх, и только испытывал жуткое желание бежать и в то же время хотел навсегда остаться в этой ожесточенной тиши и в этом страшном одиночестве.

Ее звали Пилар Тернера. Ей пришлось участвовать в знаменитом исходе, который завершился основанием Макондо, но ушла она не по своей охоте, а по воле родителей, хотевших оторвать дочь отчеловека, который изнасиловал ее, четырнадцатилетнюю, и продолжал наведываться к ней еще восемь лет, но никак не решался вязать себя семьей, потому что был он человек непутевый. Обещал разыскать ее хоть на краю света, но немного позже, когда уладит все свои дела, а она все ждала и уже видела его в других мужчинах, высоких и коренастых, блондинах и брюнетах, которых посылали к ней карты – по суше и по морю, через три дня, или через три месяца, или через три года. Ожидание отнимало у нее силу чресел, упругость груди, мечту о ласке, но нетерпение плоти осталось прежним. Обалдевший от чудесной забавы Хосе Аркадио каждую ночь пробирался к ней по лабиринту клетушек. Как-то раз входная дверь оказалась запертой, но он стучал и стучал, решив, что, если хватило смелости стукнуть туда в первый раз, теперь надо, хоть тресни, но достучаться, и действительно, она открыла дверь. Днем сон почти валил его с ног, но втайне он наслаждался мыслями о прошедшей ночи. Однако когда она приходила к ним – болтливая, беспечная вертихвостка – ему не надо было унимать волнение крови, ибо эта женщина, чей взрывчатый смех заставлял вспархивать голубей, не имела никакого отношения к той неведомой силе, которая принуждала его хватать ртом воздух, не выдыхая, и рвала сердце из груди, и открыла ему, отчего мужчины страшатся смерти. Он был так занят своими ощущениями, что даже не понял причину всеобщего ликования, когда его отец и младший брат сотрясли стены дома криками о том, что им удалось раздробить металлический слиток и выковырнуть золото Урсулы.

В самом деле, после долгих и утомительных манипуляций они добились успеха. Урсула была счастлива и даже воздала хвалу Господу за существование алхимии, а жители городка старались протиснуться в лабораторию, возле которой их угощали лепешками с повидлом из гуаявы во имя свершившегося чуда, а Хосе Аркадио Буэндия показывал всем плошку с крупинками золота, словно он сам его создал. Удовлетворив общее любопытство, он наконец оказался лицом к лицу со своим старшим сыном, который в последнее время почти не

заглядывал в лабораторию. Отец поднес к его глазам сухую желтоватую массу и спросил: «Что это, а?» Хосе Аркадио чистосердечно ответил:

– Дерьмо. Собачье.

Отец ударил его тыльной стороной руки по губам так, что у парня брызнули сразу и слезы, и кровь. Ночью Пилар Тернера делала ему примочки из арники, ловко орудуя в темноте пузырьком и ватой, а потом выполнила все, что ему хотелось, очень искусно и заботливо, постаравшись «так любить, чтобы охоту не отбить». Они достигли уже такой стадии близости, что через какое-то время невольно заговорили друг с другом тихим шепотом.

– Я хочу быть только с тобой, – заявил он. – Скоро расскажу всем и обо всем, и хватит по углам хорониться.

Она ему не противоречила.

– Хорошо бы, – отвечала она. – Когда будем одни, зажжем лампу, чтобы видеть друг друга, и я смогу кричать так, как захочется, и никто нос не сунет, а ты будешь говорить мне на ухо всякие сладкие гадости, все, что надумаешь.

Такие разговоры, сверлящая душу обида на отца и грядущая дозволенность тайной любви придавали ему храбрости и самоуверенности. Неожиданно, без колебаний, он про все рассказал младшему брату.

Сначала малыш Аурелиано понял только то, что брат подвергает себя немыслимо страшным испытаниям и неизвестно ради какого удовольствия. Но мало-помалу он заражался волнениями Хосе Аркадио. Его стали интересовать мельчайшие подробности, он научился испытывать мучительное томление и минуты блаженства, ощущал страх и счастье. Аурелиано ждал брата до рассвета, вертясь в одиночку на кровати как на раскаленных углях, а затем они разговаривали, не смыкая глаз, до того часа, когда уже пора вставать, а потому днем их постоянно одолевала сонливость, оба испытывали одинаковое презрение к алхимии и отцовской премудрости и искали уединения. «Бродят как очумелые, – говорила Урсула. – У мальчишек глисты, не иначе». Она приготовила тошнотворный чай из резаной пижмы, который они оба выпили с неожиданным мужеством, а позже в одно и то же время садились на горшки по одиннадцать раз на день, вытаскивали из кала розоватых червей и показывали всем с превеликой радостью, ибо таким образом удавалось обхитрить Урсулу, которую озадачивал их упадок сил и отсутствующий взгляд. Аурелиано уже не только многое понимал, но и пытался вжиться в ощущения брата. Однажды, когда тот подробно объяснял ему механику любви, он его прервал вопросом: «А самому тебе как?» Хосе Аркадио, не задумываясь, ответил:

– Как во время землетрясения.

В один из четвергов января около двух часов ночи родилась Амаранта. До того как люди вошли в комнату, Урсула тщательно ее осмотрела. Девочка была скользкая и вертлявая, как ящерка, но выглядела нормальным человеческим детенышем. Аурелиано узнал новость только тогда, когда дом заполнился народом. Воспользовавшись суматохой, он бросился искать брата, которого не было в постели с одиннадцати вечера, и в своем порыве даже не успел сообразить – как же он будет вытаскивать Хосе Аркадио из постели Пилар Тернеры? Несколько часов кружил он у ее дома, свистя на все лады, пока первые лучи солнца не заставили его вернуться. В комнате матери с самым невинным видом строил рожи крохотной сестренке его братец Хосе Аркадио.

Урсула провела в мире и покое дней сорок после родов, когда снова пришли цыгане. Те

же самые трюкачи и мошенники, которые показывали лед. В отличие от сородичей Мелькиадеса они выступали не как носители прогресса, а просто как торгаши-лицедеи. Уже тогда, показывая лед, они не говорили о его полезных для жизни свойствах, а являли обычное цирковое чудо. На этот раз, среди прочих любопытных вещей, они представили обитателям Макондо летающее одеяло. Но отнюдь не как серьезный вклад в развитие транспортных средств, а как увеселительную забаву. Тем не менее народ вытряс последнее золотишко, чтобы насладиться минутным полетом над крышами городка. Под крылом упоительной безнаказанности в дни всенародной вакханалии Хосе Аркадио и Пилар Тернера тоже чувствовали себя на седьмом небе. Они были счастливые жених и невеста в веселом кипении толпы и даже стали подумывать, что любовь – это вроде бы чувство более степенное и глубокое, чем сумасшедшее, но скоротечное блаженство их тайных ночей. Пилар, однако, разом покончила с волшебством. Умилившись восторгом, который испытывал Хосе Аркадио в ее обществе, она приняла видимое за подлинное и обрушила вселенную на его бедную голову.

– Теперь ты – настоящий мужчина, – сказала она. А поскольку он не понял, что это должно означать, она повторила медленно и внятно: – У тебя будет сын.

Несколько дней подряд Хосе Аркадио боялся высунуть нос из дому. Стоило ему услышать на кухне трели хохотуньи Пилар, как он сломя голову бросался в лабораторию, где с благословения Урсулы возродились алхимические опыты.

Хосе Аркадио Буэндия раскрыл объятия блудному сыну и приобщил его к поискам философского камня, к которым наконец приступил. Однажды днем братья обомлели при виде летающего одеяла, прошуршавшего мимо окна лаборатории; полет направлял цыган, а сидевшие с ним рядом местные ребятишки бодро махали им рукой, но Хосе Аркадио Буэндия даже не оглянулся. «Пусть тешатся, – сказал он. – Мы будем летать лучше их, по-научному, не на этой половой тряпке».

Несмотря на свой видимый интерес, Хосе Аркадио так и не сумел понять, какой же мощью людей наделяет «философское яйцо», которое казалось ему просто уродливой колбой. Он никак не мог отделаться от тягостных мыслей. Лишился сна и аппетита, впал в уныние, совсем как отец после какого-нибудь неудачного начинания, и так сильно он переживал, что сам Хосе Аркадио Буэндия выгнал его из лаборатории, полагая, что сын слишком близко к сердцу принимает алхимию. Аурелиано, конечно, понимал, что меланхолия брата вызвана отнюдь не поисками философского камня, но никак не мог вызвать того на откровенность. Старший брат не сыпал, как бывало, признаниями. Доверительность и разговорчивость сменились скрытностью и враждебностью. Ищущий одиночества, злящийся на весь белый свет, он однажды ночью вскочил по привычке с кровати, но побежал не к Пилар Тернере, а ринулся в балаганное веселье. После того как он нагляделся на всяческие хитрые штуковины, не проявив интереса ни к одной из них, он вдруг уставился на нечто совсем иное: на юную цыганку, почти девочку, сплошь увешанную бусами и такую красавицу, каких Хосе Аркадио еще в жизни не видывал. Она стояла в толпе, наблюдавшей печальное зрелище – человека, который превратился в змею за то, что ослушался своих родителей.

Хосе Аркадио больше никого и ничего не замечал. Пока на сцене шел допрос с пристрастием бедного человека-змеи о его грехах, он, действуя локтями, добрался до первого ряда, где стояла цыганка, и встал позади нее. Прижался грудью к ее спине. Девочка попыталась отстраниться, но Хосе Аркадио сильнее навалился на нее. Тогда она его

почувствовала. Замерла, вздрогнув от неожиданности и страха, еще не веря себе, и наконец взглянула на него вполоборота с боязливой улыбкой. В эту минуту цыгане запихнули человека-змею в клетку и уволокли в шатер. Цыган, распорядитель действа, заявил:

– А теперь, сеньоры, мы покажем вам страшную казнь женщины, которой будут отрубать голову каждый вечер в этот самый час в течение ста пятнадцати лет за то, что она видела то, чего видеть не смела.

Хосе Аркадио и девочка не стали глядеть на обезглавливание. Они прошли к ней в шатер, где стали вдруг яростно целоваться и сбрасывать с себя одежду. Цыганка скинула свои фальшивые лифчики, свои бесчисленные юбки с накрахмаленными кружевами, свой несуразный проволочный корсет и тяжелые нити бус, и от нее практически ничего не осталось. Щуплый лягушонок с пуговками грудей и с тонкими ногами, тоньше рук Хосе Аркадио. Однако упорства и страсти ей было не занимать. Но Хосе Аркадио не мог отвечать тем же, так как они лежали в своего рода общем шатре, куда цыгане заходили за разными цирковыми атрибутами и по всяким делам и даже усаживались рядом с кроватью бросить игральные кости. Лампа, висевшая на центральном шесте, освещала шатер. В один из перерывов между ласками Хосе Аркадио вытянулся голым на кровати, не зная, что ему делать, хотя девочка не уставала его теребить. Тут в шатер вошли цыганка с сочными телесами и какой-то мужчина – не из цыганских комедиантов, но и не из города, – и оба начали раздеваться прямо перед кроватью.

Женщина невольно скользнула взглядом по телу Хосе Аркадио и в немом восхищении уставилась туда, где дремал его величественный зверь.

– Мальчик! – воскликнула она. – Да сохранит тебе его Бог в целости и невредимости!

Подружка Хосе Аркадио попросила оставить их в покое, и пришедшая пара устроилась на полу, возле самой кровати. Их страсть влила желание в Хосе Аркадио. При первом же его броске кости девушки будто рассыпались – с таким же дробным стуком, – как горсть брошенных фишек домино, и ее кожа растворилась в бледном поту, и глаза наполнились слезами, и все ее тело испустило жалобный стон и легкий запах болота. Но она выдерживала прямые попадания с поразительной стойкостью и мужеством. И Хосе Аркадио вдруг почувствовал, что вознесся в блаженстве на облаках, откуда из его души хлынул поток нежнейшего сквернословия, которое вливалось в уши девушки, и те же слова срывались у нее с языка, но на ее цыганском наречии. А в ночь на субботу Хосе Аркадио повязал голову красным платком и ушел с цыганами.

Когда Урсула его хватилась, она обыскала весь городок. На месте цыганских шатров нашла лишь кучи мусора да тлеющие головешки в погасших кострах. Кто-то, ворошивший отбросы в поисках блестящей мишуры, сказал Урсуле, что вчера вечером видел, как ее сын в шумной толпе трюкачей вез тележку с клеткой человека-змеи. «Подался к цыганам!» – крикнула она мужу, который ничуть не встревожился исчезновением старшего сына.

– Хотя бы и так, – сказал Хосе Аркадио Буэндия, продолжая толочь в ступке нечто, тысячу раз толченое и каленое и снова попавшее под пестик. – Научится быть мужчиной.

Урсула разузнала, куда ушли цыгане. По дороге расспрашивала каждого встречного и, веря, что еще успеет их нагнать, уходила от города все дальше и дальше, пока не осознала что зашла так далеко, что не имеет смысла возвращаться. Хосе Аркадио Буэндия обнаружил пропажу жены лишь к восьми вечера, когда, поставив колбу греться в навозе, пошел посмотреть, почему маленькая Амаранта охрипла от рева. За час он сколотил и вооружил отряд, отдал Амаранту женщине, предложившей покормить ее грудью, и бросился

протаптывать тропы вслед за Урсулой. Аурелиано ушел с ним. Рыбаки-индейцы, язык которых был им непонятен, на рассвете знаками показали, что никого не видели. На третий день бесплодных исканий отряд вернулся в Макондо.

Несколько недель Хосе Аркадио Буэндия ходил как в воду опущенный. Он по-матерински заботился о маленькой Амаранте. Купал и пеленал ее, носил по четыре раза на день к кормилице и даже пел ей по ночам песни, которые Урсула никогда бы ей не спела. Как-то раз Пилар Тернера предложила ему помочь по хозяйству до возвращения Урсулы. Но Аурелиано, чья непостижимая интуиция еще более обострилась в беде, при виде нее вдруг будто прозрел. Какое-то шестое чувство ему подсказало, что именно она повинна во внезапном бегстве брата и в исчезновении матери, и встретил ее молча, но с такой свирепой неприязнью, что женщина больше не приходила.

Время все вернуло на круги своя. Хосе Аркадио Буэндия и его младший сын, сами не ведая как и когда, снова очутились в лаборатории, смахнули пыль с приборов, разожгли в печи огонь и принялись терпеливо колдовать над веществом, уже долго томившимся в гнезде из навоза. Даже Амаранта, уложенная в корзину из ивовых прутьев, с любопытством взирала на увлеченных своей работой отца и брата в комнатушке, пропитанной парами ртути. Однажды, спустя несколько месяцев после ухода Урсулы, начали происходить странные вещи. Пустая бутыль, давно стоявшая в шкафу, стала такой тяжелой, что ее невозможно было оторвать от пола. Вода в кастрюле, поставленной на рабочий стол, продолжала кипеть без огня еще с полчаса, пока не выкипела до дна. Хосе Аркадио Буэндия и его младший сын наблюдали эти явления с затаенным восторгом, не зная, как их объяснить, но воспринимая как знаки неведомой субстанции. В один прекрасный день ивовая корзина с Амарантой сорвалась с места и облетела комнату, к изумлению Аурелиано, который бросился за ней вдогонку. Но отец и бровью не повел. Схватил ивовую колыбель и привязал к ножке стола в полной уверенности, что теперь непременно случится то, чего они ждут не дождутся. Именно тогда Аурелиано услышал такие его слова:

– Если не боишься Бога, бойся металлов.

Нежданно-негаданно, через пять месяцев после своего исчезновения, вернулась Урсула. Она явилась возбужденная, помолодевшая, в новых одеждах, какие в городе не шили. Хосе Аркадио Буэндию от радости чуть удар не хватил. «Вот оно! – кричал он. – Я знал, что это случится!» И он действительно верил именно в это, потому что в своем упорном затворничестве, возясь с земной материей, он в глубине души желал, чтобы ожидаемым чудом оказалось не сотворение философского камня, не оживление металлов магическим дуновением, не умение обращать в золото домашние задвижки и петли, а то, что теперь произошло, – возвращение Урсулы. Но она словно бы и не замечала его искреннего восторга. Наградила беглым поцелуем, будто отсутствовала час-другой, и сказала:

– Пойди-ка посмотри.

Хосе Аркадио Буэндия вышел из дому и обомлел, увидев на улице толпу людей. Это были не цыгане. Это были такие же мужчины и женщины, как он сам, гладковолосые и светлолицые, говорящие на его языке и страдающие от тех же невзгод. Они привели с собой мулов, навьюченных припасами, и быков с повозками, нагруженными стульями и столами, сковородками и ведрами – чистыми и немудреными предметами домашнего быта, которые можно купить у любого торговца земной обиходностью. Они пришли с той стороны низины, где давно уже выросли большие селения, всего-то в двух днях ходу от Макондо, но куда доставляли почту каждый месяц и привозили всякую полезную всячину. Урсула не догнала

цыган, но нашла путь, который не разглядел ее муж, ослепленный феерическими мечтами о великих свершениях.

Сын Пилар Тернеры попал в дом своих предков двух недель от роду. Урсула приняла его скрепя сердце, опять подчинившись воле упрямого мужа, который мысли не мог допустить, чтобы его отпрыск, родной внук, ел чужой хлеб, но, уступив, она настояла на том, чтобы от мальчика скрыли его истинное происхождение. Хотя ему дали имя Хосе Аркадио, вскоре, во избежание недоразумений, стали звать просто Аркадио. В ту пору жизнь в Макондо кипела, у семьи Буэндия прибавилось домашних забот и хлопот, и воспитание детей отошло на второй план. Им в няньки взяли Виситасьон, индианку-гуахиро, которая пришла в поселок вместе со своим братом, унося ноги от страшной болезни – бессонницы, изводившей ее соплеменников уже несколько лет подряд. Брат и сестра были услужливы и трудолюбивы, и Урсула пригласила их для всяких работ по дому. Аркадио и Амаранта заговорили на языке гуахиро раньше, чем на испанском, и стали охотно есть похлебку из ящериц и паучьи яйца, прежде чем Урсула это заметила, увлекшись доходной торговлей леденцовыми зверушками. Макондо изменил свое обличье. Люди, пришедшие сюда с Урсулой, пустили слух о его удачном расположении у края болотистой низины и о плодородии здешних земель, и потому когда-то скромный поселок быстро превратился в оживленный городок с лавками и ремесленными мастерскими, связанный с внешним миром торговым путем, по которому прибыли первые арабы в туфлях-шлепанцах и с серьгами в ушах, менявшие стеклянные ожерелья на попугаев-гуакамайо. Хосе Аркадио Буэндия не знал ни минуты покоя. Окунувшись в действительность, которая теперь казалась ему более фантастичной, чем необъятный мир собственного воображения, он потерял всякий интерес к алхимической лаборатории, дав передышку подопытной материи, изнуренной его манипуляциями, и снова стал, как в молодости, безудержно деятельным человеком, который решал, где пробивать дороги и ставить новые дома, да так, чтобы никто не оставался в обиде и не имел крупных выгод. Он приобрел большой вес среди новоселов, никто не закладывал фундамент и не ставил изгородь, не посоветовавшись с ним, и в его распоряжение отдали раздел земель. Когда снова приехали трюкачи-цыгане со своими ярмарочными балаганами, превращенными теперь в настоящие игорные дома на колесах, их встретили с радостью, потому что ждали возвращения и Хосе Аркадио. Но Хосе Аркадио не вернулся, не было с ними и человека-змеи, который, как полагала Урсула, только один и мог рассказать о сыне, и цыганам не было позволено остановиться в городке и вообще сюда заглядывать, ибо теперь их стали считать носителями разврата и пороков. Однако Хосе Аркадио Буэндия недвусмысленно дал понять согражданам, что для древнего племени Мелькиадеса, внесшего огромный вклад в развитие поселка своей тысячелетней мудростью и диковинными новшествами, ворота Макондо всегда будут открыты. Увы, племя Мелькиадеса, по рассказам бродяг и прочих странников, было стерто с лица земли за то, что преступило пределы человеческих познаний.

Укротив на какое-то время неуемное буйство своей фантазии, Хосе Аркадио Буэндия в короткий срок научил жителей Макондо уважать порядок и труд, разрешив себе только раз проявить своеволие: велел выпустить на свободу всех певчих птиц, которые после основания Макондо возвещали о ходе звезд веселым щебетаньем, и на место клеток поставить во всех домах музыкальные часы.

Это были изумительные часы из полированного дерева, которые выменивались у арабов на попугаев-гуакамайо и которые Хосе Аркадио так точно отрегулировал, что каждые

полчаса поселок взбадривался новой музыкальной фразой из одного и того же вальса, а в полдень все часы весело отзванивали в унисон эту мелодию целиком. Именно Хосе Аркадио Буэндия решил тогда же высаживать на улицах поселка миндальные деревья вместо акаций, и именно он, так и не раскрыв никому своего секрета, догадался, каким образом сохранить эти деревья вечно живыми. Пройдет много лет, Макондо станет огромным скопищем деревянных домов, крытых цинковым железом, а вдоль его самых старых улиц еще будут торчать изломанные и запыленные миндали, и никто не будет знать, кто и когда их посадил. Пока его отец наводил порядок в поселке, а его мать старалась крепить благополучие семьи, поспевая делать уйму соблазнительных леденцовых рыбок и петушков, которые дважды в день верхом на бальсовых палочках вырывались из кухни на улицы, Аурелиано часами сидел в заброшенной лаборатории, осваивая для собственного удовольствия ювелирное мастерство. Он так быстро вытянулся, что штаны, доставшиеся от брата, сделались ему коротки, и пришлось надевать отцовские вещи, хотя Виситасьон всегда ушивала ему рубахи и сужала брюки, потому что Аурелиано было далеко до мощной комплекции отца и брата. Юношеский возраст лишил мелодичности его голос, а самого сделал молчаливым и совсем одиноким, но зато вернул ему тот пронзительный взгляд, которым он всех поражал еще в младенчестве. Аурелиано был так поглощен ювелирным делом, что с трудом выбирался из лаборатории в часы трапезы. Обеспокоенный его затворничеством Хосе Аркадио Буэндия дал ему ключи от дома и немного денег, полагая, что ему нужна женщина. Но Аурелиано истратил деньги на соляную кислоту для приготовления царской водки, а ключи взял и позолотил. Однако странности его поведения и в сравнение не шли с тем, что вытворяли Аркадио и Амаранта, у которых уже выпадали молочные зубы, а они день-деньской не отлипали от индейцев и не желали говорить по-испански, обожая язык гуахиро. «Не удивляйся, – говорила Урсула мужу. – Дети наследуют сумасбродство родителей». И когда она однажды проклинала свою судьбу, неколебимо веря в то, что все замеченные у ее потомства странные отклонения так же ужасны, как свиной хвостик, Аурелиано вперил в нее взор, заставивший ее похолодеть.

– Сюда кто-то идет, – сказал он.

Урсула, как всегда, попыталась противопоставить его предсказаниям свое кухонное здравомыслие. Вполне естественно, что кто-то сюда идет. Десятки разных людей проходят каждый день через Макондо, и никто ни на кого не глядит и не разносит благую весть. Однако, вопреки всякому здравому смыслу, Аурелиано продолжал твердить одно и то же:

– Не знаю кто, – повторял он, – но этот человек уже в дороге.

В самом деле, в воскресенье явилась Ребека. Ей было лет одиннадцать. Она проделала тяжелый путь в Макондо из Манауре с торговцами кожей, которые согласились доставить ее вместе с письмом в дом Хосе Аркадио Буэндии, но так и не сумели объяснить, что за человек попросил их об этой услуге. Весь ее багаж состоял из сундучка с одеждой, небольшой размалеванной яркими цветами колыбели-качалки и брезентовой сумки, в которой что-то глухо постукивало: «клуп-клуп», – в ней девочка, того не зная, притащила кости своих родителей. Письмо, адресованное Хосе Аркадио Буэндии, было теплым и ласковым и написано кем-то, кто сердечно любит его, невзирая на время и расстояние, и кто, движимый обычным человеческим состраданием, вверяет его заботам бедную обездоленную сироту, которая приходится Урсуле троюродной сестрой, а также родственницей Хосе Аркадио Буэндии, хотя еще более дальней, ибо она – дочь незабвенного Никанора Ульоа и его досточтимой супруги Ребеки Монтьель, коих Господь Бог взял на небеса и чьи останки

прилагаются к этому посланию, дабы их погребли по-христиански. Упомянутые имена и подпись в конце письма были написаны разборчиво, но ни Хосе Аркадио Буэндия, ни Урсула не имели понятия о таких своих родственниках и никогда не слышали имени отправителя письма, тем более жившего в предалеком селении Манауре. От девочки невозможно было добиться никаких разъяснительных сведений. Войдя в дом, она тут же уселась на свою качалку, сунула палец в рот, вылупила на всех большие испуганные глаза и не подавала признаков жизни, о чем бы ее ни спрашивали. На ней было потертое платьице из перекрашенной в черное диагонали и поношенные лаковые ботинки. Два пучка волос, торчавшие за ушами, были перевязаны черными лентами. На шее висела ладанка с выцветшими от пота святыми талисманами, а на правом запястье болтался медный обруч с зубом какого-то хищного зверя – амулет от сглаза. Зеленоватый цвет лица, вздутый и тугой, как барабан, живот говорили о слабом здоровье и о голоде, родившихся раньше нее, но когда ей дали тарелку с едой, тарелка замерла у нее на коленях, а к еде она не притронулась. Можно было подумать, что девочка – глухонемая, но когда индейцы спросили ее на своем языке, не хочет ли она водички, она уставилась на них, будто вдруг их узнала, и мотнула головой в знак согласия.

Ее пришлось приютить, ничего другого не оставалось. Решили назвать Ребекой, как, судя по письму, звалась ее мать, потому что Аурелиано прочитал ей вслух от начала и до конца все святцы, но она не отозвалась ни на одно из имен. Поскольку тогда в Макондо не было кладбища, ибо там еще никто не успел умереть, сумку с костями хранили дома за неимением места для ее достойного погребения и прятали по самым темным закоулкам, а она снова появлялась там, где меньше всего ее ожидали встретить, и нудно кудахтала – «клуп-клуп», – как курица на яйцах. Прошло немало времени, прежде чем Ребека прижилась в доме. Обычно она садилась на свою качалку и сосала палец где-нибудь на задворках. Ничто не выводило ее из оцепенения, кроме музыкальных часов, и когда каждые полчаса они начинали играть, она со страхом озиралась, словно музыка летела с небес. Иногда она по нескольку дней не ела. Никто не мог понять, как ей удается не умереть с голоду, пока слуги-индейцы, все видевшие и все слышавшие, тихо и непрерывно шныряя по дому, не открыли, что Ребека с охотой утоляет аппетит сырой землей из патио и кусочками известки, которые она отколупывает ногтем от стены. Было ясно, что родители или няньки наказывали ее за эту привычку, так как она добывала свои лакомства втайне от всех, видимо, зная, что это – плод запрещенный, и прятала их, чтобы затем поесть в свое удовольствие. С тех пор с нее не спускали глаз. Разливали в патио коровью желчь и натирали стены жгучим красным перцем, надеясь таким способом отучить Ребеку от странной склонности, но она проявила столько находчивости и хитрости в раздобывании чистой земли, что Урсула была вынуждена прибегнуть к более действенным средствам. Она смешала апельсиновый сок с настоем из ревеня, вынесла кастрюлю на ночь под росу, а утром дала Ребеке выпить натощак это снадобье. Хотя Урсуле никто не говорил, что именно такое питье навсегда отбивает губительное желание есть землю, она полагала, что любая сильная горечь на пустой желудок заставит печень заработать в полную силу. Несмотря на свой дохлый вид, Ребека сопротивлялась так остервенело и упорно, что ее связали, как бычка, и постарались влить лекарство в рот, хотя она отчаянно брыкалась, плевалась и кусалась, и притом ухитрялась нести какую-то абракадабру, которая, по словам возмущенных индейцев, оказалась самым крепким ругательством, какое смог породить язык гуахиро. Узнав об этом, Урсула не поскупилась на жестокую порку. Трудно было сказать, что принесло успех – питье или битье

или оба средства вместе, – но факт остается фактом: не прошло и двух недель, как Ребека стала подавать признаки выздоровления. Она участвовала в играх Аркадио и Амаранты, которые видели в ней старшую сестру, и уплетала за столом все, что давали, без труда пользуясь ножом и вилкой. Скоро обнаружилось, что она говорит по-испански так же бегло, как на языке индейцев, и что, при желании, все умеет делать, и что она мило напевает песенку собственного сочинения на музыку вальса часов. Таким образом семья Буэндия увеличилась еще на одного члена. Урсулу Ребека любила так сильно, как ту не любили и собственные сыновья, и называла Аркадио и Амаранту братиком и сестричкой, Аурелиано – дядей, Хосе Аркадио Буэндию – дедушкой. В конце концов девочка стала зваться, как они все – Буэндия, и это имя, Ребека Буэндия, единственное, что всегда было с ней и чем она дорожила до самой смерти.

Однажды ночью, когда Ребека уже излечилась от дурной привычки есть землю и ей позволили спать в общей детской, индианка Виситасьон, спавшая там же вместе с детьми, случайно проснулась и услышала в углу странное непрерывное чмоканье. Она в тревоге вскочила, думая, что в спальню пробрался какой-нибудь зверек, и вдруг увидела Ребеку в ее качалке с пальцем во рту. Глаза у девочки светились в темноте, как у кошки. Оцепенев от ужаса, от новой встречи со своим злым роком, Виситасьон поняла: она видит в этих глазах блеск той болезни, которая грозила ей и ее брату на родине и заставила их навсегда покинуть древнее царство и царственную семью. Этой заразной хворью была бессонница.

Индеец Катауре больше ни ночи не оставался в Макондо. Его сестра Виситасьон осталась, ибо ее суеверное сердце говорило ей, что смертельный недуг все равно пойдет за ней по пятам и от него нигде на земле не укрыться. Волнений индианки не понимал никто. «Не будем спать? Тем лучше, – говорил с довольным видом Хосе Аркадио Буэндия. – Продлим себе жизнь». Но Виситасьон объяснила им, что самое страшное в бессонной болезни не то, что нельзя сомкнуть глаз, – ведь тело не устает, – а то, что в конце концов человек предает забвению всех и вся. Она объяснила, что, когда заболевший привыкает к бдению ночью и днем, из его памяти начинают сначала стираться воспоминания детства, потом забываться имена и названия вещей и, наконец, он перестает различать людей, не помнит, кто он сам, и впадает в своего рода маразм, навсегда расставаясь с воспоминаниями о прошлом. Хосе Аркадио Буэндия, чуть не лопнув со смеху, сказал, что речь идет не иначе как об одном из той тьмы злосчастий, которых боятся суеверные индейцы. Но Урсула на всякий случай не стала подпускать Ребеку к другим детям.

По прошествии нескольких недель, когда страхи Виситасьон, казалось, улеглись, Хосе Аркадио Буэндия однажды ночью весь извертелся в постели, но так и не смог заснуть. Урсула тоже не спала и спросила, что с ним, а он ответил: «Да вот, опять думаю о Пруденсио Агиляре». Сон не сморил их ни на минуту, но на следующий день они чувствовали себя так бодро, что забыли о бессонной ночи. Аурелиано с удивлением заметил, придя к завтраку, что голова свежа и ясна, хотя всю ночь напролет он золотил в лаборатории брошь, которую хотел подарить Урсуле ко дню рождения. Двое суток никто не тревожился, однако на третьи сутки, когда пора было идти спать, но никто и не думал о сне, вдруг все сообразили, что они не спят уже пятьдесят часов.

– Дети тоже спать не хотят, – сказала индианка, убежденно веря в судьбу. – Если такая беда входит в дом, никто не убережется.

И действительно, люди заболели бессонной болезнью. Урсула, знавшая от своей матери о целительных свойствах растений, сделала снадобье из аконита и заставила всех выпить, но

никто не уснул, хотя днем все будто видели сны наяву. В состоянии яркой полудремоты можно было увидеть не только то, что предстает перед тобой, но и то, что грезится другим. Дом словно кишел людьми. Ребеке, затаившейся на кухне в своей качалке, чудилось, что человек, очень похожий на нее, в белом льняном костюме, в рубашке с воротничком, застегнутым на одну золотую запонку, протягивает ей букет роз. Около него женщина с холеными руками берет одну розу и прикалывает к волосам девочки. Урсула догадалась, что мужчина и женщина – родители Ребеки, но, как ни старалась, не смогла припомнить их лица и пришла к заключению, что никогда их не видела. А в это время, по недосмотру Хосе Аркадио Буэндии, который потом не мог себе такого простить, в городишке шла, как всегда, бойкая торговля леденцовыми фигурками их домашнего приготовления. Дети и взрослые с наслаждением сбрасывали вкусных петушков бессонницы, хрупких розовых рыбок бессонницы и нежных желтых коньков бессонницы, и так вышло, что зарю понедельника все население встретило, забыв о сне. Сначала никто не встревожился. Напротив, люди были рады, что сон пропал, так как дел тогда в Макондо было без числа, без счета и времени на все едва хватало. Работали с таким рвением, что скоро стало уже нечего делать и к трем часам утра люди сидели сложа руки и считали ноты в вальсе часов. Те, кто хотел подремать, не от усталости, а от тоски по сновидениям, всячески старались довести себя до полного изнеможения. Они болтали без умолку, перебивая друг друга, рассказывали до обалдения одни и те же старые анекдоты, участвовали в шутейном действе про белого бычка, а если все молчали, рассказчик говорил, что он просил не молчать, а сказать, хотят ли они слушать сказку про белого бычка, и никто не мог уйти, потому что рассказчик говорил, что он не просил уходить, а лишь ответить, хотят ли они слушать сказку про белого бычка, и так без конца, все ночи напролет, загнав себя в порочный круг пустопорожних фраз.

Когда Хосе Аркадио Буэндия понял, что поветрие распространилось по всему городку, он собрал отцов семейств и рассказал им все, что знал о бессонной болезни, и было решено принять меры, чтобы помешать заразе перекинуться на соседние селения. Тогда сняли с коз колокольца, которые выменивали у арабов на попугаев, и при входе в Макондо вешали их на шею тем, кто, невзирая на добрый совет и предупреждения стражи, непременно хотел войти в городок. Пришлый люд, бродивший в ту пору по улицам Макондо, должен был колокольчиком уведомлять больных, что идет здоровый человек. Пришельцам не давали ни есть, ни пить во время пребывания в городке, ибо никто не сомневался, что зараза передается только через рот и что всякая еда и питье заражены бессонной болезнью. Таким образом эпидемия ограничилась одним Макондо. Карантин оказался таким действенным, что в один прекрасный день все стали воспринимать чрезвычайное положение как жизнь вполне естественную, которая вошла в свою колею, работа снова наладилась, и никто не вспоминал о никчемной привычке спать.

Можно ли было подумать, что именно Аурелиано найдет способ надолго уберечь сограждан от провалов памяти. Открытию помог счастливый случай. Аурелиано, одним из первых поддавшийся бессоннице, в совершенстве овладел ювелирным искусством. Однажды он искал маленькую наковальню, которой пользовался для ковки металла, и не мог вспомнить, как она называется. Отец напомнил: «опора». Аурелиано написал название на клочке бумаги и приклеил к наковальне: «опора». Теперь он был уверен, что всегда будет знать это слово. Ему и не представлялось, что это было лишь первым симптомом опасного осложнения, ибо специальный термин не грех и забыть. Но несколько дней спустя он обнаружил, что никак не может припомнить названия почти всех остальных лабораторных

предметов. Тогда он прилепил на них нужные наклейки, и стоило только взглянуть на ярлык, как сразу делалось понятно, что это за штука. Когда отец с тревогой сказал ему, что забыл почти все, даже самые сильные впечатления детства, Аурелиано сообщил ему о своем методе, и Хосе Аркадио Буэндия стал навешивать ярлыки на все домашние вещи, а потом ввел эту практику и во всем городке. Он взял чернила и пометил кисточкой каждый предмет: «стол», «стул», «часы», «дверь», «стена», «кровать», «кастрюля». Пошел в корраль и разрисовал всех животных и растения: «корова», «козел», «свинья», «курица», «маниока», «банан», «маланга». Мало-помалу, отдавая должное беспредельным возможностям забвения, он понял, что может наступить день, когда, знакомясь с вещами по названиям, не будешь знать, для чего они предназначены. Тогда он стал давать краткие, но доходчивые объяснения. Дощечка с надписью, повешенная им на шею корове, может служить типичным примером того, как жители Макондо пытались бороться с забывчивостью: «Это – корова, ее надо доить каждое утро, чтобы иметь молоко, а молоко надо кипятить вместе с кофе, чтобы получился кофе с молоком». Так они жили в ускользающей действительности, которая на мгновение останавливалась словами, чтобы тут же бесследно исчезнуть, как только забудется смысл написанного.

У дороги при выходе из городка поставили столб с указанием: «Макондо», а на главной улице поставили другой, больших размеров, с уведомлением: «Бог существует». Во всех домах имелись списки обозначений предметов и чувств. Однако эта система требовала такого внимания и напряжения, что многие поддались магии воображаемой действительности, ими самими сотворенной, что приносило мало пользы, зато освобождало от всяких хлопот. Привычке к такого рода самообольщению немало содействовала Пилар Тернера, навострившаяся читать по картам прошлое, как прежде читала будущее. Таким образом, лишенные сна люди стали жить в мире, построенном на туманных карточных представлениях, где родной отец виделся неким темноволосым человеком, приезжавшим в начале апреля, а мать – какой-то белокурой женщиной с золотым кольцом на левой руке, и где день рождения вспоминался только как последний вторник, когда пел жаворонок на лавровом дереве. Убитый такими методами примирения с жизнью, Хосе Аркадио Буэндия решил построить машину памяти, такую, как тогда, когда хотел удержать в голове все чудеса цыган. Замысел состоял в том, чтобы каждое утро можно было бы припоминать все то, от начала до конца, чему научился и что познал в течение всей жизни. Это должен был быть вращающийся словарь, страницы которого проходили бы перед глазами человека, который стоит перед осью барабана и, крутя ручку, за час-другой получает необходимые на сегодня знания. Он успел уже написать около сорока тысяч карточек для словаря, когда по дороге со стороны болотистой низины к Макондо притащился изможденный старик, волоча пузатый, перевязанный веревками чемодан и толкая тележку, накрытую черным тряпьем. Грустно позвякивая колокольчиком, мол, я из тех, кто тоже может заснуть, старец направился прямо к дому Хосе Аркадио Буэндии. Виситасьон, открыв дверь, его не узнала и подумала, что явился бродячий торговец, не знающий, что ничего не продают и не покупают в городке, который целиком поглотила забывчивость. Старик был очень дряхл. Но, хотя его голос тоже с опаской подрагивал, а руки, казалось, сомневались в существовании вещей, было видно, что он пришел из того мира, где люди еще могли спать и помнить. Хосе Аркадио Буэндия вышел в залу к гостю, где тот сидел, обмахиваясь видавшей виды черной шляпой, и с сочувственным вниманием читал ярлычки, наклеенные на стены. Хозяин приветствовал гостя с любезной почтительностью, боясь, что, возможно, знал его когда-то и позабыл. Но гость уловил

фальшь. Он почувствовал, что забыт и что было это не преходящее беспамятство сердца, а забвение иного рода, более жестокое и необратимое, которое он уже знал, – забывчивость смерти. И он понял, как поступить. Раскрыл чемодан, набитый барахлом, и вытащил оттуда сундучок, наполненный флаконами. Дал выпить Хосе Аркадио Буэндии какое-то снадобье светлого цвета, и у того вдруг прорезалась память. Ослепительная вспышка радости увлажнила ему глаза слезами раньше, чем он увидел себя в идиотской комнате, где все вещи имели ярлычки с названиями; раньше, чем он устыдился всех благоглупостей, начертанных на стенах, и даже раньше, чем узнал пришедшего. А пришел Мелькиадес.

Макондо праздновал возвращение воспоминаний, Хосе Аркадио Буэндия и Мелькиадес стряхивали пыль со своей старой дружбы. Цыган был намерен здесь поселиться. Он действительно побывал за порогом смерти, но возвратился назад, ибо не мог стерпеть одиночества. Отвергнутый своим племенем, лишенный колдовского могущества в наказание за свою приверженность к жизни, он решил найти прибежище на той пяди земли, куда еще не ступала смерть, и посвятить себя искусству дагерротипии.

Хосе Аркадио Буэндия слыхом не слыхивал об этом изобретении. Но когда он увидел себя самого и всех своих домочадцев на веки вечные оттиснутыми на посеребренной металлической пластине, ему стало не по себе. Именно к этому времени относится помутневший дагерротип, с которого сурово и ошарашенно смотрит Хосе Аркадио Буэндия с растрепанными седыми волосами и в рубашке со стоячим воротничком на одной медной запонке. Урсула, давясь смехом, назвала мужа «струхнувшим генералом». В самом деле, Хосе Аркадио Буэндия немало испугался в то ясное декабрьское утро, когда было сделано его дагерротипное изображение, так как ему подумалось, что люди станут хиреть и чахнуть, если их образ будет переходить на металлические пластинки. Как ни удивительно, но на сей раз Урсула горой встала за изобретение и выбила дурь из головы мужа. Она также перечеркнула свое былое неприятие Мелькиадеса и решила, что он будет жить у них в доме, хотя строго-настрого запретила делать ее дагерротип, ибо (по ее собственным словам) не хотела стать посмешищем в глазах внуков. Тем же самым утром она нарядила детей в лучшую одежду, напудрила им лица и дала по ложке варева из мозговых костей, чтобы они были в силах простоять не шевелясь почти две минуты перед величавой фотокамерой Мелькиадеса. На этом единственном семейном отпечатке, который когда-либо существовал, изображен Аурелиано в черном бархатном костюме между Амарантой и Ребекой. У него был такой же безразличный вид и тот же пронзительный взгляд ясновидца, как много лет спустя под дулами ружей перед расстрелом. Но тут он еще не предчувствовал подобного оборота событий. Он был просто искусный умелец, которого ценили и уважали во всей округе за тонкую ювелирную работу. В мастерской, где приютилась и шумливая лаборатория Мелькиадеса, его совсем не было слышно. Аурелиано, казалось, затаился где-то в иных мирах, тогда как его отец и цыган во весь голос комментировали предсказания Нострадамуса под звон бутылей и посуды или стенали над пролитой кислотой и бромистым серебром, загубленным в возне и толкотне. Такая приверженность своей работе, умелое ведение своих дел вскоре позволили Аурелиано зарабатывать больше денег, чем приносила Урсуле ее сладкая леденцовая фауна, но всех удивляло то, что, будучи уже вполне самостоятельным мужчиной, он не обзавелся женщиной. В самом деле – женщины у него не было.

Спустя несколько месяцев снова пришел Франсиско Человек, старый бродяга лет под двести, который часто забредал в Макондо и пел сложенные им самим песни. В них Франсиско Человек с мельчайшими подробностями повествовал обо всем, что происходило в

селениях на пути его следования, от Манауре до самых окраин болотистой низины, и таким образом, если кто-то хотел кому-то что-нибудь сообщить или о чем-то оповестить, старцу платили два сентаво и он включал послание в свой репертуар. Так Урсула узнала о смерти своей матери, совершенно случайно, когда слушала песни, надеясь что-нибудь услышать о своем сыне Хосе Аркадио. Франсиско Человек, прозванный так потому, что победил самого дьявола в состязании певцов, слагающих песни на глазах у публики, и чье настоящее имя не знал никто, не появлялся в Макондо во время эпидемии бессонницы и вдруг как-то вечером неожиданно объявился в заведении Катарины. Все от мала до велика пришли послушать о том, что творится на белом свете. На этот раз с ним прибыли две женщины: одна, столь толстая, что ее несли на носилках, как в колыбели, четыре индейца, другая – юная мулатка робкого вида, державшая над толстухой зонтик от солнца. В тот вечер Аурелиано тоже пошел в заведение Катарины. Франсиско Человек стоял, словно высеченный из камня ящер, в толпе любопытных. Он пел новости старческим сиплым голосом, подыгрывая себе на том самом древнем аккордеоне, который ему подарил в Гвиане сэр Уолтер Рэли, и пристукивая в такт своими большими, разъеденными селитрой ступнями вечного странника. У двери в заднюю комнату, куда на время один за другим входили мужчины, молча сидела, обмахиваясь веером, матрона, прибывшая в открытом паланкине. Катарина, с войлочным цветком за ухом, подносила посетителям чашки с перебродившей тростниковой водкой и пользовалась каждым удобным случаем, чтобы прижаться к мужчинам и положить руку туда, куда не следует. К полуночи жара стала нестерпимой. Аурелиано прослушал все новости до конца, но ничего интересного для семьи не услышал. Он уже собрался уходить, когда матрона махнула ему рукой.

– Ты тоже войди, – сказала она. – Всего-навсего двадцать сентаво.

Аурелиано бросил монету в кружку, стоявшую на коленях матроны, и вошел в комнатку сам не зная зачем. Совсем юная мулатка, голая, с сучьими сосочками грудей, лежала на кровати. До Аурелиано этим вечером через комнату прошли шестьдесят три мужчины. Загустевший от непрестанного употребления, отсыревший от пота и сапа воздух в комнате стелился грязным облаком. Девочка сдернула мокрую простыню и попросила Аурелиано взяться за другой конец. Простыня была тяжелой, как из мешковины. Они ее выкручивали и выжимали, держа за концы, пока она не стала значительно легче. Потом перевернули матрац, промокший насквозь. Аурелиано страстно желал, чтобы приготовления никогда не кончались. Он знал теоретическую механику любви, но покачивался на подгибавшихся коленках и, хотя плоть топорщилась и горела, он не смог удержаться, чтобы не разрядить тугой, напрягшийся живот. Когда девочка привела постель в порядок и велела ему раздеться, он стал бормотать что-то невразумительное в свое оправдание: «Меня заставили войти. Мне сказали – брось двадцать сентаво в кружку и не задерживайся». Девочка поняла его замешательство. «Ничего, если бросишь при выходе еще двадцать сентаво, можешь и задержаться», – мягко сказала она. Аурелиано разделся, сгорая от стыда, мучаясь мыслью, что его нагота ни в какое сравнение не идет с наготой его брата. Вопреки всем стараниям девочки, на него неотступно надвигались безучастность и страшное одиночество. «Я брошу еще двадцать сентаво», – проговорил он в отчаянии. Девочка молча и благодарно кивнула. Спина у нее была стерта до крови. Кожа прилипала к ребрам, а прерывистое дыхание выдавало полнейшее изнеможение. Два года тому назад, далеко-далеко отсюда, она заснула, не погасив свечу, и проснулась в сплошном огне. От дома, где она жила с вырастившей ее бабкой, осталась горсть пепла. С тех пор бабка таскала ее из одного поселка в другой и

укладывала в постель за двадцать сентаво, чтобы возместить стоимость спаленного дома. По подсчетам девочки, ей осталось еще десять лет по семьдесят мужчин в ночь, так как надо было еще оплачивать путевые издержки, питание их обеих и труд индейцев, тащивших ее толстую бабушку. Когда матрона-бабушка вторично постучала в дверь, Аурелиано вышел из комнаты, ничего не совершив, чуть не плача. Всю ночь он не мог заснуть, думая о девочке и жалея ее. Ему страшно хотелось любить ее и защищать. К рассвету он совсем извелся от бессонницы и томления и всерьез решил жениться на ней, чтобы освободить от бессердечной бабушки и самому получать каждую ночь все то наслаждение, которое получали семь десятков мужчин. Но, подойдя в десять утра к заведению Катарины, он узнал, что девушка уже ушла из Макондо.

Со временем он остыл и бросил думать о своих нелепых намерениях, но ощущение полного провала сделалось острее. Он искал забвения в работе. Покорился своей участи быть мужчиной без женщины, лишь бы не прошел слух о его бесславных потугах. Меж тем Мелькиадес отобразил на своих пластинках все, что можно было отобразить в Макондо, и отрекся от своей дагерротипии в пользу бредового замысла Хосе Аркадио Буэндии, который решил использовать это изобретение для научного доказательства существования Бога. Он не сомневался, что путем сложных разноракурсных комбинаций многих снимков, сделанных в самых разных местах дома, ему удастся рано или поздно уловить образ Бога, если он есть, или раз и навсегда покончить с разговорами о всяком его присутствии. Мелькиадес увяз в толкованиях Нострадамуса. До поздней ночи сидел он, с трудом дыша в тисках своего выцветшего бархатного жилетика, царапая каракули своими усохшими проворными, как воробьи, руками, а перстни на пальцах уже не искрились, как в былые времена. Однажды ночью он вроде бы нашел предсказание о дальнейшей участи Макондо. Это будет сверкающий город с большими домами из стекла, где и духа не останется от рода Буэндии. «Глупости, – сказал Хосе Аркадио Буэндия. – Дома тут будут не из стекла, а изо льда, как мне привиделось, и род Буэндия не иссякнет в веках». В этом обезумевшем доме только Урсула упрямо цеплялась за здравый смысл. К чану для сахарного литья зверушек она пристроила печь, выпекавшую ночами хлеб, корзины хлеба, а также сказочное множество булок, пирожных и бисквитов, которые за считанные часы исчезали на дорогах и тропах низины. Возраст уже давал Урсуле право на отдых, но ее все сильнее одолевала жажда деятельности. Она была так занята обоими удачливыми начинаниями, что, рассеянно взглянув в патио, пока помощница-индианка перемешивала тесто с сахаром, вдруг увидела каких-то двух незнакомых красивых девушек, вышивающих на пяльцах в лучах заката. Это были Ребека и Амаранта. Они недавно сняли траур, который с упорством носили по бабушке целых три года, и, казалось, яркая одежда указала им новое место в мире. Ребека, вопреки ожиданиям, получилась более красивой, чем Амаранта. У нее были огромные глаза с поволокой, нежнейшая кожа и волшебные руки, которые так и бросали из воздуха цветистые узоры на канву. Младшая, Амаранта, не отличалась изяществом, но была натурой возвышенной и обладала чувством собственного достоинства, доставшимся ей от покойной бабушки. Рядом с девицами, хотя в нем уже проглядывала отцовская мужественность, Аркадио казался ребенком. Он с увлечением осваивал ювелирное дело под наблюдением Аурелиано, который научил его, кроме прочего, читать и писать. Урсула неожиданно заметила, что в доме стало тесно, что ее сыновья вот-вот женятся и народят детей и будут вынуждены бросить отцовский дом, где для всех не хватит места. Тогда она взяла деньги, накопленные за годы тяжкого труда, договорилась о ссудах со своими заказчиками и

принялась строить новый дом. Приказала сделать две залы: одну, большую, для гостей, другую – попрохладнее и поуютнее – для своих домашних; столовую с большим обеденным столом и дюжиной стульев, где могла бы разместиться вся семья и званые гости; девять спален с окнами в патио и длинную крытую галерею, защищенную от полуденной жары розовыми кустами, а также папоротниками в горшках и бегониями в вазонах, расставленных на перилах. Распорядилась увеличить кухню и сложить две печи, снести старую кладовую, где Пилар Тернера предсказала будущее Хосе Аркадио, и построить другую, вдвое больше, чтобы в доме всегда было вдоволь съестного. Велела поставить под сенью каштана в патио два купальных домика – один для мужчин, другой для женщин, а на задворках – большую конюшню, птичий двор, хлев для дойных коров и большую открытую клетку, где могли бы отдыхать перелетные птицы. В окружении десятков каменщиков и плотников, словно заразившись диким фантазерством мужа, Урсула указывала, откуда должен литься свет и как уменьшить зной, и совсем не считалась с объемами и размерами. Нехитрое жилище времен закладки Макондо было забито орудиями труда, материалами и потными работниками, которые просили всех и каждого не лезть не в свое дело, не ведая, что это дело меньше всего касалось их самих, зло пинавших сумку с человеческими костями, которые все время попадались под руку и глухо постукивали – «клуп-клуп». Никто не мог толком понять, как в полной неразберихе, в зловонии негашеной извести и кипящей смолы вырос из чрева земли дом, не только самый большой в Макондо, но и самый гостеприимный и прохладный на всем просторе низины. Один лишь Хосе Аркадио Буэндия, пытавшийся во время домашнего катаклизма поймать на пластинку Божественное Провидение, не придавал этому значения. Новый дом был почти построен, когда Урсула разом вернула мужа из мира иллюзий на грешную землю и сообщила, что ей велено выкрасить фасад в синий цвет, а не в белый, как им хотелось. Она показала ему бумагу с официальным приказом. Хосе Аркадио Буэндия, не понимая, о чем толкует супруга, впился глазами в подпись.

– Что за тип? – спросил он.

– Коррехидор, – ответила Урсула в полном расстройстве. – Говорят, начальник, присланный сюда правительством.

Дон Аполинар Москоте, коррехидор, прибыл в Макондо без всякой помпы. Он остановился в гостинице «Хакоб», построенной одним из первых арабов, менявших побрякушки на попугаев, и через день снял комнатку с дверью на улицу неподалеку от дома Буэндии. Поставил там стол и стул, купленные в «Хакобе», прибил к стене привезенный герб Республики и написал на двери большими буквами: «КОРРЕХИДОР». Своим первым распоряжением он предписал перекрасить дома в синий цвет к празднованию очередной годовщины национальной независимости. Хосе Аркадио Буэндия, потрясая бумагой, вошел в комнатушку коррехидора, где тот проводил часы сиесты, посапывая в гамаке. «Вы послали эту писанину?» – спросил он. Дон Аполинар Москоте, мужчина в возрасте, застенчивый и тучный, согласно кивнул. «По какому такому праву?» – продолжал допрашивать Хосе Аркадио Буэндия. Дон Аполинар Москоте порылся в ящике стола и помахал перед ним другой бумагой: «Я – коррехидор. Буду управлять городком». Хосе Аркадио Буэндия и взглядом не удостоил официальный документ.

– В этом городе мы обходимся без бумаг, – сказал он, не теряя присутствия духа. – Зарубите себе на носу: нам не нужен никакой управитель, мы сами прекрасно здесь управляемся.

И Хосе Аркадио Буэндия, глядя на невозмутимого дона Аполинара Москоте, так же

невозмутимо и подробно рассказал ему, как они основали деревню, как поделили землю, проложили дороги и сделали все, что им требовалось для житья-бытья, ничем не помешав властям и, в свою очередь, не испытав помех ни с чьей стороны. «Мы живем столь тихо и мирно, что даже смерть нас стороной обходит, – сказал он. – Вы сами видите, что тут нет кладбища». На правительство он обиды не держит за то, что им не помогли. Напротив, очень доволен тем, что до сих пор никто не вставлял палки в колеса и что впредь так оно и будет, потому как они основали город не для того, чтобы первый пришлый указывал им, за какие браться дела. Дон Аполинар Москоте аккуратно влез в рукава полотняного кителя, белого, как и брюки, и тщательно застегнулся.

– Так что, если вы желаете здесь остаться и жить, как живут обычные нормальные люди, милости просим, – закончил Хосе Аркадио Буэндия. – Но если вы явились тут беспорядки устраивать, заставлять всех подряд красить дома в синий цвет, собирайте пожитки и ступайте туда, откуда пришли. А дом мой будет белым, как голубок.

Дон Аполинар Москоте побледнел. Отступил на шаг и, сжав зубы, произнес с долей грусти:

– Должен предупредить вас, я вооружен.

Хосе Аркадио Буэндия не приметил, в какой момент его руки налились той молодецкой силой, которая когда-то валила наземь лошадей. Он схватил дона Аполинара Москоте за лацканы и приподнял на высоту своих глаз.

– Я делаю так, – сказал он, – потому что мне легче сейчас протащить вас живым, чем потом всю жизнь таскать за собой мертвеца.

И Хосе Аркадио Буэндия с пол-улицы пронес на вытянутых руках коррехидора, провисшего в собственном кителе, и воткнул ногами в пыльную дорогу, ведущую из городка в низину. Спустя неделю тот возвратился в сопровождении шести босых обтрепанных солдат с ружьями и запряженной быками повозки, где восседали его жена и семь дочерей. Позже прикатили еще две повозки, груженные мебелью, сундуками и домашним скарбом. Семейство обосновалось в гостинице «Хакоб», пока коррехидор подыскивал дом и оборудовал служебное помещение, отныне охраняемое солдатами. Основатели Макондо, решившие изгнать захватчиков, пришли со своими старшими сыновьями к Хосе Аркадио Буэндии, готовые на все. Но он их отговорил, потому что, как он сказал, дон Аполинар Москоте вернулся со своей женой и дочерьми и не мужское это дело бесчестить человека на глазах у его семьи. Было решено уладить дело миром.

Аурелиано пошел с отцом. В эту пору он уже носил черные усы с напомаженными острыми кончиками, а голос становился низким и зычным, что потом так пригодилось ему на войне. Без оружия, не взглянув на стражу, они вошли в зал коррехидора. Дон Аполинар Москоте и глазом не моргнул. Представил гостям двух своих дочек, случайно там оказавшихся: Ампаро, шестнадцати лет, чернявую, как мать, и Ремедиос, десятилетнюю очаровательную девочку с лилейной кожей и зелеными глазами. Обе были изящны и хорошо воспитаны. Как только мужчины вошли, девочки, еще не будучи представлены, подвинули гостям стулья. Но гости предпочли разговаривать стоя.

– Хорошо, приятель, – сказал Хосе Аркадио Буэндия, – мы дозволяем вам остаться здесь, но не потому, что испугались ваших бандюг с аркебузами, а из уважения к вашей сеньоре супруге и дочерям.

Дон Аполинар Москоте замешкался с ответом, и Хосе Аркадио Буэндия его опередил.

– Однако мы выдвигаем два условия, – сказал он. – Во-первых, каждый, кто красит свой

дом, выбирает цвет по собственному вкусу; во-вторых, солдаты тотчас выметаются из Макондо. Мы сами будем в ответе за порядок.

Коррехидор поднял правую руку, вытянув вверх пальцы.

– Слово честного человека?

– Слово врага, – сказал Хосе Аркадио Буэндия. И добавил уныло: – Потому что, сказать по правде, мы с вами остаемся врагами.

В тот же вечер солдаты убрались. Через несколько дней Хосе Аркадио Буэндия подыскал дом для семейства коррехидора. Все умиротворились, кроме Аурелиано. При воспоминании о Ремедиос, младшей дочери коррехидора, которой он годился в отцы, у него свербило в одном месте. И при ходьбе он испытывал явное неудобство, как если бы в ботинок попал камешек.

Новый дом, белый, как голубь, открыл свои двери для праздника. Урсула вынашивала мысль устроить бал с того самого дня, когда увидела, что Ребека и Амаранта стали взрослыми девушками, и, можно сказать, главной побудительной причиной грандиозной затеи было ее стремление соорудить им такое жилище, где не стыдно было бы принять любых гостей. Желая задать пир на весь мир, она трудилась как каторжная: и наблюдала за перестройкой дома, и успевала еще до окончания работ обзаводиться дорогими вещами для его украшения и благоустройства, такими, например, как пианола – чудесная новинка, которая должна была поразить весь городок и вызвать бурю восторга у молодежи. Разобранное на части, упакованное в ящики механическое пианино было доставлено вместе с венской мебелью, богемским хрусталем, посудой от «Компании де лас Индиас», скатертями из голландского полотна и великим множеством ламп и шандалов, ваз, покрывал и ковров. Торговый дом-поставщик прислал за свой счет итальянского музыканта, Пьетро Креспи, для установки и настройки пианолы, для обучения хозяев тому, как ею пользоваться и танцевать под модную музыку, которая была записана на шести картонных валиках.

Молодой белокурый Пьетро Креспи был так привлекателен и благовоспитан, что мужчины из Макондо не шли с ним ни в какое сравнение; он так ревностно следил за своей одеждой, что даже в самую жару работал в парчовом жилете и в темном шерстяном сюртучке. Обливаясь потом, сохраняя почтительную дистанцию между собой и хозяевами дома, Пьетро Креспи несколько недель сидел в зале, запершись на ключ, и работал так же самозабвенно, как Аурелиано в своей ювелирной мастерской. Однажды утром, не открыв дверь, не пригласив никого быть свидетелем чуда, он вставил первый валик в пианолу, и разом оборвалось осточертевшее звяканье струн от ударов деревянных молоточков – тишину наполнила гармоничная и чистая музыка. Все кинулись в залу. Хосе Аркадио Буэндия был сражен не красотой мелодии, а самопроизвольными подскоками клавиш, и притащил в зал фотокамеру Мелькиадеса, впервые намереваясь получить дагерротип невидимого исполнителя. В этот день итальянец был приглашен к обеду. Ребека и Амаранта, подававшие на стол, затаив дыхание смотрели, как легко и ловко орудует приборами этот херувим с бледными, свободными от колец и перстней руками. В большой зале, что рядом с гостиной, Пьетро Креспи учил их обеих танцевать. Он показывал им разные па, отнюдь не касаясь их талий, управляя движениями в такт метронома и под благожелательным присмотром Урсулы, которая не покидала залу и не спускала глаз с дочерей во время урока танцев. Пьетро Креспи надевал на занятия нечто вроде лосин в обтяжку и балетные туфли. «Зря ты волнуешься, – говорил Хосе Аркадио Буэндия жене. – Он – не мужчина». Но она была начеку во время

обучения и вообще до тех пор, пока итальянец не покинул Макондо. Началась подготовка к празднеству. Урсула составила строгий список приглашенных, и в число избранных попали только отпрыски основателей Макондо, за исключением домочадцев Пилар Тернеры, которая успела вырастить еще двух сыновей от неизвестных отцов. По сути дела, это был кастовый смотр, хотя и обусловленный старой дружбой, ибо счастливцы были вхожи в дом Хосе Аркадио Буэндии еще в старое время до основания Макондо, а их сыновья и внуки были друзьями детства Аурелиано и Аркадио, их дочери – единственными девочками, которых впускали в дом вышивать на пяльцах вместе с Ребекой и Амарантой. Дон Аполинаро Москоте, благодушный правитель Макондо, чья деятельность по скудности средств сводилась к содержанию двух полицейских, вооруженных дубинками, был властью чисто декоративной. Чтобы пополнить домашнюю казну, его дочери открыли швейную мастерскую, где могли также изготовить и цветы из войлока, и всякую снедь из гуаявы, и любовные послания по заказу, но, несмотря на то что они были скромны и трудолюбивы, прослыли первыми красавицами и неподражаемо танцевали новые танцы, их не соизволили пригласить на праздник.

Пока Урсула, Ребека и Амаранта возились с мебелью, вытирали новые вазы и развешивали картины с изображениями дев в переполненных розами лодках, впуская ветер новой жизни в комнаты с голыми каменными стенами, Хосе Аркадио Буэндия перестал ловить изображение Господа Бога, убедившись, что его нигде не найти, и распотрошил пианолу, пытаясь постичь тайну ее волшебства. За два дня до праздника, утонув в ворохах колков и молоточков, путаясь в витках струн, которые, выпрямляясь с одной стороны, тут же скручивались с другой, он кое-как собрал инструмент. В дикой суете и беготне прошли последние перед балом дни, однако новые смоляные лампы зажглись в положенный день и час. Дом распахнул свои двери, еще выдыхая свежесть дерева и сырость известки, и сыны и внуки основателей Макондо обозрели крытую галерею с папоротниками и бегониями, тихие покои, сад в роскошестве роз и собрались в большой гостиной возле загадочной штуковины, накрытой белой простыней. Те, кто уже видел фортепиано в других городках низины, были несколько разочарованы, но их разочарование нельзя сравнить с тем, что испытала Урсула: она была просто обескуражена, когда, поставив первый валик, чтобы Амаранта и Ребека открыли бал, не услышала ни звука. Инструмент безмолвствовал. Мелькиадес, почти слепой, сам едва не распадаясь на части от дряхлости, взывал к своей былой мудрости и мастерству, чтобы починить пианолу. В конце концов Хосе Аркадио Буэндия случайно шевельнул заевшую деталь, и пианола сначала забулькала, а затем разразилась какой-то бешеной какофонией. Молоточки забарабанили напропалую по вкривь и вкось натянутым струнам. Но крепколобые потомки двадцати одного храбреца – тех отважных упрямцев, которые перебрались через горы в поисках моря на западе, – легко одолевали музыкальные препятствия, и бал продолжался до рассвета.

Пьетро Креспи вернулся в Макондо чинить пианолу. Ребека и Амаранта помогали ему разбирать струны и вместе с ним смеялись над дикой путаницей вальсов. Итальянец был в высшей степени галантен и так почтителен, что Урсула сняла наблюдение. Накануне его отъезда был устроен – с участием возрожденной пианолы – прощальный вечер, и он в паре с Ребекой продемонстрировал виртуозное исполнение современных танцев. Аркадио и Амаранта не уступали им в грациозности и мастерстве. Но публичное выступление было прервано скандалом, который учинила Пилар Тернера, стоявшая у дверей в толпе любопытных. Она, рассвирепев, вцепилась в волосы женщине, посмевшей сказать, что у

молодого Аркадио задница, как у бабы. К полуночи Пьетро Креспи разразился краткой прочувствованной речью и обещал скоро вернуться. Ребека проводила его до порога, а когда дом заперли и погасили лампы, отправилась в свою комнату и горько заплакала. Безутешные стенания длились несколько дней, и никто не знал причину горя, даже Амаранта. Замкнутость Ребеки никого не удивляла. Казалось бы, общительная и отзывчивая, она была натурой скрытной и сердцем твердой. Ребека превратилась в бесподобную красавицу, стройную и длинноногую, но все еще упрямо втискивалась в свою деревянную качалку, которую когда-то притащила с собой и с которой, не раз уже чинившейся, давно слетели подлокотники. Никто не знал, что даже в этом возрасте она все еще сосет палец. Потому-то ей часто приходилось запираться в купальном домике и спать лицом к стенке. В дождливые дни, вышивая на пяльцах вместе с подругами в крытой галерее возле бегоний, Ребека вдруг обрывала разговор на полуслове, а соль подступавших ностальгических слез щекотала ей нёбо при виде комочков грязи и бороздок сырой земли, проложенных дождевыми червями. Тайное пристрастие, казалось, растворившееся в питье из апельсинового сока с ревенем, вновь проявилось, как только слезы хлынули из глаз. Ребека опять стала есть землю. Сначала она это сделала почти из любопытства, зная, что брезгливость – лучшее средство от искуса. В самом деле, было противно сыпать в рот землю, и ее чуть не вытошнило. Но она снова набила рот землей, стараясь подавить растущую тоску, и мало-помалу к ней вернулись вкус древних предков, тяга к первичной материи, удовлетворенность натуральной пищей без всяких изысков. Она носила землю в карманах и незаметно ела по крупинке со смешанным чувством счастья и злости, обучая своих подруг тонкостям вышивания и рассуждая о мужчинах, которые не заслуживают того, чтобы ради них есть еще известку со стен. Горсти съедаемой земли делали более близким и осязаемым единственного человека, который был достоин такой унизительной жертвы, как если бы почва, по которой ступали его изящные лаковые ботинки, вбирала тяжесть его тела и жар его крови, чтобы передать ей через вкус земли, вызывавшей жжение во рту и умиротворение в сердце.

Однажды ни с того ни с сего Ампаро Москоте попросила разрешения посетить их дом. Амаранта и Ребека были в недоумении и приняли нежданную гостью вежливо, но сухо. Они показали дочери коррехидора свое прелестное жилище, дали послушать пианолу и предложили апельсиновый сок с печеньем. Ампаро явила собой образец женского достоинства, очарования и такого безупречного воспитания, что расположила к себе даже Урсулу за то короткое время, которое хозяйка посвятила гостье. По прошествии двух часов, когда разговор уже клонился к концу, Ампаро в какой-то момент передала Ребеке незаметно от Амаранты письмо. Ребека краем глаза увидела, что конверт адресован глубокоуважаемой сеньорите донье Ребеке Буэндия и что буквы выведены так же аккуратно, теми же зелеными чернилами и составляют такие же ровнехонькие ряды слов, как в рукописной инструкции для пианолы, и, сложив кончиками пальцев письмо, она спрятала его на груди, бросив на Ампаро взгляд с выражением безграничной и бесконечной благодарности и молчаливой клятвой в верности до гроба.

Внезапно вспыхнувшая дружба Ампаро Москоте и Ребеки Буэндия возродила тайные надежды Аурелиано. Мысли о крошке Ремедиос не переставали его мучить, но случай увидеть ее никак не представлялся. Прогуливаясь по городку со своими самыми близкими друзьями, Магнифико Висбалем и Херинельдо Маркесом, носившими, конечно, имена своих отцов, основателей Макондо, он жадно высматривал Ремедиос в швейной мастерской, но находил там только старших сестер. Появление Ампаро Москоте в их доме служило добрым

предзнаменованием. «Она должна с ней прийти, – шептал Аурелиано. – Должна прийти». Он столько раз это повторял и с такой убежденностью, что однажды днем, работая над золотой рыбкой, вдруг проникся уверенностью, что она непременно ответит на его зов. И действительно, вскоре Аурелиано услышал детский голосок. Подняв взор и похолодев от тревожного волнения, он увидел в дверях мастерской девочку в платьице из розового муслина и в белых туфельках.

– Туда не ходи, Ремедиос, – сказала Ампаро Москоте из галереи. – Там работают.

Но Аурелиано не дал девочке опомниться. Он покачал золотой рыбкой на тонкой цепочке, продетой через рыбий нос, и сказал:

– Вот, посмотри.

Ремедиос подошла и стала что-то спрашивать о рыбке, но Аурелиано ничего не мог сказать, у него перехватило дыхание. Ему хотелось всегда быть рядом с этой лилейной кожей, с этими изумрудными глазами, рядом с этим голоском, когда каждый вопрос сопровождается почтительным обращением «сеньор», совсем как к родному отцу. Мелькиадес сидел в углу за столом, царапая ему одному понятные каракули. Аурелиано ненавидел старика в те минуты. Ему ничего не оставалось делать, как только сказать Ремедиос, что он хочет подарить ей рыбку, но девочка так испугалась подарка, что стремглав выбежала из мастерской. В тот день Аурелиано утратил то долготерпение, с каким ждал случая ее увидеть. Он забросил рыбок. Не раз призывал ее, отчаянно напрягая всю свою волю, но Ремедиос не откликалась. Он искал ее в мастерской сестер, за занавесками ее окон, в приемной ее отца, но находил только в своих мечтах, которыми заполнял свое страшное одиночество. Он часами сидел с Ребекой в гостиной, слушая игру механического инструмента. Она слушала вальсы, потому что под эту музыку Пьетро Креспи учил ее танцевать.

Аурелиано их слушал просто потому, что решительно все, даже музыка, напоминало ему о Ремедиос.

Дом наполнился любовью. Аурелиано изливал чувство в стихах, не имевших ни конца, ни начала. Он писал их на древнем пергаменте, подаренном ему Мелькиадесом, на стенах купального домика, на коже собственных рук, и везде ему виделась и чудилась Ремедиос: Ремедиос в сонном воздухе жаркого дня, Ремедиос в затаенном дыхании роз, Ремедиос в кружении мошек над водой, Ремедиос в запахе хлеба на рассвете, Ремедиос всюду и Ремедиос навсегда. Ребека ждала свою любовь каждый день в четыре часа, сидя у окна за вышивкой. Она знала, что почтовый мул приходит только раз в две недели, но она упрямо караулила его в уверенности, что почта может прибыть и тогда, когда ее меньше всего ждешь. Но все вышло наоборот: в один прекрасный день мул не появился. Обезумев от тоски, Ребека вскочила в полночь с постели, бросилась в сад и стала есть землю с убийственной жадностью, плача от горя и злости, пережевывая нежных дождевых червей и раздирая до крови десны панцирями улиток. Потом ее тошнило до рассвета. Она впала в состояние полной прострации, тряслась как в лихорадке и никого не узнавала, а сердце облегчалось в безудержных бредовых излияниях. Возмущенная Урсула сбила замок с сундука и нашла на дне шестнадцать надушенных писем, перевязанных розовой ленточкой, и сухие скелетики листьев и цветов, хранившихся в старых книгах, а также останки бабочек, тут же распавшихся в прах.

Аурелиано был единственным, кто мог понять безмерную скорбь Ребеки. В тот же день, когда Урсула старалась вывести ее из дремучих галлюцинаций, он вместе с Магнифико Висбалем и Херинельдо Маркесом пошел в заведение Катарины. К дому там была

пристроена галерея, разделенная деревянными перегородками на комнатушки, где жили одинокие женщины, пахнувшие увядшими цветами. Оркестрик – аккордеон и барабаны – играл песни Франсиско Человека, который вот уже несколько лет не появлялся в Макондо. Трое друзей пили крепкую тростниковую водку. Магнифико и Херинельдо – ровесники Аурелиано, но уже поднаторевшие в таких делах, – попивали гуарапо, посадив женщин себе на колени. Одна из них, не первой свежести, с золотыми коронками, слишком ретиво приласкала Аурелиано. Он ее оттолкнул. Ему открылось, что чем больше он пьет, тем ярче вспоминается Ремедиос, но пытка воспоминаниями переносится легче. Он не заметил, с какого времени вокруг все поплыло. Видел своих друзей и женщин, плавающих в мутном отсвете лампы, невесомых и неосязаемых, говорящих слова, не разжимая губ, и подающих тайные знаки, не делая жестов. Катарина положила ему руку на спину и сказала: «Скоро одиннадцать». Аурелиано повернул голову, увидел огромную перекошенную физиономию с мохнатым цветком за ухом и с этого момента потерял память, как во время эпидемии забвения, и снова обрел себя одним ранним утром, в совсем незнакомой комнате, где стояла Пилар Тернера в рубашке, босая, растрепанная, поднося к нему фонарь и не веря собственным глазам:

– Аурелиано!

Аурелиано удержался на ногах и вскинул голову. Он не знал, как попал сюда, но знал, с каким намерением, потому что еще с детских пор оно затаилось в самом укромном углу его сердца.

– Я пришел. Спать с вами, – сказал он.

Вся его одежда была в грязи и блевотине. Пилар Тернера, которая жила тогда одна со своими младшими сыновьями, не сказала ни слова. Уложила в постель и обтерла ему лицо сырой тряпкой. Раздела его и разделась сама донага под москитной сеткой, чтобы не увидели дети, если проснутся. Она устала ждать мужчину, который остался в старой деревне, и мужчин, которые от нее уходили, и тех бесчисленных мужчин, которые не нашли к ней дороги, сбитые с толку неясным смыслом карточной ворожбы. За годы ожидания поблекла кожа, усохли груди, остыло сердце. Она во тьме нащупала Аурелиано, положила ему руку на живот и поцеловала в шею с материнской нежностью. «Бедный мой детеныш», – шепнула она. Аурелиано дернулся всем телом. Дальше пошло гладко и ловко, позади остались крутые пороги страданий, и он утонул в Ремедиос, которая раскинулась перед ним бескрайней топью, пахла загнанным животным и свежевыглаженным бельем. Когда он вынырнул на поверхность, у него по лицу катились слезы. Сначала были непроизвольные короткие всхлипы. Затем он излился буйным ручьем, чувствуя, как внутри прорвалось что-то набухшее и распиравшее до боли. Она ждала, почесывая ему голову кончиками пальцев, пока его тело освобождалось от темной материи, мешавшей существовать. Позже Пилар Тернера спросила: «Кто она?» И Аурелиано ей рассказал. Она запрокинула голову в смехе, который когда-то пугал голубей, а теперь даже не разбудил мальчишек. «Тебе сначала надо вырастить ее», – смеялась она. Но за всплеском издевки Аурелиано нашел глубокую заводь понимания. Когда он выходил из комнаты, оставив там не только сомнение в своих мужских качествах, но также и горькую тяжесть, столько месяцев давившую на сердце, Пилар Тернера вдруг пообещала ему:

– Я поговорю с девочкой, – сказала она. – Поднесу тебе ее на блюде. Увидишь.

И сдержала слово. Только выбрала неудачное время, ибо дом Буэндии лишился былого покоя. Узнав о страсти Ребеки, которая в бреду выдала свою тайну, Амаранта вдруг свалилась

в горячке. И в ее сердце тоже вонзился шип одинокой страсти. Закрывшись в купальном домике, она терзала себя несчастной любовью, писала пылкие письма и, не отсылая их, прятала на дне своего сундучка. Урсула металась от одной заболевшей к другой. Ей никак не удавалось, несмотря на все уговоры и каверзные вопросы, выведать у Амаранты причину ее расстройства. Наконец на нее вторично снизошло озарение, она бросилась к сундуку Амаранты и обнаружила там письма, перевязанные розовой ленточкой, пухлые от вложенных в них свежих лилий и отсыревшие от слез, адресованные Пьетро Креспи, но так к нему и не попавшие. Плача от злости, Урсула прокляла день и час, когда ей вздумалось купить пианолу, запретила уроки вышивания и объявила бессрочный траур – без покойника, но по пустым надеждам, от которых должны избавиться обе дочери. Напрасно успокаивал ее Хосе Аркадио Буэндия, который отрекся от своего первого впечатления о Пьетро Креспи и теперь восхищался его умением настраивать механические пианино. Так что, когда Пилар Тернера сказала Аурелиано, что Ремедиос согласна выйти за него замуж, он подумал, что эта новость доконает его родителей. Однако решился бросить вызов судьбе. Приглашенные в гостиную для серьезного разговора Хосе Аркадио Буэндия и Урсула стоически восприняли слова сына о намерении жениться. Но, услышав имя невесты, Хосе Аркадио Буэндия побагровел от возмущения. «Напасть какая-то, а не любовь! – гневался он. – Столько вокруг красивых и порядочных девушек, а тебе приспичило жениться именно на дочке нашего недруга». Но Урсула не возражала против выбора сына. Она призналась, что ей нравятся все семь дочерей Москоте своей миловидностью, прилежанием, скромностью и хорошими манерами, и похвалила сына за удачный выбор. Сраженный красноречием супруги, Хосе Аркадио Буэндия выдвинул одно условие: Ребека, которая пользуется в своей любви взаимностью, должна выйти замуж за Пьетро Креспи. Урсула, когда сможет, отвезет Амаранту в столицу провинции, чтобы дочь в новом обществе забыла о своих огорчениях. Ребека тотчас выздоровела, узнав о таком решении, и вне себя от радости написала с дозволения родителей письмо жениху и самолично отправилась на почту. Амаранта сделала вид, что со всем согласна и мало-помалу справилась с приступами нервной лихорадки, но втайне поклялась, что Ребека выйдет замуж, только перешагнув через ее труп.

В следующую субботу Хосе Аркадио Буэндия – в темном шерстяном костюме и целлулоидном воротничке, замшевых ботинках, которые впервые надел на бал, – отправился просить для сына руки Ремедиос Москоте. Коррехидор и его супруга были польщены и смущены неожиданным посещением, не зная, чем оно вызвано, а узнав о целях визита, предположили что гость явно перепутал имена. Чтобы рассеять сомнение, мать разбудила Ремедиос и принесла ее, полусонную, на руках в залу. У девочки спросили, правда ли, что она решила выйти замуж, и она в ответ, всхлипывая, пробормотала, что хочет спать и больше ничего. Хосе Аркадио Буэндия, понимая растерянность супругов Москоте, вернулся домой переговорить с Аурелиано. Когда он снова пришел сватать, чета Москоте встретила его уже прифрантившись, расставив по-другому мебель в гостиной, украсив вазы свежими цветами и созвав всех своих старших дочерей. Чувствуя себя неловко в их присутствии и очень неудобно в жестком воротничке, Хосе Аркадио Буэндия подтвердил, что – да, избранницей стала Ремедиос. «Не вижу смысла, – печально заметил дон Аполинар Москоте. – У нас шесть взрослых дочерей, все незамужние и вполне приличного возраста. Каждая охотно согласилась бы стать достойной супругой такого серьезного и работящего кабальеро, как ваш сын, но Аурелиано почему-то выбрал именно ту, которая еще мочится в постель». Жена коррехидора, хорошо сохранившаяся томная сеньора с тяжелыми веками, упрекнула его за

вульгарность. Когда покончили с фруктовым кремом, родители невесты дали согласие на предложение Аурелиано. Правда, сеньора Москоте попросила оказать ей одну любезность – предоставить возможность наедине поговорить с Урсулой. Урсула, сгорая от любопытства, сначала отнекивалась, – мол, нечего матери жениха соваться в сыновние дела, но на самом деле она просто робела от волнения и на следующий день посетила дом Москоте. Через полчаса Урсула вернулась с новостью: Ремедиос еще не достигла возраста половой зрелости. Аурелиано не счел это серьезным препятствием. Он очень долго ждал и мог ждать еще столько, сколько надо, пока невеста подрастет и будет способна зачать.

Вновь обретенная домашняя гармония была нарушена лишь смертью Мелькиадеса. Хотя это событие было неминуемо, ему предшествовали непредвиденные обстоятельства. Спустя несколько месяцев по возвращении процесс дряхления стал таким быстрым и резким, что скоро на старика стали смотреть, как на одно из этих никчемных допотопных существ, которые, словно тени, бродят по комнатам, волоча ноги, громко вспоминая добрые старые времена, и о которых никто не печется и не вспоминает до того дня, когда рассвет застанет их мертвыми в своей постели. Вначале Хосе Аркадио Буэндия приобщился к занятиям старого цыгана, увлекшись новизной дагерротипии и прорицаниями Нострадамуса. Но со временем предоставил Мелькиадеса его одиночеству, потому что им становилось все труднее понимать друг друга. Теряя зрение и слух, цыган, казалось, принимал собеседников за людей, которых знал чуть ли не на заре человечества, и отвечал на вопросы, смешивая воедино разные языки и наречия. Он двигался, ощупывая воздух, хотя обходил каждую вещь с необъяснимой легкостью, будто ему был дан инстинкт ориентации как дар сиюсекундного предвидения. Однажды он забыл вставить искусственные челюсти, положенные вечером в стакан с водой возле постели, да так больше ими и не пользовался. Когда Урсула затеяла перестройку дома, ему сложили отдельную комнату, рядом с мастерской Аурелиано, подальше от домашней толкотни и болтовни, с окном, озаренным солнцем, и рядами полок, где она собственноручно расставила книги, источенные жучками и временем, хрупкие пергаменты, испещренные непонятными знаками, и стакан с водой для искусственных зубов, где плавали какие-то водоросли с крохотными желтыми цветами. Новое жилище, наверное, пришлось Мелькиадесу по душе, и он перестал показываться даже в столовой. Заходил только в мастерскую к Аурелиано, где часами сидел за своими таинственными письменами на жестких пергаментах, которые приносил с собой и стопка которых походила на слоеный пирог. Там же он и ел то, что ему приносила Виситасьон дважды в день, хотя в последнее время он потерял аппетит и довольствовался овощами. И потому стал выглядеть хилым, как вегетарианец. Кожа покрылась налетом той же плесени, которая залила весь его вековечный жилет, будто сросшийся с телом, а его дыхание смердило, как коровье стойло. Аурелиано в конце концов забыл о нем, погруженный в сочинение стихов, но иногда улавливал смысл в его бессвязных монологах и оглядывался на него. По правде говоря, единственные слова, которые то и дело выбивались из его неровной речи и долбили слух несносным молоточком, были итальянское слово «равноденствие, равноденствие» и имя – Александр фон Гумбольдт. Аркадио, помогая Аурелиано в ювелирном деле, пытался сблизиться со стариком. Но Мелькиадес отвечал ему фразами на испанском, не имевшими ни малейшего отношения к действительности. Однажды на него нашло просветление, и он взволновался. Годы спустя, глядя перед расстрелом в дула ружей, Аркадио вспомнил, как Мелькиадес, трясясь всем телом, прочитал ему вслух несколько страниц из своих заумных писаний, которые, конечно, были ему непонятны и показались похожими на энциклики, произносимые нараспев. Потом

Мелькиадес улыбнулся, впервые за много месяцев, и сказал: «Когда я умру, три дня плавьте ртуть в моей комнате». Аркадио сообщил об этом Хосе Аркадио Буэндии, и тот попробовал добиться более понятного наказа, но ответ был краток: «Я достиг бессмертия». Когда изо рта Мелькиадеса стало совсем дурно пахнуть, Аркадио водил его утром по четвергам мыться в реке. Старику стало лучше. Он раздевался донага и плескался вместе с мальчишками, а его удивительное ощущение пространства не давало ему оступиться или попасть в омут. «Мы ведь вышли из воды», – сказал он однажды. Много времени утекло с тех пор, как его видели в доме, разве что тогда, когда он трогательно старался исправить пианолу или когда шел с Аркадио купаться, неся под мышкой тотуму и комочек пальмового мыла, завернутые в полотенце. В один из четвергов, перед тем как идти к реке, Аурелиано услышал такие его слова: «Я умер от лихорадки в болотах Сингапура». В этот день Мелькиадес неудачно ступил в воду, и его нашли только на следующее утро, в нескольких километрах вниз по течению. Он лежал на светлой отмели в излучине реки, а на животе у него сидел одинокий стервятник. Несмотря на бурные возражения Урсулы, которая пролила над ним слез больше, чем над родным отцом, Хосе Аркадио Буэндия не давал его хоронить. «Мелькиадес – бессмертен, он сам открыл формулу своего воскрешения», – сказал Хосе Аркадио Буэндия, разжег давным-давно заброшенную печь и поставил на огонь котелок с ртутью рядом с трупом, который мало-помалу стал покрываться голубыми волдырями. Дон Аполинар Москоте осмелился напомнить, что не преданный земле утопленник становится опасен для здоровья людей. «Ничего подобного, ибо он жив», – отрезал Хосе Аркадио Буэндия и продолжал ровно семьдесят два часа накачивать дом парами ртути, пока на трупе не стали лопаться с таким свистом, как почки в мертвенном цветении, волдыри, наполняя дом адским зловонием. Только тогда он позволил схоронить Мелькиадеса, но не просто так, а со всеми почестями, каких достоин истинный благодетель Макондо. Здесь это были первые похороны, и народу собралось видимо-невидимо – не намного меньше, чем веком позже на траурный карнавал в честь Мамы-Гранде. Его закопали в могиле, вырытой в центре недавно заложенного кладбища, и короткая надпись на памятнике гласила: «МЕЛЬКИАДЕС» – все, что о нем знали. Девять ночей, как полагается, совершался обряд бдения. Среди оживленной суеты в патио, где пили кофе, рассказывали анекдоты и играли в карты, Амаранта успела признаться в любви Пьетро Креспи, который несколько недель назад огласил свою помолвку с Ребекой и теперь строил магазин музыкальных инструментов и заводных игрушек на том самом месте, которое некогда облюбовали арабы для обмена безделушек на попугаев и которое народ прозвал «Турецкой улицей». Итальянец, чья шевелюра в рыжих завитках вызывала у женщин неодолимую потребность вздыхать, ответил Амаранте, как капризной девочке, которую не стоит принимать всерьез:

– У меня есть младший брат, – сказал он. – Брат скоро приедет помогать мне в делах.

Амаранта посчитала себя униженной и сказала Пьетро Креспи зло и язвительно, что все равно не допустит свадьбы сестры, даже если ей придется лечь костьми в дверях церкви. Итальянца так впечатлил драматизм угрозы, что он поддался искушению рассказать обо всем Ребеке. И потому отъезд Амаранты, который все время откладывался из-за Урсулы, занятой по хозяйству, был подготовлен менее чем за одну неделю. Амаранта не противилась, но когда Ребека целовала ее на прощание, она шепнула той на ухо:

– Не радуйся. Пусть меня увезут хоть на край света, я не дам тебе выйти за него замуж и убью, если надо.

В отсутствие Урсулы, в невидимом присутствии Мелькиадеса, который все так же

неслышно бродил по комнатам, дом казался особенно большим и пустынным. Ребека вела домашнее хозяйство, а индианка распоряжалась в пекарне. К вечеру являлся Пьетро Креспи, распространяя свежий аромат лаванды и всякий раз преподнося невесте в подарок игрушку, а она принимала гостя в большой гостиной с дверями и окнами нараспашку, чтобы не давать повода для сплетен. Это была излишняя предосторожность, ибо итальянец проявлял почтительность сверх меры, даже не пытаясь прикоснуться к руке той, что менее чем через год должна была стать его супругой. Эти визиты наполняли дом чудесными игрушками. Заводные балерины, музыкальные шкатулки, обезьянки-акробаты, коньки-скакунки, шуты-барабанщики и масса представителей богатейшей механической фауны, приносимых Пьетро Креспи, рассеяли горе Хосе Аркадио Буэндии, причиненное смертью Мелькиадеса, и снова вернули в забытые времена алхимии. Он переселился в рай выпотрошенных зверят и разобранных механизмов, где пытался усовершенствовать их, снабдив вечным двигателем, устроенным по принципу маятника. Аурелиано же забросил мастерскую, обучая грамоте крошку Ремедиос. Сначала девочка не желала расставаться с куклами ради этого человека, который приходил ежедневно после полудня и из-за которого надо было бросать игру, умываться, наряжаться и ждать его в гостиной. Но терпение и тихая настойчивость Аурелиано победили ее неприязнь, и она уже проводила с ним часы, постигая смысл букв и рисуя в тетрадке цветными карандашами коров в хлеву и круглолицые солнца с желтыми лучиками, глядящие из-за холмов.

Одна Ребека не находила себе места, помня угрозу Амаранты. Она знала характер своей сестры, ее норовистость, и страшилась ее нескрываемой злобы. Она часами сидела в купальном домике и сосала палец, сдерживая себя изо всех сил, чтобы не съесть земли. Не зная, чем заглушить страх, она попросила Пилар Тернеру погадать ей на картах. Наговорив уйму обычных маловразумительных слов, Пилар Тернера объявила:

– Не будет тебе счастья, пока не предадут земле твоих родителей.

Ребека содрогнулась. Будто воскрешая старый сон, она увидела маленькую девочку, себя, входящую в дом с сундучком, с деревянной колыбелью-качалкой и с сумкой, содержимое которой было ей неведомо. Ей привиделся лысый сеньор в полотняном костюме и рубашке с золотой запонкой на воротничке, который ничего общего не имел с червонным королем. Ей привиделась очень молодая и очень красивая женщина с мягкими пахучими руками, совсем не похожими на хищные лапки червонной дамы, и эта женщина вплетала ей в волосы цветы и вела днем гулять по зеленым улицам городка.

– Я не понимаю, – сказала она.

Пилар Тернера пришла в некоторое замешательство:

– Я тоже, но так говорят карты.

Ребеку очень встревожило загадочное предсказание, и она рассказала об этом Хосе Аркадио Буэндии. Тот строго отчитал ее за то, что она верит картам, однако сам принялся втихомолку копаться в шкафах и в сундуках, передвигать мебель, заглядывать под матрацы и поднимать половые доски в поисках сумки с костями.

Вспомнил, что не натыкался на нее со времен перестройки дома. Тайком расспросил каменщиков, и один из них признался, что замуровал суму в стену какой-то спальни, так как она все время мешалась у него под ногами. Несколько дней они простукивали стены, пока наконец ухо не уловило глухое «клуп-клуп». Разобрали стену, и там, целы и невредимы, лежали кости в своей сумке. В тот же самый день их закопали в могиле без всякого памятника, рядом с последним приютом Мелькиадеса, и Хосе Аркадио Буэндия вернулся

домой с полегчавшим сердцем, словно сбросив камень, такой же тяжелый, как воспоминание о Пруденсио Агиляре. Зайдя на кухню, он поцеловал Ребеку в лоб.

– Не забивай голову всякой дрянью, – сказал он ей. – Ты найдешь свое счастье.

Дружба с Ребекой распахнула перед Пилар Тернерой двери, которые для нее по велению Урсулы были закрыты после рождения Аркадио. Теперь она вламывалась в дом, как стадо коз, в любое время и обрушивала свой кипучий темперамент на самую тяжелую работу. Порой она заходила в мастерскую и помогала Аркадио проявлять дагерротипные пластины, и делала это с таким умением и с такой нежной заботой, что он начинал робеть. Его смущала эта женщина. Жар ее тела, легкий запах гари, всполохи ее смеха в темной комнате отвлекали его от дела, мешали сосредоточиться.

Однажды в мастерской оказался Аурелиано, скучавший по своим ювелирным поделкам, и Пилар Тернера, опершись на стол, молча любовалась его кропотливой работой. И тут все выявилось. Аурелиано, убедившись, что Аркадио находится в темной комнате, поднял взор и встретился глазами с Пилар Тернерой: ее намерение высказаться было ясно как Божий день.

– Ну, – сказал Аурелиано, – говори, что стряслось? Пилар Тернера закусила губы и грустно усмехнулась:

– А то, что тебе место на войне, – сказала она. – Куда метишь, туда и влепишь.

Аурелиано смирился с тем, что предсказание сбывается. И снова углубился в работу, будто ничего не случилось, а голос его был спокоен и тверд.

– Я его признаю, – сказал он. – Будет носить мое имя.

Хосе Аркадио Буэндия добился наконец своего: приладил к заводной балерине часовой механизм, и она танцевала без передышки под собственную музыку целых три дня. Этот успех вдохновил его больше, чем осуществление любой из его прежних сумасбродных затей. Он перестал есть. Перестал спать. Освободившись от надзора и опеки Урсулы, всецело отдался своим фантазиям и потерял чувство реальности, к которой уже никогда не мог вернуться. Ночи напролет он мерил шагами комнату, вслух размышляя, ища способ использовать принцип маятника в устройстве повозок, плугов, всего того, что приносит пользу в движении. Он был так измучен лихорадочной работой мысли, гнавшей сон прочь, что однажды на рассвете не смог узнать седовласого старца, который, пошатываясь, вошел в его спальню. Это был Пруденсио Агиляр. Когда же наконец Хосе Аркадио Буэндия, потрясенный тем, что умершие тоже стареют, узнал гостя, его взволновали давние воспоминания. «Пруденсио, – воскликнул он, – как ты попал сюда?» После долгих лет небытия тоска по живым стала такой жгучей, потребность в обществе людей – такой неодолимой, близость другой смерти, существующей в этой смерти, так пугала, что Пруденсио Агиляр в конце концов полюбил своего злейшего врага. Он очень долго искал его. Расспрашивал о нем мертвых из Риоачи, мертвых, приходивших из Валье-дель-Упар, из всей низины, но никто не мог ему ничего сказать о Хосе Аркадио Буэндии, ибо умершие не знали о Макондо до тех пор, пока не прибыл Мелькиадес и не обозначил городок черной точкой на пестрых картах смерти. Хосе Аркадио Буэндия разговаривал с Пруденсио Агиляром до самой зари. Несколько часов спустя, измученный бессонницей, он вошел в лабораторию Аурелиано и спросил: «Какой сегодня день?» Аурелиано ответил, что вторник. «Я тоже так думал, – сказал Хосе Аркадио Буэндия. – Но вдруг понял, что продолжается вчерашний понедельник. Посмотри на небо, посмотри на стены, посмотри на бегонии. Сегодня тоже понедельник». Привыкший к его бредням, Аурелиано не стал слушать. На следующий день, в среду, Хосе Аркадио Буэндия снова посетил лабораторию. «Просто беда, – сказал он. – Взгляни на

воздух, послушай, как жужжит солнце, в точности как вчера и позавчера. Сегодня тоже понедельник». Вечером Пьетро Креспи нашел его в галерее, где тот заливался пустыми стариковскими слезами, оплакивая Пруденсио Агиляра, Мелькиадеса, родителей Ребеки, своих папу и маму, всех, кого мог вспомнить и кто в смерти своей был одинок. Итальянец подарил ему заводного медведя, который ходил на двух лапах по проволоке, но это не отвлекло старика от неодолимого желания плакать. Итальянец спросил его о проекте, о котором тот недавно рассказывал и осуществление которого даст возможность построить двигатель-маятник и позволит человеку летать, а старик ответил, что ничего не получится, так как маятник может запустить в воздух любой предмет, но только не самого себя. В четверг он снова появился в лаборатории и выглядел, как жалкий холмик земли, размытый дождем. «Машина времени испортилась, – почти рыдал он, – а Урсулы и Амаранты все нет». Аурелиано отчитал его, как ребенка, и старик покорно затих. Шесть часов подряд Хосе Аркадио Буэндия разглядывал вещи, стараясь определить, чем они отличаются от тех, какими они были вчера, пытаясь найти в них какие-нибудь изменения, которые говорили бы о ходе времени. Всю ночь он провел в постели, не смыкая глаз, призывая Пруденсио Агиляра, Мелькиадеса, всех усопших помочь ему в его мучительных исканиях. Но никто не откликнулся. В пятницу, пока все еще спали, он снова и снова выискивал сдвиги в природе, пока окончательно не убедился, что вокруг – понедельник. Тогда он вытащил из двери засов и в диком неистовстве, обретя былую страшную силу, стал крушить алхимические приборы, дагерротипные приспособления и ювелирную мастерскую, выкрикивая как одержимый заклинания на совершенно непонятном языке. Он уже собрался разнести вдребезги весь дом, но Аурелиано обратился за помощью к соседям. Потребовалось десять человек, чтобы свалить старика, четырнадцать, чтобы связать его, двадцать, чтобы прикрутить к каштану в патио, где он долго колотился спиной о ствол. Вопия на чужом языке, взбивая губами зеленую пену. Когда вернулись Урсула и Амаранта, он все еще был привязан за руки и за ноги к дереву, промок под дождем до нитки и абсолютно ничего не понимал. Они заговорили с ним, а он смотрел на них, не узнавая, и нес какую-то околесицу. Урсула сняла веревки с его запястий и щиколоток, но он как был привязан к каштану по пояс, так там и остался. Позже для него соорудили навес из пальмовых веток, чтобы защитить от солнца и дождя.

Аурелиано Буэндия и Ремедиос Москоте сочетались браком в одно из мартовских воскресений перед алтарем, который падре Никанор Рейна велел установить в большой гостиной. Этим событием завершили месяц великих треволнений в доме Москоте, ибо маленькая Ремедиос достигла половой зрелости раньше, чем простилась со своими игрушками. Хотя мать посвящала ее в секреты девичьего возраста, однажды вечером, в феврале, она ворвалась с дикими воплями в залу, где ее сестры беседовали с Аурелиано, и показала им панталончики, измазанные вроде бы густым какао. Был назначен месяц свадьбы. К этому времени успели научить Ремедиос самостоятельно мыться и одеваться и кое-что делать по дому. Ее сажали на теплые кирпичи, чтобы она отвыкла мочиться в постели. С трудом уговорили хранить таинство супружеских отношений, ибо, узнав некоторые подробности, Ремедиос была так поражена и вместе с тем пришла в такое восхищение, что сразу же захотела широко обсудить все детали первой ночи. Сил на нее было положено много, зато к назначенному дню свадьбы девочка разбиралась в житейских вопросах не хуже своих сестер. Дон Аполинар Москоте вел ее за руку по улице, украшенной цветами и гирляндами, гремела музыка нескольких оркестров и трещали хлопушки, а она

помахивала ручкой и благодарила улыбкой тех, кто из окон желал ей счастья. Аурелиано в черном костюме и в лаковых ботинках с металлическими застежками, в тех самых, что он надел несколько лет спустя перед расстрелом, страшно бледный, онемевший от волнения, встретил невесту в дверях своего дома и повел к алтарю. Она держалась так непринужденно и спокойно, что не потеряла самообладания даже тогда, когда Аурелиано, приступая к обряду, уронил кольцо. Гости зашептались, всколыхнулись, а она продолжала стоять, вытянув руку в кружевной митенке и оттопырив безымянный палец, пока жених не прихлопнул ботинком кольцо, катившееся к двери, и не вернулся к алтарю, багровый от смущения. Мать и сестры ужасно боялись, как бы девочка не нарушила ход церемонии, и к концу так разнервничались, что сами допустили досадную оплошность, заставив ее поцеловать жениха. В этот день она проявила ту заботливость о других, природную смекалку и самообладание, которые и впредь отличали Ремедиос в щекотливых ситуациях. Именно она по собственной инициативе отрезала лучший кусок от свадебного пирога, припрятала, а потом отнесла на тарелке с вилкой Хосе Аркадио Буэндии. Привязанный к стволу каштана, выбеленный дождем и солнцем старец-великан, прикорнувший на деревянной скамеечке под пальмовым навесом, чуть улыбнулся в знак благодарности и взял пирог обеими руками, пришептывая какой-то псалом. Единственным несчастным человеком на этом бесподобном пиршестве, которое длилось с воскресенья всю ночь до рассвета, была Ребека Буэндия. Она тоже могла быть героиней праздника. С согласия Урсулы, ее свадьба должна была состояться в этот же самый день, но Пьетро Креспи получил в пятницу письмо, извещавшее, что его мать при смерти. Бракосочетание было отложено. Ровно через час по получении письма Пьетро Креспи отправился в столицу провинции, а по дороге чуть было не встретился со своей матерью, которая приехала в Макондо точнехонько к вечеру в субботу и пропела на свадьбе Аурелиано какую-то печальную итальянскую арию, разученную ею к свадьбе сына. Пьетро Креспи вернулся в воскресенье ночью – на поминки своего торжества, загнав пять лошадей в стремлении вовремя успеть к алтарю. Так и не удалось узнать, кто написал это письмо. В ответ на пристрастный допрос Урсулы Амаранта даже всплакнула от негодования и поклялась в своей невиновности перед алтарем, который плотники еще не разобрали до конца.

Падре Никанор Рейна – которого дон Аполинар Москоте привез откуда-то из низины для совершения бракосочетания – был духовно закален своим неблагодарным трудом. Тощий, если не костлявый старик, он, однако, имел заметное круглое брюшко, а выражением лица – скорее наивным, чем кротким – походил на престарелого ангела. Падре думал вернуться после свадьбы к своим прихожанам, но его ввергла в ужас душевная закоснелость жителей Макондо, которые благоденствовали в грехах и пороках, подчинялись только законам природы и ни детей не крестили, ни святых праздников не справляли. Уразумев, что нигде на земле сеятель Божий не принесет больше пользы, чем здесь, он решил остаться еще на неделю, чтобы крестить обрезанных и неверных, узаконить сожительства и отпустить грехи умирающим. Но никому до него не было дела. Ему отвечали, что испокон веков обходятся без священника, вымаливая спасение душ своих непосредственно у Господа Бога, и отнюдь не страшатся Судного дня. Устав вопиять в пустыне, падре Никанор вознамерился построить храм, самый большой в мире, с образами святых в натуральную величину и с цветными витражами снизу доверху, дабы из самого Рима приходил сюда народ славить Бога в этом средоточии безбожников. Он бродил по всему городу с медной плошкой, прося подаяние. Ему давали немало, но он желал больше, ибо храму нужен был такой колокол, чтобы от его

трезвона всплывали утопленники. Падре Никанор взывал к щедрости так усердно, что сорвал голос. Ноги начинали гудеть от ходьбы. Однажды в субботу, увидев, что денег не набралось даже на двери храма, он с отчаяния не выдержал искуса. Соорудил на площади алтарь и в воскресенье обошел весь городок, позванивая колокольчиком, как звонили пришельцы во время эпидемии бессонницы, и созывая людей к мессе на свежем воздухе. Одни пришли из любопытства. Другие с тоски. Третьи – побаивались, как бы Бог не счел личным оскорблением невнимательное отношение к своему служителю. Таким образом, к восьми утра полгородка собралось на площади, где падре Никанор читал Евангелие осипшим от просьб о подаянии голосом. Наконец, когда присутствующие стали понемногу расходиться, он поднял руки, прося внимания.

– Одну минуту, – сказал он. – Сейчас вам будет предъявлено неоспоримое доказательство всемогущества нашего Господа Бога.

Мальчик, помогавший при богослужении, подал ему чашку густого дымящегося шоколада, падре Никанор залпом осушил ее, обтер губы платком, извлеченным из сутаны, распростер руки и зажмурился. И все увидели, что падре Никанор воспарил в двенадцати сантиметрах над поверхностью земли. Это был убедительный довод. Несколько дней подряд падре ходил по домам, повторяя свой опыт с левитацией после чашки шоколада, а служка тем временем набирал в мешок столько денег, что менее чем через месяц началось строительство храма. Никто не ставил под сомнение святость чуда, за исключением Хосе Аркадио Буэндии, который с полным безразличием взирал на людей, которые однажды собрались возле каштана, чтобы еще раз поглядеть на невиданное зрелище. Он лишь слегка потянулся, сидя на своей скамеечке, и пожал плечами, когда падре Никанор начал отрываться от земли вместе со стулом, на котором сидел.

– Hoc est simplicissimum, – сказал Хосе Аркадио Буэндия. – Homo iste statum quartum materie invenit[1].

Падре Никанор взмахнул рукой, и тут же все четыре ножки стула рухнули наземь.

– Nego, – сказал он. – Factum hoc existentiam Dei probat sinedubio[2].

Вот так стало известно, что дьявольская бессмыслица, которую нес Хосе Аркадио Буэндия, всего-навсего латынь. Падре Никанор воспользовался тем обстоятельством, что оказался единственным человеком, который может общаться с ним, и решил наставить на путь истинный эту заблудшую овцу. Каждый день он садился под каштаном и рассуждал по латыни о вере, но Хосе Аркадио Буэндия не поддавался воздействию ни риторических красот, ни шоколадных доказательств и в качестве единственного аргумента допускал только дагерротипный отпечаток Господа Бога. Падре Никанор приносил ему и образки, и оттиски с гравюр, и даже репродукцию платка Вероники, но Хосе Аркадио Буэндия глядеть не желал на эти ремесленные поделки, не имеющие отношения к науке. Он так твердо стоял на своем, что падре Никанор отказался от намерений обратить его в христианство и продолжал приходить к нему из чисто человеческих побуждений. Тут Хосе Аркадио Буэндия взял инициативу в свои руки и попытался рационалистическими хитросплетениями подорвать веру священника. Однажды падре Никанор принес с собой игральную доску и предложил сыграть в шашки. Хосе Аркадио Буэндия отказался, ибо, как он заявил, никогда не видел смысла в борьбе двух противников, если у них нет принципиальных разногласий. Падре Никанор, которому не случалось оценивать шашки с такой стороны, и здесь не смог его переубедить. С каждым разом все более удивляясь ясности ума Хосе Аркадио Буэндии, он спросил, почему того привязали к дереву.

– Hoc est simplicissimum, – был ответ. – Потому что я – безумец.

С той поры, опасаясь за собственную веру, священник перестал его навещать и все силы отдавал скорейшему возведению церкви. Ребека воспрянула духом. Ее замужество стало прямо зависеть от окончания строительства после одного воскресного обеда в их доме, когда падре Никанор и вся семья заранее восторгалась торжественностью и пышностью предстоящих богослужений в новом храме. «Ребеке первой выпадет счастье», – сказала Амаранта. Поскольку Ребека не поняла, что она этим хотела сказать, Амаранта пояснила с милой улыбкой:

– Ведь ты откроешь церковь своей свадьбой.

Ребека воздержалась от комментариев на эту тему.

Если строительство будет идти так, как шло, оно не завершится и через десять лет. Падре Никанор не согласился: щедрость верующих растет ото дня ко дню и позволяет надеяться на лучшее. Несмотря на тихую ярость Ребеки, которая больше не смогла проглотить за столом ни куска, Урсула одобрила мысль Амаранты и обещала внести солидный вклад для ускорения работ. Падре Никанор заметил, что будь еще одно такое благотворение, и храм воссияет через три года. С этого дня Ребека ни единым словом не обмолвилась с Амарантой, так как была убеждена, что за ее невинными словами кроется коварство. «Хорошо еще, что я чего-нибудь похуже не придумала, – сказала Амаранта в жестокой словесной перепалке, состоявшейся между ними ночью. – По крайней мере, мне не придется убивать тебя в ближайшие три года». Ребеке осталось принять вызов.

Когда Пьетро Креспи узнал о новой отсрочке, свет ему показался не мил, но Ребека представила неопровержимое доказательство своей верности. «Мы сбежим, когда ты захочешь», – сказала она. Пьетро Креспи, однако, не был так безрассуден. Он не обладал пылким нравом своей невесты и дорожил сделанным предложением так же, как богатством, которое грешно бросать на ветер. Тогда Ребека отважилась пойти судьбе наперекор. Таинственный ветер тушил лампы в большой гостиной, и Урсула заставала жениха и невесту за жаркими поцелуями в потемках. Пьетро Креспи что-то бормотал в свое оправдание о плохом качестве новейших масляных ламп и даже помогал ей оборудовать гостиную более надежными светильниками. Но назавтра либо масло кончалось, либо фитили обгорали, и Урсула опять застигала Ребеку на коленях жениха. В конце концов она перестала требовать объяснений. Возложила на индианку все заботы по хлебопечению и, сидя в кресле-качалке, следила за поведением молодых людей, полная решимости не дать провести себя фокусами, устаревшими еще в дни ее молодости. «Бедная мама, – говорила с досадливой усмешкой Ребека, глядя, как зевает Урсула в сонной атмосфере визитов. – Видно, и на том свете не расстаться ей с этой качалкой».

На исходе третьего месяца, потеряв всякое терпение при виде вяло растущей церкви, на которую он любовался каждый день, Пьетро Креспи решил дать падре Никанору денег для завершения постройки. Амаранта на это никак не реагировала. Болтая с подругами, которые ежедневно приходили рукодельничать в галерее, она вынашивала новые злокозненные планы. Один из них, по видимости наиболее действенный, нечаянно сорвался. Она вынула из комода все шарики нафталина, которые Ребека положила на свое подвенечное платье. И сделала это почти за два месяца до завершения работ в храме. Но Ребека, предвкушая скорую свадьбу и сгорая от нетерпения, решила заняться нарядом раньше, чем предполагала Амаранта. Выдвинув ящик комода, развернув сначала бумагу, а затем холст, она увидела, что все платье, кружево фаты и даже венок из флердоранжа изъедены молью. Хотя она была

уверена, что положила в сверток две горсти нафталиновых шариков, беда так смахивала на несчастный случай, что она не решилась обвинить Амаранту. До свадьбы оставалось менее месяца, но Ампаро Москоте обещала сшить новый наряд за неделю. У Амаранты чуть не подкосились ноги, когда в один пасмурный полдень Ампаро внесла в дом пенное облако кружев для последней примерки платья. Амаранта лишилась дара речи, и струйка холодного пота поползла по ложбинке позвоночника. Многие месяцы она дрожала от страха в ожидании рокового часа, ибо твердо знала: если не удастся поставить непреодолимую препону на пути свадьбы Ребеки и исчерпана вся ее изобретательность, то в последний момент она найдет в себе силы отравить Ребеку. В этот день, когда Ребека млела от жары в атласном панцире, который Ампаро Москоте закрепляла на ней с помощью тысячи булавок и с превеликим терпением, Амаранта успела не раз испортить вышивку и уколоть палец иглой, но с ужасающим спокойствием установила срок – последняя пятница до свадьбы и способ – добрая доза морфия в чашку кофе.

Но тут сама собой возникла преграда, внезапная и неотвратимая, и снова отодвинула бракосочетание на неопределенное время. За неделю до свадьбы маленькая Ремедиос проснулась в полночь, обливаясь горячей жижей, которая клокотала внутри нее и которую она срыгивала в страшных конвульсиях, а через три дня она погибла, отравленная собственной кровью и с двумя близнецами, заблудившимися в ее чреве. Амаранта чуть не умерла от угрызений совести. Ведь она пылко просила Бога сотворить нечто страшное, чтобы не надо было убивать Ребеку, и теперь чувствовала себя виноватой в смерти Ремедиос. Нет, не о такой препоне она молила. Ремедиос впорхнула в дом, как дуновение радости. Она устроилась с мужем в комнате рядом с мастерской, где поселились также куклы и игрушки ее вчерашнего детства, а ее восторженное жизнелюбие вырывалось из четырех стен спальни и, как пышущий здоровьем и радостью ветерок, неслось по галерее с бегониями. Она пела с самой зари. Одна она отваживалась вмешиваться в ссоры Ребеки и Амаранты. Она взяла на себя тяжкий труд ухаживать за Хосе Аркадио Буэндией. Приносила еду, помогала ему отправлять ежедневные надобности, мыла его мочалкой с мылом, вычесывала вшей и гнид из бороды и волос на голове, следила за навесом, накрывая пальмовые листья брезентом в дни бурь и дождей. В последние месяцы она уже могла обмениваться с ним фразами на примитивной латыни. Когда родился сын Аурелиано от Пилар Тернеры и был принят в семью, крещен в отчем доме и наречен Аурелиано Хосе, Ремедиос решила, что он будет ее старшим сыном. Сила ее материнского инстинкта приводила Урсулу в изумление. Аурелиано, со своей стороны, обрел в жене смысл жизни, ради которого стоило жить. Все дни напролет он работал в мастерской, а Ремедиос носила ему туда по утрам черный кофе. Каждый вечер они навещали семейство Москоте. Аурелиано с тестем без конца играли в домино, Ремедиос болтала с сестрами о пустяках или разговаривала с матерью о делах хозяйственных. Родственная связь с семьей Буэндия укрепила в городке авторитет дона Аполинара Москоте. Во время частых посещений главного города провинции он добился того, что власти построили школу и поручили преподавание Аркадио, который унаследовал склонность своего деда к поучениям и наставлениям. Дон Аполинар сумел убедить большинство жителей покрасить дома в синий цвет ко дню национальной независимости. Велел по ходатайству падре Никанора перенести заведение Катарины на окраинную улицу и ликвидировал немало злачных мест в центре городка. Однажды он привез с собой из столицы шестерых полицейских с ружьями и возложил на них обязанность следить за порядком, и никто даже не вспомнил о его стародавнем обете не держать в Макондо

вооруженную стражу. Аурелиано нравилась домовитость тестя. «Ты станешь таким же дородным, как он», – говорили ему друзья. Но от сидячего образа жизни у него лишь рельефнее обозначились скулы, а пламя в глазах разгорелось ярче, но его вес не увеличился и не изменилась его рассудительная натура, хотя твердая линия плотно сжатых губ говорила о долгих одиноких раздумьях и непреклонной решимости. Любовь, которую он и его супруга сумели пробудить к себе в обеих семьях, была такой сильной, что даже Ребека и Амаранта временно прекратили перебранки, когда Ремедиос объявила, что ждет ребенка, и принялись вязать приданое – из голубой шерсти, если будет мальчик, и из розовой шерсти, если родится девочка. Она была последней в ряду тех, о ком вспомнил Аркадио несколько лет спустя, стоя у стены перед расстрелом.

Урсула соблюдала траур, держа на запоре и окна и двери: никто не смел ни входить и ни выходить из дому, кроме как по безотлагательным делам; она запретила громко говорить в течение года и установила дагерротип Ремедиос на том месте, где стоял гроб во время бдения, прикрыла угол снимка черной лентой и зажгла пред ним вечную лампадку. Будущие поколения, всегда поддерживавшие этот огонек, с недоумением взирали на девочку в плиссированных юбках, белых башмачках и с муслиновым бантом на волосах, которая в представлении потомков никак не вязалась с каноническим образом прабабушки. Амаранта взяла на себя заботу об Аурелиано Хосе. Она видела в нем сына, который скрасит ей одиночество и избавит от проклятого морфия, который ее безрассудная мольба бросила в кофе Ремедиос. По вечерам в дом на цыпочках входил Пьетро Креспи с черной лентой на шляпе, чтобы нанести молчаливый визит так называемой невесте, от которой, казалось, скоро останется одно имя в черном платье с длинными, до пальцев, рукавами. Сама мысль о назначении нового дня свадьбы представлялась такой кощунственной, что помолвка стала неким обычным состоянием, всем надоевшей любовью, которой уже никто не интересовался, будто влюбленные, когда-то нарочно гасившие лампы, чтобы целоваться во мгле, были отданы на откуп смерти. Потеряв всякую надежду, совершенно пав духом, Ребека снова стала есть землю.

Неожиданно – когда траур длился уже так долго, что возобновились обычные сборища вышивальщиц крестиком, – кто-то в два часа дня среди жаркой мертвенной тишины с такой силой двинул с улицы в дверь, что в доме задрожали стены. Амаранта с подругами в галерее, Ребека, сосавшая палец в спальне, Урсула на кухне, Аурелиано в мастерской и даже Хосе Аркадио Буэндия под своим одиноким каштаном подумали, что дом содрогнулся от подземного толчка. Вошел диковинный человек. Его квадратные плечи едва протиснулись в дверь. На бычьей шее болтался образок святой Девы Ремедиос, руки и грудь были сплошь изукрашены странной татуировкой, а правое запястье схвачено широким медным браслетом. Кожа, дубленная всеми ветрами, волосы, короткие и жесткие, как грива у мула, мощные челюсти и грустный взгляд. На нем был пояс вдвое толще лошадиной подпруги и кованные железом ботфорты со шпорами, а его вторжение в дом очень походило на начало землетрясения. Он пересек прихожую и гостиную, таща на плече потрепанные сумы, и громыханьем шагов потряс до основания галерею с бегониями, где Амаранта и ее подруги застыли с иглами в поднятых руках. «Здрасьте», – сказал он им устало, бросил сумы на рабочий стол и пошел дальше, в глубь дома. «Здрасьте», – сказал он испуганной Ребеке, проходя мимо двери ее спальни. «Здрасьте», – сказал он Аурелиано, который всеми пятью чувствами был погружен в ювелирную работу. Человек нигде не останавливался. Шел прямо на кухню и там, в конце пути, который начался на другом конце света, впервые остановился.

«Здрасьте», – сказал он. Урсула на долю секунды замерла с растопыренными пальцами, взглянула ему в глаза, вскрикнула и повисла у него на шее, охая и плача от радости. Это был Хосе Аркадио. Он вернулся с тем, с чем ушел, Урсуле даже пришлось дать ему два песо расплатиться за лошадь. Его речь была нашпигована словами из жаргона моряков. У него спросили, где он побывал, он кратко ответил: «Да там». Повесил гамак в отведенной ему комнате и проспал три дня подряд. Потом проснулся, съел шестнадцать крутых яиц и прямо направился к заведению Катарины, где его исполинская фигура вызвала у женщин паническое любопытство. Он заказал музыку и спиртное на всех. Поспорил, что пятерым мужчинам не под силу согнуть ему руку. «Не сладить, – согласились они, убедившись, что рука не поддается. – У него колдовской браслет». Катарина, видевшая в силовых трюках один обман, поспорила на двенадцать песо, что он не сдвинет с места стойку. Хосе Аркадио оторвал стойку от пола, поднял над головой и вышвырнул на улицу. Одиннадцать человек едва втащили ее обратно. В разгар вечеринки он положил на стойку свою потрясающую мужскую принадлежность, сплошь покрытую татуировкой – плотной вязью красных и синих автографов на разных языках. Женщин, у которых глаза разгорелись от вожделения, он спросил, кто из них может дать кучу денег? Только у одной нашлось больше, чем у других: двадцать песо. Тогда он предложил женщинам разыграть его в лотерею и каждой внести по десять песо в качестве ставки. Это была безумная цена, потому что самая расхожая женщина зарабатывала восемь песо за целую ночь, но все согласились. Они написали свои имена на четырнадцати бумажках, бросили их в шляпу и затем вытаскивали по одной бумажке. Когда в шляпе осталось две записки, были оглашены означенные в них имена.

– Пусть обе накинут еще по пять песо, – предложил Хосе Аркадио, – и я ублажу обеих.

Этим он жил. До того сумел шестьдесят пять раз обернуться вокруг земли, завербовавшись в команду морских бродяг. Женщины, переспавшие с ним той ночью в заведении Катарины, втащили его нагим в танцевальную залу, чтобы все видели, что у него на теле нет живого местечка без татуировки, ни сзади, ни спереди, от шеи и до самых пят. Он не очень старался войти в семью. Днем спал, а по ночам прирабатывал в веселых домах, пуская в ход свою силищу. В редких случаях, когда Урсуле удавалось посадить его за стол, он завладевал всеобщим вниманием, особенно когда рассказывал о своих приключениях в дальних странах. Как-то, после кораблекрушения, ему пришлось две недели дрейфовать на плоту в Японском море и питаться мясом умершего от солнечного удара товарища, чье мясо, просоленное и пересоленное волнами и провяленное под солнцем, было жестким, но сладким на вкус. Однажды в Бенгальском заливе в жаркий полуденный час его корабль пришиб морского дракона, в чьем брюхе люди нашли шлем, пряжки и оружие крестоносца. В Карибском море он видел призрак пиратского брига Виктора Юга с парусами, истрепанными ветром смерти, с мачтами, источенными морскими тараканами, обреченного на то, чтобы сбиваться с курса и никогда не дойти до Гваделупы. Урсула плакала за столом, будто читала письма, которые так и не попали домой, где Хосе Аркадио повествовал о своих подвигах и злоключениях. «А дома-то столько места, сынок, – всхлипывала она. – И столько еды кидаем свиньям!» Но она никак не могла свыкнуться с мыслью, что мальчик, ушедший с цыганами, стал вот этим неотесанным верзилой, который за обедом съедает полпоросенка и от кишечных выхлопов которого вянут цветы. Нечто подобное испытывали и остальные домочадцы. Амаранта не могла скрыть отвращения, которое у нее вызывало его смачное рыгание за столом. Аркадио, не знавший и не узнавший тайны своего усыновления, едва успевал отвечать на вопросы, которые задавал ему Хосе Аркадио, стараясь завоевать его

симпатию. Аурелиано пытался напомнить брату о временах, когда они спали в одной комнате, старался воскресить былые отношения друзей-сообщников, но Хосе Аркадио начисто о них забыл, потому что морская стихия доверху загрузила его память другими вещами. Одна Ребека была сражена с первой минуты. В тот самый день, когда он прошагал мимо открытой двери ее спальни, ей вдруг подумалось, что Пьетро Креспи – просто кренделек из сладкого теста в сравнении с этим самцом-громовержцем, чье жаркое дыхание накалило весь дом. Она то и дело попадалась ему на глаза. Как-то раз Хосе Аркадио оглядел ее без стеснения с головы до ног и заметил: «Ты – баба хоть куда, сестренка». Ребека совсем потеряла голову. Она опять стала жадно есть землю и известку, как раньше, и сосала палец с таким усердием, что натерла на нем мозоль. Ее рвало зеленой слизью с дохлыми пиявками. Она не спала ночами, дрожа как в лихорадке, борясь с наваждением, ожидая, когда же опять содрогнется дом на рассвете, впуская Хосе Аркадио. Однажды, в часы сиесты, когда все спали, она не выдержала и вошла к нему в комнату. Он не спал, лежал в одних коротких подштанниках на брезентовом гамаке, привязанном к крюкам канатами, которыми швартуют корабли. Ее так поразила эта массивная расписная нагота, что она чуть не отпрянула от порога. «Извините, – стала она оправдываться. – Я не знала, что вы здесь». Но понизила голос, чтобы никто не проснулся. «Иди сюда», – сказал он. Ребека повиновалась. Она прижалась к гамаку, исходя ледяным потом, ощущая схватки в кишках, а Хосе Аркадио поглаживал ей кончиками пальцев щиколотки, потом икры, потом ляжки, приговаривая: «Ох, сестренка, ох, сестренка». Невероятным усилием воли она заставила себя остаться в живых, когда ураганная, но очень целеустремленная сила взметнула ее вверх, подхватив за талию, и тремя зверскими рывками содрала с нее белье, и раздавила ее, как цыпленка. Она едва успела сказать Богу спасибо за то, что родилась, и тут же обезумела от невероятного наслаждения и невыносимой боли, в паркой трясине чавкающего гамака, который впитывал, подобно промокашке, выплески ее крови. Три дня спустя они сочетались браком на мессе в пять часов вечера. Накануне Хосе Аркадио зашел в магазин Пьетро Креспи. Тот давал урок игры на цитре, но гость и не подумал отозвать его в сторону. «Я женюсь на Ребеке», – сказал Хосе Аркадио. Пьетро Креспи побелел, отдал цитру одному из учеников и сказал, что урок окончен. Когда они остались одни в салоне, полном музыкальных инструментов и заводных игрушек, Пьетро Креспи сказал:

– Она ваша сестра.

– Мне все равно, – сказал Хосе Аркадио. Пьетро Креспи вытер лоб платком, благоухающим лавандой.

– Это – вопреки природе, – объяснил он, – и, кроме того, запрещено законом. Стыд и срам.

Хосе Аркадио взбесила не столько ученость, сколько бледность Пьетро Креспи.

– На срам я… на стыд – тьфу! И не суйтесь к Ребеке ни с какими расспросами. Вот что я вам скажу.

Его шумная ярость поутихла, когда он заметил слезы в глазах Пьетро Креспи.

– Ладно, – продолжил он примирительно, – если вам очень по вкусу наша семья, остается еще Амаранта.

Падре Никанор объявил в своей воскресной проповеди, что Хосе Аркадио и Ребека – не брат и сестра. Урсула же не могла им простить такого, как она считала, бесстыдного попрания домашних устоев и, когда молодые вернулись из церкви, не пустила их на порог. Для нее они перестали существовать. Им пришлось снять домик рядом с кладбищем и

устроить там себе жилье, а гамак Хосе Аркадио служил кроватью. Вечером после свадьбы Ребеку укусил скорпион, забравшийся в ночную туфлю. У нее отнялся язык, но это не помешало им неистово тешиться в медовый месяц. Соседей пугали вопли, будившие весь квартал раз по восемь за ночь и до трех раз после дневной сиесты: люди молили Бога, чтобы такая бешеная страсть не нарушила покой мертвых на кладбище.

Из родных только Аурелиано позаботился о них. Купил им кое-что из мебели и ссужал их деньгами, пока Хосе Аркадио не пришел в себя и не взялся за ум, принявшись возделывать пустырь по соседству с домом. Амаранта, вопреки всему, так и не смогла превозмочь свою ненависть к Ребеке, хотя жизнь возместила ей страдания таким подарком, о котором она и не мечтала. По настоянию Урсулы, которая не знала, чем поправить положение, Пьетро Креспи, как и прежде, обедал по вторникам в доме Буэндии, пережив горе со спокойным достоинством. В знак уважения к семейству он не снял черную ленту со шляпы и утешался тем, что выражал свою глубокую симпатию Урсуле, делая ей разные экзотические подношения – то португальские сардины, то мармелад из турецких роз, а однажды преподнес прелестную шаль из Манилы. Амаранта относилась к нему с нежным вниманием. Угадывала его желания, сдувала пылинки с манжет рубашки и ко дню рождения вышила его инициалы на дюжине носовых платков. Когда она рукодельничала в галерее, он – по вторникам после обеда – развлекал ее разговорами. Для Пьетро Креспи эта девушка, с которой он всегда обращался, как с ребенком, стала открытием. Хотя она не отличалась особой женственностью, ей были присущи и тонкость восприятия, и глубина чувств. В один из вторников, когда никто уже не сомневался в том, что это рано или поздно произойдет, Пьетро Креспи попросил ее выйти за него замуж. Она не оторвала глаз от вышивания. Подождала, пока схлынет жаркая краска с ушей, и постаралась ответить в назидательно-спокойном тоне зрелой женщины.

– Я не возражаю, Креспи, – сказала она, – но нам следует лучше узнать друг друга. В таких делах не стоит торопиться.

Урсула была в растерянности. Хотя она очень уважала Пьетро Креспи, ее терзали сомнения: было ли его решение с точки зрения морали приемлемым или нет, после столь долгой и нашумевшей помолвки с Ребекой. Кончилось тем, что она стала считать помолвку Амаранты просто свершившимся фактом, ибо никто не разделял ее мучений. Аурелиано, который стал хозяином дома, отнюдь не успокоил ее своим загадочным и категоричным суждением:

– Сейчас не время забивать голову свадьбами.

Эти слова, смысл которых Урсула поняла только месяцы спустя, правдиво отражали в тот момент отношение Аурелиано не только к свадьбам, но ко всему, что не касалось войны. Он сам, глядя в дула ружей перед расстрелом, не сможет толком понять, как соединились в неразрывную цепь мелкие, но неотвратимые случайности, которые довели его до беды. Смерть Ремедиос не обернулась таким потрясением, какого он страшился. Скорее вызвала глубокий гневный протест, постепенно растворившийся в тихом и тоскливом чувстве обманутых надежд, которое походило на то, что он испытал, когда решил прожить жизнь без женщины. Он снова ушел с головой в работу, но не оставил привычку играть в домино со своим тестем. В доме, который траур окутал тишиной, ночные беседы крепче сдружили обоих мужчин. «Женись еще раз, Аурелиано, – говорил ему тесть. – У меня шесть дочерей, одна другой лучше». Однажды, в канун выборов, дон Аполинар Москоте вернулся из своей очередной поездки, немало озабоченный политическим положением в стране. Либералы

собрались идти войной на консерваторов. Поскольку Аурелиано в те времена смутно представлял себе, чем различаются консерваторы и либералы, тесть просвещал его словами краткими и вразумительными. Либералы, говорил коррехидор, это масоны, плохие люди, готовые вешать на деревья священников, позволить гражданский брак и развод, наделить незаконнорожденных такими же правами, как и законных детей, и разорвать страну на куски, объявить ее федерацией, чтобы не было никакой высшей власти. Консерваторы, которые получили власть непосредственно от Бога, напротив, борются за строгий порядок в обществе и за крепкие семейные устои; они всегда были защитниками веры Христовой и единой верховной власти и не намерены позволить, чтобы страну разобрали на автономные части. Исходя из принципа гуманности, Аурелиано был солидарен с либералами в отношении прав для незаконнорожденных, но не мог понять, зачем надо впадать в такую крайность, как война, из-за вещей, которых нельзя потрогать руками. Он считал совершенно никчемной затею тестя вызвать еще шесть солдат с ружьями под командой сержанта наблюдать за выборами в городке, чуждом всяких политических страстей. Как только солдаты прибыли в Макондо, они тут же стали шнырять по домам и конфисковывать охотничьи принадлежности, мачете и даже кухонные ножи, а потом раздали мужчинам старше двадцати одного года голубые бумажки с именами кандидатов от консерваторов и красные бумажки с именами кандидатов от либералов. Накануне выборов, в субботу, дон Аполинар Москоте лично зачитал указ, запрещавший с полуночи и в течение двух последующих суток продавать алкогольные напитки и собираться более чем по трое, если это не члены одной семьи. Выборы прошли без инцидентов. Около восьми утра в воскресенье на площади была установлена деревянная урна, охраняемая шестью солдатами. Голосовали абсолютно свободно, в чем вполне мог убедиться сам Аурелиано, который провел весь день вместе со своим тестем, следя за тем, чтобы никто не проголосовал более одного раза. В четыре часа дня громкая барабанная дробь на площади возвестила об окончании процедуры, и дон Аполинар Москоте опечатал урну бумажкой со своей подписью. В тот же самый вечер, играя в домино с Аурелиано, коррехидор велел сержанту сорвать наклейку и пересчитать голоса. Красных бумажек и голубых оказалось почти поровну, но сержант оставил только десять красных, а вместо остальных положил голубые. Затем урна была снова опечатана бумажкой и поутру отвезена в столицу провинции. «Либералы уж точно пойдут воевать», – сказал Аурелиано. Дон Аполинар не отрывал взгляда от своих фишек. «Если имеешь в виду подмену бюллетеней, не пойдут, – сказал он. – Там оставлено несколько красных, чтобы не дать им повода». Аурелиано понял, как тяжко приходится оппозиции. «Если бы я был либералом, – сказал он, – я пошел бы воевать из-за этого трюка с бумажками». Тесть посмотрел на него поверх очков.

– Эх, Аурелиано, – сказал он, – если бы ты был либералом, то, хоть ты мне зять, не видать бы тебе подмены бюллетеней как своих ушей.

Городок привели в волнение вовсе не результаты выборов, а то, что солдаты не вернули назад ни ножей, ни ружей. Толпа женщин насела на Аурелиано с просьбой добиться от тестя разрешения получить кухонные ножи. Дон Аполинар Москоте сообщил зятю под строжайшим секретом, что солдаты увезли с собой конфискованное оружие в качестве доказательства того, что либералы готовятся к войне. Аурелиано оторопел от циничного откровения. Он ничего не сказал, но однажды вечером, когда в его присутствии Херинельдо Маркес и Магнифико Висбаль обсуждали с друзьями пропажу кухонных ножей, ему был задан вопрос: ты кто, либерал или консерватор? Аурелиано, не колеблясь, ответил:

– Если надо быть кем-то, я стал бы либералом, – сказал он, – потому что консерваторы – жулики.

На следующий день по настоянию друзей Аурелиано пошел на прием к доктору Алирио Ногере, чтобы тот избавил его якобы от колик в печени. Он даже не знал, в чем истинный смысл этой затеи. Доктор Алирио Ногера приехал в Макондо несколько лет назад с саквояжем таблеток без вкуса и запаха и с врачебным девизом, который звучал настораживающе: «Клин клином вышибай». В действительности он был просто очковтиратель. Невинное обличье безвестного медика маскировало террориста, который высокими ботинками прикрывал на щиколотке шрамы, оставшиеся от кандалов, которые он таскал пять лет. Его схватили во время первой федералистской вылазки, но он сумел бежать на остров Кюрасао, облачившись в ненавистную ему одежду – сутану. К концу своего продолжительного изгнания, взбудораженный волнующими известиями, которые доставляли на Кюрасао беженцы из всех карибских государств, он отплыл оттуда на шхуне контрабандистов и объявился в Риоаче с кучей своих пилюлек, которые были не более чем кусочками сахара-рафинада, и с дипломом Лейпцигского университета, собственноручно им изготовленным. И от разочарования пролил слезы. Весь пыл федералистов, который представлялся беглецам огнем бикфордова шнура, угас вместе с зыбкими предвыборными надеждами. Убитый горем, жаждущий только одного – прибиться к тихой пристани, где можно скоротать годы старости, мнимый гомеопат обосновался в Макондо. И жил там уже несколько лет в маленькой, заваленной пустыми пузырьками комнатушке за счет неизлечимых больных, которые, испробовав все средства, утешались сахарными пилюльками. Его агитаторские таланты дремали, пока представитель власти, дон Аполинар Москоте, был чисто декоративной фигурой. Все свободное время доктора Ногеры уходило на яркие воспоминания и на борьбу с собственной астмой. Близость выборов стала той путеводной нитью, за которую он снова уцепился, чтобы размотать клубок подрывных настроений. Доктор установил контакты с молодыми людьми городка, политически не искушенными, и развернул тайную подстрекательскую кампанию. Многочисленные красные бюллетени, брошенные в урну, – что дон Аполинар Москоте отнес за счет безответственности, свойственной молодым, – составили часть его плана; он погнал своих учеников голосовать, дабы они сами убедились: выборы – сплошной фарс. «Единственно действенный способ борьбы, – говорил он, – насилие». Большинство приятелей Аурелиано вдохновились идеей разрушить консервативный строй, но никто не решался доверить ему свои мечты, и не только из-за родственных связей с коррехидором, а из-за его уклончивости и замкнутости. Кроме того, все знали, что по наущению тестя Аурелиано опустил в ящик голубой бюллетень. Таким образом, лишь простая случайность выявила его истинные политические пристрастия и только чистое любопытство побудило пойти на такую глупую авантюру, как посещение врача с целью пожаловаться на придуманную болезнь. В грязной тесной клетушке, где пахло затхлостью и камфарой, его встретило существо, похожее на замшелую игуану, легкие которой тихо посвистывали при вдохе и выдохе. Ничего не спрашивая, доктор подвел Аурелиано к окну, оттянул ему нижнее веко и стал внимательно рассматривать. «Не тут, – сказал Аурелиано, как его научили. Нажал кончиками пальцев на печень и добавил: – Вот здесь. Так болит, что я ночи не сплю». Тогда доктор Ногера занавесил окно – мол, слишком жарит солнце – и простыми словами объяснил, почему долг всех патриотов – уничтожить всех консерваторов. В течение нескольких дней Аурелиано носил в кармане флакончик. Каждые два часа открывал пробку, вытряхивал на ладонь три

пилюли, кидал их на язык и медленно сосал. Дон Аполинар Москоте подсмеивался над его верой в гомеопатию, но зато заговорщики видели, что это свой человек. Почти все взрослые отпрыски основателей Макондо впутались в это дело, хотя никто из них не знал, какова конкретная цель заговора, который их сплотил. Однако, когда доктор открыл эту тайну Аурелиано, тот сразу поставил крест на своем участии. Хотя он был убежден в необходимости быстрейшим образом покончить с режимом консерваторов, план действий его ужаснул. Доктор Ногера был фанатичным сторонником индивидуального террора. Его стратегия сводилась к такой организации отдельных покушений, чтобы в итоге нанести единый мощный удар государственного масштаба и разом убрать всех правительственных чиновников вместе с их семьями, а главное – прихлопнуть детей, вырвать консерваторов с корнями. Дон Аполинар Москоте, его супруга и шесть их дочерей, конечно, значились в списках.

– Вы не либерал и либералом от вас не пахнет, – сказал Аурелиано ровным голосом. – Вы обыкновенный душегуб.

– В таком случае, – ответил так же спокойно доктор, – возврати мне флакончик. Он тебе больше не нужен.

Лишь спустя шесть месяцев Аурелиано узнал, что доктор признал его абсолютно недееспособной личностью, безнадежно сентиментальным человеком, подверженным меланхолии и отрицающим коллективные мероприятия. За ним стали следить, боясь, что он донесет. Аурелиано успокоил приятелей: он не обронит ни слова, но в ту ночь, когда они придут убивать семью Москоте, он будет защищать дом до последней капли крови. Его решимость была столь впечатляюща, что всю операцию отодвинули на неопределенный срок. Именно в эти дни Урсула спросила у него совета относительно брака Пьетро Креспи и Амаранты, а он ответил, что не время об этом думать. Всю неделю он носил за пазухой старинный пистолет. Охранял своих друзей. После обеда заходил на чашку кофе к Хосе Аркадио и Ребеке, которые взялись за устройство своего жилья, а с семи вечера играл в домино с тестем. В обеденный час Аурелиано беседовал с Аркадио, ныне уже здоровенным парнем, которого все сильнее одолевали воинственные настроения и думы о войне. В школе, где у Аркадио наряду с едва ли не младенцами были ученики старше его по возрасту, парень подхватил лихорадку либерализма. Говорил о том, что надо расстрелять падре Никанора, а храм переделать в школу и провозгласить свободную любовь. Аурелиано старался умерить его энтузиазм. Советовал быть осторожнее и благоразумнее. Аркадио оставался глух к его здравомыслию и всем доводам, а на людях упрекнул в слабости характера. Аурелиано выжидал. Наконец, в начале декабря взволнованная Урсула ворвалась в мастерскую:

– Война! Война!

В действительности война разразилась уже три месяца назад. Вся страна находилась на военном положении. Единственный человек, об этом знавший, был дон Аполинар Москоте, но он ничего не говорил даже собственной жене, пока не прибыла в Макондо военная часть, имевшая приказ с ходу захватить городок. Солдаты вошли бесшумно, на рассвете, с двумя легкими пушками, которые тащили мулы, и школа была превращена в казарму. В шесть вечера ввели комендантский час. На сей раз обыск был более суров, чем раньше, и из каждого дома вынесли даже лопаты, мотыги и тяпки. Выволокли доктора Ногеру, прикрутили на площади к дереву и расстреляли без объявления приговора. Падре Никанор попытался было усмирить военных чудом левитации, но один из солдат приземлил его ударом приклада. Либералистские страсти быстро улеглись при безмолвном терроре.

Аурелиано, бледный, непроницаемый, продолжал играть в домино со своим тестем. Он понимал, что, несмотря на свой нынешний чин главы и коменданта городка, дон Аполинар Москоте опять стал властью чисто номинальной. Решения принимал войсковой капитан, который каждое утро взимал налог, специально введенный для защиты общественного порядка. Четверо солдат под его началом силой отняли одну женщину, укушенную бешеной собакой, у членов ее семьи и умертвили прикладами тут же на улице. Однажды в воскресенье, спустя две недели со дня оккупации, Аурелиано зашел к Херинельдо Маркесу и с обычной невозмутимостью попросил чашку кофе без сахара. Когда они остались на кухне одни, Аурелиано заговорил таким властным тоном, какого никто не ожидал. «Собирай ребят, – сказал он. – Пойдем воевать». Херинельдо Маркес подумал, что ослышался.

– Где мы возьмем оружие? – спросил он.

– У них, – ответил Аурелиано.

Во вторник ночью, после отчаянно смелой вылазки двадцати человек моложе тридцати лет под началом Аурелиано Буэндии, вооруженных столовыми ножами и железными заточками, гарнизон был разгромлен, нападавшие захватили оружие и расстреляли в патио капитана и четырех солдат, убивших женщину.

В эту же ночь, под грохот ружейных залпов расстрельной команды, юный Аркадио был назначен главой и комендантом города. Женатые мятежники едва успели проститься со своими супругами, которых оставляли на произвол судьбы. Они ушли на заре под радостные крики избавленных от террора горожан, чтобы примкнуть к войскам революционного генерала Викторио Медины, который, по последним сведениям, шел к Манауре. Перед тем как уйти, Аурелиано вытащил дона Аполинара Москоте из шкафа. «Не надо волноваться, тесть, – сказал он ему. – Новая власть гарантирует, под честное слово, личную безопасность вам и вашей семье». Дон Аполинар Москоте с трудом узнал в этом заговорщике с винтовкой за плечами и в высоких сапогах того, кто приходил к нему играть в домино до девяти вечера.

– Это идиотство, Аурелиано, – воскликнул он.

– Вовсе не идиотство, – отвечал Аурелиано. – Это – война. И больше не называйте меня Аурелиано. Я теперь – полковник Аурелиано Буэндия.

Полковник Аурелиано Буэндия поднял тридцать два вооруженных мятежа, и все они были подавлены. У него было семнадцать сыновей от семнадцати разных женщин, и всех их порешили – друг за другом – в одну ночь, еще до того как старшему исполнилось тридцать пять. Он сумел избежать четырнадцати покушений на свою жизнь, семидесяти трех засад и расстрела. Остался в живых после такой дозы стрихнина в кофе, которая вполне могла убить лошадь. Отказался от ордена Особых Заслуг, пожалованного ему президентом Республики. Стал верховным главнокомандующим революционными силами – взяв в руки суд и власть во всей стране до самых ее окраин – и человеком, наводящим страх на правительство, но он никогда не позволял себя фотографировать. Отверг пожизненную пенсию, назначенную ему после войны, и до преклонных лет жил за счет своих золотых рыбок, которых делал в своей мастерской в Макондо. Хотя он всегда сам вел солдат в бой, свое единственное ранение он нанес себе сам после подписания Неерландской капитуляции, которая положила конец почти двадцатилетней гражданской войне. Он разрядил себе в грудь пистолет, но пуля прошла навылет, не задев ни одной жизненно важной артерии. Единственное, что от всего этого осталось, была улица в Макондо, носившая его имя. Однако, как он признался за несколько лет до своей естественной кончины, ему об этом и не мечталось тем утром, когда

он уходил со своими двадцатью парнями на соединение с силами генерала Викторио Медины.

– На тебя оставляем Макондо, – коротко сказал он Аркадио перед уходом. – Оставляем город в полном порядке, постарайся, чтобы он стал еще краше.

Аркадио на свой лад истолковал пожелание. Он облачился в придуманный им самим мундир с маршальскими галунами и эполетами, увиденный в какой-то книге Мелькиадеса, и подвесил на пояс саблю с золотыми кистями, взятую у расстрелянного капитана. При входе в городок поставил две пушки, обрядил в военную форму своих бывших учеников, взбудораженных зажигательными призывами учителя, дал им оружие и отправил шагать по улицам, чтобы пришлый люд думал, будто город укреплен на славу. Это был обоюдоострый маневр, ибо, когда правительство, не решавшееся подступиться к Макондо месяцев десять, наконец на это пошло, городок был атакован столь несоразмерно большими силами, что со всяким сопротивлением было покончено за полчаса. С первого же дня своего правления Аркадио проявил пристрастие к декретам. Он оглашал до четырех декретов в день, касающихся всего, что взбредало ему в голову. Ввел обязательную воинскую повинность с восемнадцати лет, объявил общественным достоянием всех животных, бродящих по улицам после шести вечера, и обязал всех престарелых мужчин носить красную повязку на руке. Посадил падре Никанора под домашний арест, грозя расстрелом, и разрешил ему служить мессы и звонить в колокола лишь по случаю побед либералов. Дабы все убедились, что с ним шутки плохи, Аркадио приказал расстрельной команде выйти на площадь и упражняться в стрельбе по огородному пугалу. Сначала этого никто не принял всерьез. В конце концов солдатики были теми же школярами, играющими во взрослых. Но однажды вечером, когда Аркадио входил в заведение Катарины, трубач из ансамбля приветствовал его трубным гласом, что вызвало всеобщее веселье, и он велел расстрелять музыканта за неуважение власти. Тех, кто протестовал, посадил на хлеб и воду, а ноги защемил колодой-сепо, которую установили в одной из школьных комнат. «Ты – убийца! – кричала Урсула всякий раз, когда узнавала о его тиранствах. – Если Аурелиано об этом услышит, он тебя на месте расстреляет, и я буду только рада». Но ничего не помогало. Аркадио продолжал закручивать гайки с необъяснимой лютостью и превратился в самого жестокого правителя из тех, кто управлял Макондо. «Пусть теперь почувствуют разницу, – говорил при случае дон Аполинар. – Вот он, либеральный рай». Аркадио про это донесли. Во главе патруля он ворвался в дом, расколотил мебель, отхлестал дочерей и уволок с собой дона Аполинара Москоте. Когда Урсула, крича на весь город от гнева и позора, потрясая просмоленной плетью, ворвалась во двор казармы, Аркадио уже сам, лично готовился скомандовать «пли!» расстрельной команде.

– Только посмей, приблудок! – бросилась она к нему. И прежде чем Аркадио опомнился, на него обрушился удар плети. «Только посмей, убийца! – вопила Урсула. – Тогда и меня прикончи, сукин ты сын! Не знаю куда деваться со стыда – вырастила такого зверя!» Плеть свистела со страшной силой, удары загнали Аркадио в дальний угол двора, где он улиткой втянулся в мундир. Потерявший сознание дон Аполинар Москоте был привязан к тому столбу, где раньше висело огородное пугало, разметанное вдрызг на учебных стрельбах. Мальчишки из расстрельной команды дали тягу, боясь, что Урсула выместит на них остаток ярости. Но она даже не оглянулась. Бросила Аркадио в его исполосованном мундире, рычащего от боли и бешенства, и отвязала дона Аполинара Москоте, чтобы отправить его домой. Перед уходом из казармы Урсула высвободила всех арестантов из колоды-сепо.

С этого дня она командовала в городке. Снова ввела воскресные мессы, сняла с пожилых людей красные нарукавные повязки и отменила драконовские декреты. Но невзирая на силу духа Урсула оплакивала свою несчастную судьбу. Она чувствовала себя такой одинокой, что готова была довольствоваться обществом супруга, забытого под каштаном. «Вот с чем мы остались, – говорила она ему, а июньские ливни грозили обрушить пальмовый навес. – Дом опустел, сыновья наши рассеялись по белу свету, и мы с тобой опять одни, как вначале». Хосе Аркадио Буэндия, опустившийся на дно безумия, был глух к ее стенаниям. На первой стадии своего помешательства он что-то бубнил по-латыни, извещая об отправлении надобностей. В короткие светлые промежутки, когда Амаранта приносила ему еду, он делился с ней своими душевными муками и покорно давал ставить себе пиявки и горчичники. Но в ту пору, когда Урсула приходила к нему жаловаться на судьбу, он уже утратил всякое чувство реальности. Она мыла его по частям на скамеечке и рассказывала о делах семейных. «Аурелиано ушел воевать, прошло уже больше четырех месяцев, а мы ничего о нем не знаем, – говорила она ему, растирая спину намыленной мочалкой. – Хосе Аркадио вернулся, стал здоровенным парнем, перерос тебя на голову и весь расшит узорами в крестик, только стыда нам не обобраться». Ей показалось, однако, что плохие новости наводят тоску на мужа. И тогда принялась морочить ему голову. «Да ты не слушай мою болтовню, – говорила она, присыпая золой его экскременты и собирая их на лопату. – Богу было угодно, чтобы Хосе Аркадио и Ребека поженились, и теперь они очень счастливы». Урсула врала с таким вдохновением, что сама стала утешаться собственными выдумками. «Аркадио теперь – мужчина разумный, – говорила она, – и очень смелый, и вообще очень видный в своем мундире и при большой сабле». По существу, ее слова адресовались покойнику, ибо Хосе Аркадио Буэндия уже был по ту сторону земных забот. Но она продолжала говорить. Он выглядел таким беспомощным, таким ко всему безразличным, что ей захотелось снять с него веревку. Но он не двинулся с места. Так и оставался на скамеечке под солнцем и дождем, словно привязь вообще ничего не значила и неизвестная сила, не сравнимая ни с какими видимыми путами, приковывала его к каштану. В августе, когда зима превращается в вечность, Урсула смогла наконец сообщить ему нечто правдоподобное.

– Слышь-ка, на нас так и валится счастье, – сказала она ему. – Этот итальянец с пианолой и Амаранта скоро поженятся.

В самом деле, дружба Амаранты и Пьетро Креспи весьма окрепла, чему способствовала снисходительность Урсулы, которая на сей раз не сочла необходимым сторожить их свидания. Это была сумеречная помолвка. Итальянец приходил на закате дня, с гарденией в петлице, и переводил Амаранте сонеты Петрарки. Они сидели в галерее, пропитанной ароматом роз и душицы, он читал, а она плела кружево, и оба не проявляли ни малейшего интереса к исходу далеких сражений и сообщениям с мест боев, и лишь москиты вынуждали их искать спасения в зале. Чувствительность Амаранты, ее неназойливая, но обволакивающая нежность оплетали жениха невидимой паутиной, которую он осязал и старался прорвать своими бледными, без колец, пальцами и удалиться из дома ровно в восемь. Они составили прелестный альбом почтовых открыток, которые Пьетро Креспи получал из Италии. Каких тут только не было влюбленных пар на лоне природы среди виньеток из пробитых стрелами сердец и золоченых лент в клювах голубков. «Я узнаю этот парк во Флоренции, – говорил Пьетро Креспи, в который раз перебирая открытки. – Только протянешь руку с крошками, а птички тут как тут». Иногда при виде легкого акварельного наброска Венеции ностальгия обращала в тонкое цветочное благоухание тошнотворный

запах тины и моллюсков, гниющих в канале. Амаранта вздыхала, смеялась и мечтала о второй родине с прекрасными женщинами и мужчинами, которые лепечут по-детски, и о древних городах, от былого величия которых остались только коты, бродящие среди развалин. Переплыв океан в поисках счастья, приняв за счастье страсть, которую будили похотливые руки Ребеки, Пьетро Креспи нашел любовь. Любовь принесла с собой благоденствие. Его магазин занимал в ту пору почти целый квартал и стал источником фантазии, где были и флорентийские колокола в миниатюре, отмечавшие ход часов своим перезвоном, и музыкальные шкатулки из Сорренто, и китайские пудреницы, игравшие при открытой крышке мелодию из пяти нот, и все музыкальные инструменты, какие только можно себе представить, и все заводные игрушки, какие можно придумать. Бруно Креспи, его младший брат, управлял магазином, потому что не имел слуха для работы в музыкальной школе. Благодаря братьям Креспи Турецкая улица со своей ослепительной выставкой потешных штуковин превратилась в аллею душевного отдохновения, где забывали о тиранстве Аркадио и далеком кошмаре войны. Когда Урсула распорядилась о возобновлении церковной службы, Пьетро Креспи подарил храму немецкую фисгармонию, создал детский хор и разучил с ним церковные песнопения, которые заметно украсили мрачноватые мессы падре Никанора. Никто не сомневался, что Амаранта будет счастливой супругой. Не торопясь с выражением своих чувств, подчиняясь законам естественного влечения сердец, жених и невеста подошли к такой черте, когда оставалось лишь назначить дату свадьбы. Никаких препятствий не предвиделось. Урсула втайне винила себя за то, что бесконечными отсрочками изломала жизнь Ребеки, и не собиралась снова мучить себя угрызениями совести. Строгий траур по Ремедиос отошел на второй план из-за военной смуты, ухода Аурелиано, тиранства Аркадио и изгнания Хосе Аркадио и Ребеки. В ожидании неминуемой свадьбы Пьетро Креспи предложил, чтобы Аурелиано Хосе, к которому он питал почти отцовскую любовь, считался бы его старшим сыном. Все заставляло полагать, что Амаранту ждет безоблачное счастье. Но, в противоположность Ребеке, она не проявляла нетерпения. С таким же упорством, с каким она прокладывала мережки на скатертях, плела великолепную тесьму и вышивала крестиком павлинов, она ждала, когда Пьетро Креспи уступит велению своего сердца. Этот час настал с приходом грозных октябрьских ливней. Пьетро Креспи снял корзиночку с вышиванием у Амаранты с колен и схватил ее за руку. «Я больше не в силах ждать, – сказал он. – Мы поженимся в следующем месяце». Амаранта не шелохнулась, ощутив прикосновение его ледяных ладоней. Выдернула стиснутые пальцы – словно зверек выпрыгнул из клетки – и снова принялась за работу.

– Не глупи, Креспи, – усмехнулась она. – Лучше умереть, чем выйти за тебя.

Пьетро Креспи потерял всякое самообладание. Лил слезы без стеснения, заламывал руки в отчаянии, но изменить ее решение не сумел. «Не теряй времени, – сквозь зубы процедила Амаранта. – Если ты действительно меня любишь, забудь дорогу в наш дом». Урсула со стыда чуть умом не тронулась. Пьетро Креспи в мольбах едва душу не вывернул наизнанку. Он дошел до крайней степени унижения. Плакал весь вечер в подол Урсулы, которая была готова на многое, лишь бы его утешить. Люди видели, как дождливыми ночами ходит он возле дома под шелковым зонтиком, стараясь углядеть свет в спальне Амаранты. Никогда он так элегантно не одевался, как в эту пору. Его благородная голова римского императора-мученика словно украсилась ореолом величия. Он донимал подруг Амаранты, приходивших к ней в галерею вышивать, просьбами о помощи. Он забросил дела. Проводил все дни в задней комнате магазина, сочиняя душещипательные послания, которыми – вместе

с сухими цветочными лепестками и мерными бабочками – засыпал Амаранту и которые она возвращала, не раскрывая. Он запирал двери и часами играл на цитре. Однажды ночью он запел. Макондо проснулся и впал в оцепенение, завороженный звуками цитры, рожденными наверняка в этом мире, и голосом, которому по силе любви, конечно, не было равных на всей земле. И Пьетро Креспи увидел свет в окнах всего городка, кроме окна Амаранты. Второго ноября, в день поминовения усопших, его брат открыл магазин и остолбенел: все лампы были зажжены, все музыкальные шкатулки играли, все часы били в неурочный час, а среди этого дикого концерта, упав головой на стол, сидел Пьетро Креспи с перерезанными бритвой венами на руках, опущенных в таз с росным ладаном.

Урсула распорядилась совершить обряд бдения в ее доме. Падре Никанор отказался читать заупокойную и хоронить самоубийцу в святой земле. Урсула не сдалась. «Как и почему – ни вам, ни мне не понять, но этот человек – святой, – сказала она. – И я похороню его, даже против вашей воли, рядом с могилой Мелькиадеса». Так она и сделала, заручившись поддержкой городка и устроив великолепные похороны. Амаранта не выходила из спальни. Лежа в постели, она слышала плач Урсулы, шаги и ропот людей, толпившихся в доме, вопли плакальщиц, а потом – глубокую тишину, пахнувшую растоптанными цветами. Еще долгое время ей чудился в сумерках лавандовый аромат Пьетро Креспи, но она нашла в себе силы не поддаться галлюцинации. Урсула не замечала дочь. Даже не подняла глаз, когда однажды днем Амаранта пришла на кухню и положила руку на угли в печи и держала, пока боль стала такой, что уже ничего не чувствовалось, кроме тошнотворного запаха паленого мяса. Таково «ослиное лекарство» отугрызений совести. Несколько дней она ходила по дому, держа руку в чаше с яичным белком, а когда ожоги зажили, казалось, что яичный белок исцелил и ее сердечные раны. Единственный неизгладимый след, который оставила трагедия, была черная креповая повязка, которую она надела на обожженную руку и носила до самой смерти.

Аркадио совершил акт высокой гуманности, объявив специальным декретом всеобщий траур по случаю смерти Пьетро Креспи. Урсула восприняла это как возвращение заблудшей овцы. Но она ошиблась. Аркадио был потерян не с той поры, как надел военный мундир, а в начале начал. Она полагала, что воспитывает его, как сына, как Ребеку, не балуя и не обделяя. Тем не менее Аркадио оставался одиноким ребенком, по-своему переживавшим и поветрие бессонницы, и лихорадочную деятельность Урсулы, и бредовые затеи Хосе Аркадио Буэндии, и затворничество Аурелиано, и соперничество – не на жизнь, а на смерть – Амаранты с Ребекой. Аурелиано научил его читать и писать между делом и мимоходом, как чужой человек. Правда, дарил ему свою одежду, которую латала Виситасьон, ибо вещи были сильно поношены. Аркадио страдал из-за больших не по размеру ботинок, из-за потрепанных штанов, из-за своей широкой женской задницы. Ни с кем он не разговаривал так свободно, как с Виситасьон и Катауре на их языке. Мелькиадес был единственным, кто серьезно им занимался, читал ему свои непонятные тексты и учил искусству дагерротипии. Никто бы не поверил, как много слез Аркадио пролил после смерти старого цыгана и с каким отчаянием надеялся оживить его, безуспешно ища рецепт в бумагах старика. Школа, где его слушались и уважали, а затем власть с ее беспрекословными декретами и с ее достославным мундиром освободили Аркадио от груза прежних печалей. Однажды ночью в заведении Катарины кто-то осмелился сказать ему: «Ты недостоин фамилии, которую носишь». Вопреки всем ожиданиям Аркадио не отдал приказа о расстреле.

– Честь и хвала моей семье, – сказал он. – Но я не Буэндия.

Те, кто знал тайну его усыновления, подумали, услышав ответ, что он в курсе событий, но на самом деле он до конца остался в неведении. К Пилар Тернере, своей матери, от присутствия которой в темной комнате с дагерротипами кровь бросалась ему в голову, он испытывал такое неодолимое влечение, какое к ней сначала испытывал Хосе Аркадио, а затем и Аурелиано. Хотя она утратила свое былое очарование и свой искрометный смех, он ее искал и находил по легкому запаху гари. Незадолго до войны, в полдень, когда она позже обычного пришла в школу за своим младшим сыном, Аркадио поджидал ее там в комнате, где обычно отдыхал в час сиесты и где потом поставил колоду-сепо. Пока мальчик играл в патио, он ждал ее в гамаке, дрожа от желания, зная, что Пилар Тернера непременно должна пройти мимо. Она вошла. Аркадио схватил ее за руку и попытался втащить в гамак. «Нет, не могу, не могу, – говорила в страхе Пилар Тернера. – Поверь, я очень хотела бы доставить тебе удовольствие, но – Бог свидетель, я не могу». Аркадио сгреб ее за талию своими мощными, как у всех Буэндия, руками, и от прикосновения к ней свет перед ним померк. «Не прикидывайся святошей, – сказал он. – Все знают, что ты потаскуха». Пилар подавила тошноту, которую в ней самой вызывала ее презренная доля.

– Дети увидят, – пробормотала она. – Лучше оставь дверь открытой сегодня ночью.

Аркадио ждал ее той ночью в гамаке, дрожа как в ознобе. Ждал, не смыкая глаз, слушая трескотню предутренних безумолчных сверчков и мерные перегуды выпи, и все больше приходил к убеждению, что она его обманула. Вдруг, когда желание перешло в ярость, дверь отворилась. Спустя несколько месяцев, глядя в дула ружей перед расстрелом, Аркадио снова услышит робкие шаги в школьной комнате и стук невидимых скамеек; различит во тьме плотный абрис тела и ощутит колебание воздуха от ударов сердца, которое было не его сердцем. Он протянул руку и встретил другую руку с двумя кольцами на одном пальце, готовую утонуть в кромешном мраке. Он почувствовал напряжение всех ее жилок, пульс ее несчастья и влажную ладонь с линией жизни, усеченной в основании большого пальца по воле смерти. И тогда он понял, что это не та женщина, которую он ждет, она пахнет не легкой гарью, а цветочным бриолином, и груди – округлые, упругие, с маленькими, как у мужчин, сосками, и вход в лоно – твердый и круглый, как орех, и хаотичные ласки воспламененной невинности. Она была девушкой и носила громоздкое имя: Санта София де ла Пьедад[3]. Пилар Тернера отдала ей пятьдесят песо, половину своих многолетних сбережений, чтобы она сделала то, что требовалось сделать. Аркадио часто видел ее в продуктовой лавочке родителей, но никогда не замечал, потому что у нее был редкий дар появляться лишь в нужный момент. Но с этого дня она кошечкой свернулась в тепле его подмышки. Она приходила в школу в часы сиесты – с позволения родителей, которым Пилар Тернера отдала вторую часть своих сбережений. Позже правительственные войска выгнали любовников из школы, и они предавались любви среди коробок из-под масла и мешков из-под маиса сзади лавочки. К тому времени, когда Аркадио был назначен главой и военным комендантом городка, они уже родили дочь.

Единственными родственниками, которые об этом знали, были Хосе Аркадио и Ребека, с которыми Аркадио водил тогда дружбу, основанную не столько на родстве, сколько на общих интересах. Супружеское ярмо согнуло шею Хосе Аркадио. Жесткий характер Ребеки, ненасытность ее чресел, ее неуемное тщеславие укротили буйный норов супруга, который из лентяя и развратника превратился в большую рабочую скотину. В доме у них были чистота и порядок. Ребека распахивала двери на заре, и ветер с кладбища влетал через двери в патио и белил стены и уплотнял мебель прахом покойников. Охота есть землю, «клуп-клуп»

родительских костей, кипение крови возле вялого Пьетро Креспи – все это уже покоилось на чердаке памяти. Целые дни Ребека вышивала у окна, нимало не печалясь о бедствиях войны, а когда глиняная посуда на полке начинала позвякивать, она вставала разогревать обед еще до того, как на пороге появлялись поджарые охотничьи псы и вслед за ними гигант с двустволкой и в сапогах со шпорами, порой тащивший на плече оленя и почти всегда – связку диких уток или кроликов. Однажды, в самом начале своего правления, к ним вдруг нагрянул Аркадио. Они не видели его с тех пор, как ушли из дома, но он держался так дружески и по-свойски, что они предложили ему разделить с ними обед.

Только за кофе Аркадио сообщил о цели своего посещения: к нему поступил донос на Хосе Аркадио. Сообщалось, что последний, распахав сначала свой патио, прихватил и соседние земли, а потом свалил изгороди и разрушил многие ранчо, погнав на них своих быков, и в итоге завладел лучшими наделами в округе. Крестьян, которые еще не разорились, потому что ему не были нужны их земли, он обложил налогом, взимать который приходил каждую субботу с двустволкой и гончими псами. Хосе Аркадио этого не отрицал. Но заявил, что имеет законное право на узурпированные земли, ибо наделы распределял его отец, Хосе Аркадио Буэндия, во времена строительства Макондо, и, как он считал, можно доказать, что отец уже тогда был не в своем уме, ибо раздавал земли, на самом деле принадлежавшие семье. Однако обращения к закону не потребовалось, так как Аркадио не собирался вершить правосудие. Он просто предложил организовать контору по регистрации земельной собственности, чтобы Хосе Аркадио получил официальные бумаги на право вечного владения захваченной землей, с тем условием, что Хосе Аркадио уступит сбор налогов местной власти. Они ударили по рукам. Несколько лет спустя, когда полковник Аурелиано Буэндия проверял земельные книги, он обнаружил, что на имя брата были записаны все земли, тянувшиеся от его патио на холме до самого горизонта, включая кладбище, и что, таким образом, за одиннадцать месяцев своего правления Аркадио поживился не только всякими земельными налогами, но и поборами с горожан за право хоронить покойников в угодьях Хосе Аркадио.

Урсула лишь месяцы спустя узнала о том, что уже знали все, но помалкивали, дабы не причинять ей лишних страданий. Она сама почуяла недоброе. «Аркадио строит себе дом», – сообщила она с наигранной радостью супругу, стараясь влить ему в рот ложку тыквенного сиропа. Но невольно вздохнула: «Не знаю, не нравится мне все это». Позже, когда ей стало известно, что Аркадио не только построил дом, но и обставил его венской мебелью, она утвердилась в своих подозрениях: он растрачивает общественные деньги. «Ты – позор нашей семьи», – крикнула она ему однажды в воскресенье после мессы, увидев, как он в новом доме играет в карты со своими офицерами. Аркадио не взглянул на нее. Только тогда узнала Урсула, что у него есть шестимесячная дочь и что Санта София де ла Пьедад, с которой он живет, не сочетавшись браком, снова беременна. Она решила послать письмо полковнику Аурелиано Буэндии, разыскать его, где бы он ни был, и сообщить о том, что творится в Макондо. Однако события самых ближайших дней не только помешали ей, но даже заставили раскаяться в своих намерениях. Война, которая до сего времени была только словом для обозначения чего-то далекого и туманного, обратилась в драматическую реальность. В конце февраля в Макондо появилась старуха самого жалкого вида с осликом, груженным вениками. Она выглядела такой несчастной, что сторожевой патруль пропустил ее в город без лишних слов, как пропускал бродячих торговцев, часто приходивших сюда из других городов низины. Она направилась прямо в казарму. Аркадио принял ее в бывшей

школьной зале, превращенной в своего рода военный склад, где трудились у стен или висели на крюках гамаки, громоздились в углах циновки, валялись на полу винтовки и карабины и даже охотничьи ружья. Старуха распрямила плечи, отдавая честь по-военному, и представилась:

– Полковник Грегорио Стевенсон.

Он принес плохие вести. По его словам, последние очаги сопротивления либералов были подавлены. Полковник Аурелиано Буэндия, который с боями отступал от Риоачи, поручил ему переговорить с Аркадио. Макондо следует сдать без сопротивления, выдвинув одно условие: противник – под честное слово – должен сохранить жизнь либералам и их имущество. Аркадио с жалостью смотрел на этого странного посланца, выглядевшего точь-в-точь как старуха-беженка.

– У вас, конечно, есть какое-нибудь письменное послание ко мне, – сказал он.

– Конечно, – ответил нарочный, – у меня его нет. Нетрудно понять, что при нынешних обстоятельствах нельзя брать с собой ничего такого.

Между тем он вытащил из лифа и положил на стол золотую рыбку. «Думаю, этого достаточно», – сказал он. Аркадио убедился, что это действительно была одна из рыбок, сделанных полковником Аурелиано Буэндией. Но кто-нибудь мог купить ее еще до войны или украсть, и потому рыбка не может служить в качестве пропуска. Гонец для удостоверения личности пошел даже на то, чтобы выдать военную тайну. Он сообщил, что ему поручено добраться до Кюрасао, где надо завербовать беженцев из стран всего Карибского бассейна и приобрести оружие и боеприпасы, чтобы в конце года осуществить вооруженное нападение с моря. Веря в успех высадки, полковник Аурелиано Буэндия полагает, что в данное время нельзя приносить ненужные жертвы. Но Аркадио был непреклонен. Он велел посадить гонца в тюрьму до выяснения обстоятельств и решил защищать городок до последнего солдата.

Долго ожидать не пришлось. Донесения о поражениях либералов становились все более частыми и подробными. К концу марта одним нежданно дождливым утром напряженное спокойствие предыдущих недель вдруг взорвалось трубным сигналом тревоги, а затем – пушечным выстрелом, которым была снесена церковная колокольня. По правде сказать, желание Аркадио сопротивляться выглядело сущим безумием. Под командой у него было около пятидесяти плохо вооруженных парней, имевших не более двадцати патронов на каждого. Среди них, однако, имелись его бывшие ученики, распаленные громкими лозунгами, готовые пожертвовать жизнью во имя пропащего дела. В топоте солдатских сапог, в грохоте пушечных залпов, в сумятице противоречивых приказов, среди бестолковой ружейной пальбы и бессмысленных трубных сигналов так называемый полковник Стевенсон с трудом отыскал Аркадио. «Не дайте мне умереть позорной смертью в колоде, да еще в этих женских тряпках, – сказал он. – Если умирать, так умирать в бою». Его слова подействовали. Аркадио распорядился, чтобы ему выдали ружье с двадцатью патронами и поставили с пятью солдатами защищать казарму, а сам он со своим главным штабом вознамерился руководить всей обороной. Ему, однако, не удалось добраться до дороги из Макондо в низину. Баррикады были разрушены, и защитники сражались с атакующими на улицах – сначала расходуя ружейные патроны, потом разряжая револьверы и, наконец, схватившись врукопашную. Хотя поражение было неминуемо, некоторые женщины, вооружившись палками и кухонными ножами, бросились на улицу. В этой сутолоке Аркадио натолкнулся на Амаранту, которая искала его, озираясь как сумасшедшая, в одной ночной рубашке, с двумя

старыми пистолетами Хосе Аркадио Буэндии. Он отдал свою винтовку офицеру, который в стычке лишился оружия, и нырнул с Амарантой в боковую улочку, чтобы доставить ее домой. Урсула ждала в дверях, не замечая снарядов, которые пробили брешь в фасаде соседнего дома. Ливень стихал, но дороги были скользкими и вязкими, как размякшее мыло, и за десять шагов впереди разливалась темень. Аркадио толкнул Амаранту к Урсуле и хотел пальнуть в двух солдат, которые не целясь открыли огонь из-за угла. Но дедовские пистолеты, лежавшие многие годы в шкафу, дали осечку. Заслоняя Аркадио своим телом, Урсула принуждала его отходить к двери.

– Да иди же, ради Бога! – кричала она. – Хватит глупостей!

Солдаты взяли их на мушку.

– Отойдите от него, сеньора! – гаркнул один из них. – Или мы не отвечаем!

Аркадио оттолкнул Урсулу и сдался. Вскоре затихла ружейная пальба. Сопротивление длилось менее часа. Люди Аркадио, все до одного, погибли, пытаясь сдержать натиск трехсот солдат. Последним оплотом стала казарма. Перед боем новоявленный полковник Грегорио Стевенсон отпустил на свободу всех заключенных и приказал своим людям встретить неприятеля на улице. Сам он так быстро шнырял от одного окна к другому и так метко расстрелял все свои двадцать патронов, что создалось впечатление, будто казарма сильно укреплена, и нападающие разнесли ее вдребезги пушечными залпами. Капитан, руководивший операцией, очень удивился, увидев безлюдные развалины и лишь одного мертвеца в подштанниках с винтовкой без патрона, зажатой в его оторванной руке, которая валялась рядом. Его густая женская шевелюра была скручена в узел и подколота гребешком на затылке, а на шее висела ладанка с золотой рыбкой. Перевернув труп носком сапога, чтобы разглядеть лицо, капитан застыл в изумлении. «Паскуда!» – вырвалось у него. Подошли другие офицеры.

– Глядите, куда его занесло, – сказал капитан. – Это Грегорио Стевенсон.

На рассвете по приговору военного трибунала Аркадио был расстрелян у кладбищенской стены. В последние два часа жизни он никак не мог понять, почему исчез страх, мучивший его с детства. Бесстрастно, даже не стараясь выказывать свое неизвестно откуда взявшееся мужество, он выслушивал бесчисленные пункты обвинения. Он думал об Урсуле, которая в этот час, наверное, пьет кофе с Хосе Аркадио Буэндией под каштаном. Думал о своей восьмимесячной дочери, еще не получившей имени, и о ребенке, который родится в августе. Думал о Санта Софии де ла Пьедад, которая вчера вечером коптила оленину к субботнему обеду, и затосковал по ее волосам, ниспадавшим на плечи, и по ресницам, будто приклеенным. Он думал о людях без всякой сентиментальности, беспощадно подводя итоги своей жизни, начиная понимать, что в действительности очень любит тех, кого так сильно ненавидел. Представитель трибунала произносил заключительную речь, и только тогда Аркадио сообразил, что прошло уже два часа. «Даже если бы все пункты обвинения не были подтверждены более чем достаточными уликами, – говорил председатель, – неоправданное, преступное безрассудство, проявленное обвиняемым, который послал своих подчиненных на верную гибель, заслуживает того, чтобы ему был вынесен смертный приговор». На обломках этой школы, где впервые к нему пришла уверенность в своей власти, и за несколько метров от места, где он испытал неуверенность в любви, Аркадио показались забавными эти формальности, нужные для смерти. В общем-то ему была нужна не смерть, а жизнь, и поэтому, когда зачитали приговор, он ощутил не страх, а тоску. Он молчал, пока его не спросили, какова его последняя воля.

– Скажите моей жене, – ответил он недрогнувшим голосом, – пусть девочку назовут Урсулой. – Помолчав секунду, подтвердил: – Урсулой, как бабушку. Скажите ей еще, что если родится мальчик, пусть назовут Хосе Аркадио, но не по дяде, а по деду.

Перед тем как его поставили к стене, падре Никанор предложил ему отпустить грехи. «Мне не в чем каяться», – сказал Аркадио, выпил чашку черного кофе и пошел с расстрельной командой к кладбищу. Начальник команды, специалист по казням, носил имя, вполне соответствующее его должности, – капитан Роке Мясник. По дороге, под упорно моросящим дождиком, Аркадио заметил, как на горизонте разгорается солнечный четверг. Тоска рассеялась вместе с утренним туманом, и осталось только непомерное любопытство. Когда ему велели встать спиной к стене, Аркадио увидел Ребеку, которая – с мокрыми волосами и в розовом цветастом платье – распахивала настежь окна и двери в доме. Он весь напрягся, привлекая ее внимание. Ребека случайно взглянула в сторону стены, и обомлела, и едва смогла махнуть рукой, послав Аркадио прощальный привет. Аркадио тоже махнул ей рукой. В этот миг на него нацелились обожженные порохом дула винтовок, и он услышал каждое слово из энциклик Мелькиадеса, и уловил каждый боязливый шаг Санта Софии де ла Пьедад, девы в классной комнате, и ощутил, что его нос становится ледяным и твердым, как – он это всегда помнил – белые каменные ноздри мертвой Ремедиос. «Ох, черт, – промелькнуло у него в голове, – забыл сказать: если родится девочка, чтоб назвали Ремедиос». И тут огромной когтистой лапой его сердце рванул тот страх, который терзал всю жизнь. Капитан дал команду: «Пли!» Аркадио едва успел выпятить грудь и вскинуть голову, не понимая, откуда льет горячая струя, обжигающая ляжки.

– Гады! – крикнул он. – Да здравствует либеральная партия!

В мае закончилась война. Двумя неделями раньше, до того как правительство официально объявило об этом в велеречивом обращении к народу, обещая без жалости покарать зачинщиков мятежа, полковник Аурелиано Буэндия попал в плен, не успев перейти западную границу под видом индейского целителя. Из двадцати человек, ушедших с ним на войну четырнадцать пали в боях, пятеро были ранены, и к моменту разгрома с ним оставался только один: полковник Херинельдо Маркес. О пленении либералов в Макондо узнали из чрезвычайного сообщения. «Он жив, – шепнула Урсула мужу. – Попросим Господа Бога, чтобы враги были к нему милосердны». Проплакав три дня, она стала сбивать на кухне молочный крем и вдруг услышала над своим ухом ясный голос сына. «Это Аурелиано, – закричала она и бросилась к каштану обрадовать мужа. – Не знаю, каким чудом, но он – жив, и мы его скоро увидим». И стала готовиться к встрече. Мыла в доме полы и переставляла мебель. А несколько недель спустя слухи, исходившие отнюдь не из официальных источников, увы, подтвердили ее пророчество. Полковник Аурелиано Буэндия жив, но приговорен к смерти, и казнь состоится в Макондо для пущего устрашения жителей. В один из понедельников, около половины одиннадцатого утра, Амаранта, одевавшая Аурелиано Хосе, услышала далекий шум голосов и первый сигнал корнета, потом корнет запел вторично, и в комнату ворвалась Урсула с криком: «Ведут!» Солдаты ружьями отбивались от наседавшей толпы. Урсула и Амаранта бежали до следующего угла, прокладывая себе путь локтями, и наконец его увидели. Точь-в-точь – нищий. Одежда порвана, волосы и борода всклокочены, ноги босые. Он ровно шел по горячей пыли со связанными за спиной руками, конец веревки был прикреплен к передней луке седла офицера. Рядом с полковником, такой же оборванный и понурый, брел полковник Херинельдо Маркес. Но в глазах у них не было

печали. Их скорее ошеломлял тот поток ругани, которую обрушивала на солдат толпа.

– Сынок! – Урсула перекричала шум и гомон и влепила пощечину солдату, попытавшемуся остановить ее. Лошадь под офицером встала на дыбы. Полковник Аурелиано Буэндия в волнении остановился и, отступив от протянутых рук матери, твердо посмотрел ей в глаза.

– Идите домой, мама, – сказал он. – Попросите разрешения у властей и приходите повидать меня в тюрьме.

Он взглянул на Амаранту, стоявшую в растерянности позади Урсулы, улыбнулся ей и спросил: «Что у тебя с рукой?» Амаранта подняла руку в черной повязке. «Обожгла», – сказала она и дернула за пояс Урсулу, едва не попавшую под копыта лошади. Раздались выстрелы. Конный отряд окружил пленных и, пустившись рысью, заставил их бежать к казарме.

К вечеру Урсула навестила в тюрьме полковника Аурелиано Буэндию. Она пыталась получить разрешение через дона Аполинара Москоте, но он утратил всякий вес в эпоху всевластия военных. У падре Никанора совсем разладилась печень. Родители полковника Херинельдо Маркеса, который не был приговорен к смерти, пытались пройти к нему, но их прикладами выставили на улицу. Поскольку замолвить слово за нее было решительно некому, Урсула, уверенная в том, что сына расстреляют на рассвете, собрала узелок с вещами, которые хотела передать ему, и отправилась прямо в тюрьму.

– Я – мать полковника Аурелиано Буэндии, – заявила она.

Стражники преградили ей путь. «Я все равно войду, – твердо сказала Урсула. – Так что, если вам велено стрелять, стреляйте». Оттолкнув одного из них, она вошла в старую классную комнату, где отряд полуголых солдат чистил оружие. Офицер в походной униформе, розовощекий, с учтивыми манерами, в очках с толстыми стеклами, сделал знак стражникам, и те тотчас убрались.

– Я – мать полковника Аурелиано Буэндии, – повторила Урсула.

– Вы хотите сказать, – поправил ее офицер с любезной улыбкой, – что к сеньору полковнику Аурелиано Буэндии пришла его сеньора мать.

В изысканных выражениях офицера Урсуле послышались сладкозвучные интонации жителей равнины, жеманных качако.

– Как вам угодно, сеньор, – согласилась она, – лишь бы позволили мне увидеть его.

Приказом свыше посетители к смертникам не допускались, но офицер под свою ответственность разрешил ей пятнадцатиминутное свидание. Урсула развязала перед ним узелок, там были ботинки, которые ее сын надевал на свадьбу, смена белья и сладкий крем, сбитый в тот день, когда она почувствовала, что он вернется. Полковник Аурелиано Буэндия находился в комнате, где стояла колода-сепо, и лежал на койке, раскинув руки, потому что под мышками были каменные волдыри. Ему разрешили побриться. Над густыми усами с закрученными кончиками выделялись острые скулы. Урсуле он показался более бледным, чем раньше, по дороге в тюрьму, чуть более длинным и таким одиноким, как никогда. Ему были известны все домашние происшествия: самоубийство Пьетро Креспи, бесчинства и расстрел Аркадио, дикие выходки Хосе Аркадио Буэндии под каштаном. Он знал, что Амаранта посвятила свое девичье вдовство воспитанию Аурелиано Хосе и что мальчик рос очень смышленым и научился говорить, читать и писать одновременно. Войдя в комнату, Урсула немного оробела: таким матерым воякой показался ей сын, такая в нем чувствовалась сила духа, такой властью веяло от всей его фигуры. Она удивилась, что он в курсе всех

событий. «Вы же знаете, что я провидец, – усмехнулся он и добавил серьезно: – Когда меня вели сегодня утром, мне чудилось, что я все это уже пережил». Действительно, в то время, когда вокруг него гудела толпа, он был погружен в свои мысли, поражаясь, как удивительно постарел городок за один только год. Миндальные деревья стояли голые, без листвы. Дома, покрашенные синей краской, потом – красной, а затем опять синей, обрели в конечном счете серо-буро-малиновый цвет.

– А чего ты хочешь? – вздохнула Урсула. – Время идет.

– Так-то оно так, – кивнул Аурелиано. – Да не совсем.

В общем, долгожданная встреча, к которой оба заготовили массу вопросов и даже почти знали на них ответы, снова свелась к обмену обычными словами. Когда стражник предупредил о конце свидания, Аурелиано вытащил из-под циновки свернутые, просоленные потом листки. Это были его стихи. Посвященные Ремедиос и прихваченные из дому, когда он уходил, а также написанные позже, в часы предгрозового военного затишья. «Обещай, что никому не дашь прочитать, – сказал он. – Сегодня же вечером растопи ими печку». Урсула пообещала и нагнулась, чтобы поцеловать сына на прощание.

– Я принесла тебе револьвер, – прошептала она.

Полковник Аурелиано Буэндия убедился, что стражей поблизости нет. «Мне он не нужен, – тихо отозвался он. – Но я возьму, тебя могут обыскать при выходе». Урсула вытащила револьвер из лифа, и он сунул оружие под циновку на койке. «И не надо со мной прощаться, – добавил он, сдерживая волнение. – Не просите за меня никого и не унижайтесь ни перед кем. Думайте, что меня расстреляли уже давным-давно». Урсула закусила губу, чтобы не плакать.

– Приложи горячие камни к волдырям, – сказала она. Повернулась и вышла из комнаты.

Полковник Аурелиано Буэндия стоял, задумчиво глядя ей вслед. Когда дверь закрылась, он снова лег, раскинув руки. С тех пор, как, будучи подростком, он постепенно уверовал в свои способности ясновидца, ему казалось, что смерть должна предупредить о себе определенным знаком, ясным и четким, но до расстрела оставались считанные часы, а знака все не было. Однажды в его лагерь близ Тукуринки пришла очень красивая девушка и попросила часовых пропустить ее. И ей позволили пройти к нему, потому как, бывало, матери-фанатички специально посылали своих дочерей переспать со знаменитыми воинами, чтобы, по их словам, улучшить породу. Полковник Аурелиано Буэндия в ту ночь, когда девушка вошла к нему в комнату, заканчивал поэму о человеке, заплутавшем в струях дождя. Собираясь запереть стихи в ящике стола, он повернулся к ней спиной. И ощутил опасность. Не оглядываясь, выхватил из ящика пистолет.

– Пожалуйста, не стреляйте, – сказал он.

Когда он взвел курок и обернулся, девушка стояла в растерянности с опущенным пистолетом. Так ему удалось избежать четырех покушений из одиннадцати. Бывало, спасение приходило иначе. Некто – его не успели схватить – проник ночью в повстанческий лагерь под Манауре и заколол кинжалом его закадычного друга, полковника Магнифико Висбаля, которому он уступил койку на время болезни. А сам спал рядом, в гамаке, и ничего не слышал. Напрасно он старался разобраться в своих предчувствиях. Они являлись вдруг, как некое озарение свыше, как внезапная, твердая, но неуловимая уверенность в чем-то. Порой эти ощущения были так естественны, что напоминали о себе лишь тогда, когда предчувствия сбывались. А последние иной раз и не сбывались, хотя внушали надежду. Часто все оборачивалось глупейшим приступом суеверия. Но когда полковника приговорили к

смерти и попросили высказать последнее желание, он без всякого труда увидел в этой просьбе знак, определивший его ответ.

– Прошу, чтобы приговор был приведен в исполнение в Макондо, – сказал он.

Председатель трибунала обозлился.

– Не лукавьте, Буэндия, – сказал он. – Это просто тактическая хитрость с целью выиграть время.

– Не можете – не надо, – сказал полковник, – но таково мое последнее желание.

С тех пор его дар предвидения больше не проявлялся. В тот день, когда Урсула наведалась к нему в тюрьму, он после долгих размышлений пришел к заключению, что смерть, наверное, не подаст знака на сей раз, потому что должна прийти не по воле случая, а по воле его палачей. Ночью волдыри не давали сомкнуть глаз. Перед самым рассветом он услышал шаги в коридоре. «Идут», – сказал он себе и невольно подумал о Хосе Аркадио Буэндии, который в эту минуту как раз думал о нем в рассветном пожаре, притушенном кроной каштана. У полковника не было ни страха, ни тоски, одна только яростная досада при мысли о том, что эта несуразная смерть не позволит ему узнать, чем закончится все то, что он не успел сделать. Дверь отворилась, и вошел страж с чашкой кофе. На следующий день, в тот же самый час, он все еще был жив и невредим, рычал от боли под мышками и пил кофе. В четверг отдал часть крема солдатам и надел лаковые ботинки и чистое белье, которое оказалось ему уже не по росту. В пятницу его тоже не расстреляли.

Дело в том, что его боялись казнить. Бунтарский настрой городка заставлял военных подумывать о том, что расстрел полковника Аурелиано Буэндии будет иметь тяжелые политические последствия не только для Макондо, но и для всей низинной области, о чем было доложено властям главного города провинции. Ожидая ответа, капитан Роке Мясник пошел со своими офицерами в субботний вечер навестить заведение Катарины. Только одна-единственная женщина устрашилась его угроз и осмелилась повести в свою комнату. «Никто тут не хочет иметь дело с мужчиной, которого смерть приглядела, – созналась она. – Не знаю, как и почему, но всем известно, что офицер, который расстреляет полковника Аурелиано Буэндию, а также все солдаты расстрельной команды, все по очереди, рано или поздно, будут убиты, даже если удерут на край света». Капитан Роке Мясник обсудил положение с другими офицерами, а те доложили начальству. В воскресенье, хотя об этом никто громко не говорил и хотя военные ничем не поколебали напряженное спокойствие последних дней, весь городок знал, что офицеры готовы под любым предлогом уклониться от исполнения смертного приговора. В понедельник почта доставила официальный приказ: казнить безотлагательно, на следующий день. Этим же вечером офицеры бросили в фуражку семь бумажек со своими именами, и злосчастная судьба капитана Роке Мясника, как всегда, не оставила его без внимания. «От невезенья нет спасенья, – сказал он с глубокой печалью. – Родился в мерзости, мерзавцем и помру». В пять утра составил свою команду по жребию, построил солдат в патио и разбудил арестанта вещей фразой.

– Пошли, Буэндия, – сказал он, – наш час настал.

– Чему быть, того не миновать, – отозвался полковник. – Мне приснилось, что у меня прорвались волдыри.

Ребека Буэндия поднималась ровно в три часа утра с тех пор, как узнала, что Аурелиано будет расстрелян. Из темной спальни она неустанно поглядывала через полуоткрытое окно на кладбищенскую стену, а кровать, на которой она сидела, содрогалась от храпа Хосе Аркадио. Всю неделю сидела Ребека и ждала с тем же затаенным упорством, с каким ждала

когда-то писем от Пьетро Креспи. «Его тут не будут расстреливать, – говорил ей Хосе Аркадио. – Его расстреляют к полуночи в казарме, чтобы никто не узнал, кто расстреливал, и закопают там же». Ребека продолжала ждать. «Этим бандитам ничего не стоит расстрелять его здесь», – говорила она. И так утвердилась в своей мысли, что заранее представляла себе, как откроет дверь и махнет ему рукой на прощание. «Его не поведут по улице под охраной каких-то шести слюнтяев-солдат, когда народ готов на все», – стоял на своем Хосе Аркадио. Презрев железную логику мужа, Ребека упрямо сидела у окна.

– Вот увидишь, бандиты сделают по-своему, – говорила она.

Во вторник, в пять утра, Хосе Аркадио успел выпить кофе и выпустить собак, когда Ребека захлопнула окно и схватилась за спинку кровати, чтобы не упасть. «Ведут, – выдохнула она. – Как он хорош». Хосе Аркадио высунулся в окно и увидел его в трепетной ясности рассвета. На младшем брате были штаны, некогда принадлежавшие старшему. Вот он уже стоит у стены подбоченясь, потому что сверлящие болью волдыри не дают опустить руки. «Столько мытариться, – бормочет полковник Аурелиано Буэндия, – столько мучиться, мать твою, чтобы шесть мудаков тебя продырявили за милую душу». Он повторял это с таким тихим бешенством, что, казалось, исступленно читает молитву, и капитан Роке Мясник даже растрогался. Когда солдаты прицелились, бешенство обратилось в горькую и клейкую лаву, залившую рот, слепившую веки. Исчез алюминиевый блеск зари, и он увидел себя малышом в коротких штанишках и с бантом на шее, увидел чудесный день и отца, входящего вместе с ним в цыганский шатер, и увидел лед. Услышав крик, он подумал, что это команда «пли!». Открыв глаза в горячечном любопытстве, готовясь телом прервать раскаленную траекторию пуль, увидел лишь капитана Роке Мясника с поднятыми вверх руками и Хосе Аркадио, бегущего по улице со своим чудовищным ружьем на изготовку.

– Не стреляйте, – крикнул капитан навстречу Хосе Аркадио. – Вас сам Бог послал!

Так началась еще одна война. Капитан Роке Мясник и его шесть человек ушли с полковником Аурелиано Буэндией освобождать революционного генерала Викторио Мединy, приговоренного к расстрелу в Риоаче. Они хотели выиграть время, перейдя через горы тем путем, каким добрался Хосе Аркадио Буэндия до места основания Макондо, но не прошло и недели, как они убедились, что это дело неосуществимое. И пришлось им перебираться через горные отроги, имея в запасе только те патроны, что были выданы для расстрела. Останавливались на отдых вблизи поселков, и кто-нибудь из них шел туда днем, не таясь, но изменив наружность, и, помахивая золотой рыбкой, находил затаившихся либералов, которые следующим утром отправлялись на охоту и домой больше не возвращались. Когда отряд перевалил через последний горный хребет и перед ним раскинулась Риоача, генерал Викторио Медина там был уже расстрелян. Люди полковника Аурелиано Буэндии провозгласили своего начальника командующим революционными силами Карибского побережья в чине генерала. Должность он принял, но от высокого звания отказался, дав себе слово не быть генералом до тех пор, пока не будет покончено с режимом консерваторов. К концу третьего месяца им удалось привлечь под свои знамена более тысячи человек, но почти все сложили голову в сражениях. Те, кто выжил, добрались до восточной границы. Еще стало известно, что уроженцы Антильских островов высадились на мысе Карбоде-ла-Вела, а в правительственной телеграмме, распространенной по всей стране, с ликованием сообщалось о смерти полковника Аурелиано Буэндии. Но двумя днями позже, в подробной телеграмме, посланной почти вдогонку первой, говорилось о новом восстании на южных равнинах. Так родилась легенда о вездесущем полковнике Аурелиано Буэндии.

Одновременно распространялись противоречивые слухи о его победе под Вильянуэвой, поражении при Гуакамайяле, о его кончине на столе людоедов-индейцев из племени мотилонес, о смерти в одном низинном поселке и вновь поднятом мятеже в Урумите. Вожаки либералов, которые в ту пору выторговывали у консерваторов согласие на свое участие в парламентских выборах, объявили его авантюристом, не представляющим партию. Правительство отнесло его к разряду отпетых разбойников и установило за его голову награду в пять тысяч песо. После шестнадцати поражений полковник Аурелиано Буэндия совершил с двумя тысячами хорошо вооруженных индейцев бросок из Гуахиры на Риоачу, и гарнизон, застигнутый врасплох, сдал город. Там полковник устроил свою штаб-квартиру и объявил правящему режиму тотальную войну. Первым официальным ответом правительства была угроза расстрелять полковника Херинельдо Маркеса, если мятежники не отойдут к восточной границе. Полковник Роке Мясник, ставший начальником штаба, с мрачным видом передал своему командующему телеграмму, но тот вдруг возрадовался, прочитав ее.

– Вот здорово! – воскликнул он. – У нас в Макондо уже есть телеграф!

Его ответ был категоричен. В ближайшие три месяца он перенесет свою штаб-квартиру в Макондо. Если к тому времени не застанет в живых полковника Херинельдо Маркеса, расстреляет на месте всех пленных офицеров, начиная с генералов, и прикажет, чтобы его подчиненные впредь не брали пленных до конца войны. Когда три месяца спустя полковник Аурелиано Буэндия с победой вошел в Макондо, первым бросился его обнимать у ворот города живой полковник Херинельдо Маркес.

Дом был полон детей. Урсула приютила Санта Софию де ла Пьедад с ее старшей девочкой и двумя близнецами, родившимися через пять месяцев после расстрела Аркадио. Наперекор последней воле казненного Урсула при крещении дала правнучке имя Ремедиос. «Я уверена, что Аркадио именно это хотел сказать, – твердо заявила она. – Не надо называть ее Урсулой, девочка настрадается с этим именем». Близнецы стали зваться Хосе Аркадио Второй и Аурелиано Второй. Амаранта и о них взяла на себя заботы. В знаменательный день победы расставила деревянные стульчики в зале, пригласила соседских детей и устроила веселое представление. Когда полковник Аурелиано Буэндия под звон колоколов и треск петард подъезжал к дому, его приветствовал хор ребячьих голосов. Аурелиано Хосе, пошедший ростом в деда, наряженный в мундир революционного офицера, торжественно отдал ему честь у порога.

Не все события были благоприятными. Год спустя после побега полковника Аурелиано Буэндии его брат Хосе Аркадио переехал с Ребекой в дом, построенный Аркадио. Никто не узнал о том, что именно он помешал расстрелу. В новом доме, расположенном в лучшем углу площади под тенистым миндальным деревом, которое осчастливили своими гнездами три малиновки, в доме с парадным подъездом и четырьмя окнами на солнечную сторону распахнулись двери для гостей. Старые приятельницы Ребеки, и среди них четыре сестры Москоте, все еще ходившие в девицах, возобновили свои вышивально-вязальные собрания, ранее проходившие в галерее с бегониями и прерванные несколько лет тому назад. Хосе Аркадио продолжал владеть присвоенными землями, право собственности на которые было признано правительством консерваторов. Люди видели, как ежедневно он возвращается с охоты верхом на коне со своей двустволкой в сопровождении свирепых псов и со связкой кроликов на луке. Одним сентябрьским днем черная грозовая туча заставила его вернуться домой раньше обычного. Он кивнул в столовой Ребеке, привязал в патио собак, затем разделал в кухне кроликов для копчения и пошел в спальню сменить одежду. Ребека

объясняла потом, что, когда муж отправился в спальню, она мылась в ванной и ничего не знает. Подобной версии трудно было поверить, но другой, более правдоподобной, не нашлось, да и никто не мог бы ответить, зачем Ребеке убивать человека, который сделал ее счастливой. Это была, кажется, единственная тайна Макондо, которая не нашла объяснения. Едва Хосе Аркадио запер дверь спальни, как дом потряс пистолетный выстрел. Струйка крови вырвалась из-под двери, пересекла залу, оказалась на улице, потекла прямо по неровным тротуарам, спускаясь по ступенькам и поднимаясь на приступки; оставила позади Турецкую улицу, потом завернула сначала направо, потом налево и под прямым углом направилась к дому Буэндия, нырнула под запертую дверь, преодолела гостиную вдоль стен, чтобы не испачкать ковры, проникла через вторую гостиную в столовую, где размашистой дугой обогнула стол, змейкой проползла по галерее с бегониями, незамеченной пробежала под стулом Амаранты, которая учила арифметике Аурелиано Хосе, и бросилась в кладовую, а затем тонко выплеснулась в кухню, где Урсула собиралась разбить тридцать шесть яиц для теста.

– Пресвятая Дева Мария! – воскликнула Урсула. Она пошла вспять по кровавому следу к истокам струйки, перебралась через кладовую, прошлепала через галерею с бегониями, где Аурелиано Хосе нараспев повторял, что дважды три – шесть, а трижды три – девять, пересекла столовую и гостиные и направилась прямиком по улице, свернула направо, потом налево до Турецкой улицы, забыв, что ковыляет в кухонном переднике и домашних туфлях; выбралась на площадь и ринулась к двери дома, в котором ни разу не была, и распахнула дверь спальни, и почти задохнулась от порохового дыма, и наткнулась на Хосе Аркадио, лежащего ничком на полу в обнимку с крагами, которые только что снял, и увидела самое начало уже неживой кровавой нити, тянувшейся из его правого уха. На теле ран не нашли и определить оружие не сумели. Также невозможно было избавиться от тяжелого порохового духа, которым пропитался труп. Сначала тело три раза вымыли мочалкой с мылом, потом оттирали уксусом с солью, затем – лимонным соком с золой и, наконец, погрузили в бочку с жавелем на целых шесть часов. Его терли с таким старанием, что татуированные арабески заметно поблекли. Когда прибегли к последнему средству, – нашпиговав перцем, тмином и лавровым листом, день варили на медленном огне, – он начал распадаться, и пришлось спешно устраивать похороны. Хосе Аркадио похоронили в специальном герметичном гробу двух метров и тридцати сантиметров длиной и метр десять сантиметров в ширину, обитом изнутри железом и завинченном стальными болтами, и, несмотря на все это, по улицам, где шла траурная процессия, несся запах пороха. Падре Никанор со своей вздувшейся и твердой, как барабан, печенью осенил покойника крестным знамением, не вставая с кровати. Хотя позже могилу обложили кирпичом и засыпали золой, опилками и негашеной известью, от кладбища многие годы несло порохом, пока инженеры из Банановой компании не замуровали могилу в бетон. Как только гроб вынесли из дому, Ребека заперла двери и похоронила себя заживо, укрывшись толстой скорлупой пренебрежения, которую не удалось пробить ни одному земному искусу. Лишь однажды, уже в старости, выбралась она на улицу, напялив шляпу с цветочками и надев туфли цвета черненого серебра, когда Вечный Жид пронесся через городок и обдал его таким жаром, что птицы пробивали металлические сетки на окнах, чтобы умереть в спальнях. Последний раз ее видели в живых, когда она метким выстрелом прикончила вора, пытавшегося взломать дверь дома. Никто, кроме Архениды, ее наперсницы и служанки, не общался с ней с того времени. Случайно стало известно, что она пишет письма епископу, которого считает своим двоюродным братом, но о том, что пришел

ответ, разговоров не было.

Макондо забыл о Ребеке.

Триумфальное возвращение не вскружило голову полковнику Аурелиано Буэндии и не притупило чувство опасности. Правительственные войска оставляли города без сопротивления, и сторонники либералов воспринимали это как победу, веру в которую не следовало разрушать, но мятежники знали правду, а лучше всех знал ее полковник Аурелиано Буэндия. Хотя под командой у него было более пяти тысяч человек и в его власти были два прибрежных штата, он понимал, что прижат к морю и что его политические позиции не слишком прочны, ибо, когда он велел восстановить церковную колокольню, разбитую залпом правительственных пушек, больной падре Никанор заметил из постели: «Какая несуразица: защитники веры Христовой разрушают церковь, а еретики берутся ее отстроить». Пытаясь выбраться из окружения, полковник Аурелиано Буэндия часами сидел на телеграфе, совещаясь с правителями других городков, и все более приходил к убеждению, что война застопорилась. О новых победах либералов прокламации сообщали в восторженных тонах, но, сверяя с картой реальные достижения, он видел, что его войска углубляются в сельву, отбиваясь от москитов и малярии, и продвигаются вперед не туда, куда надо. «Мы только время теряем, – жаловался он своим офицерам. – Мы, воины, будем и впредь терять время, пока эти партийные подонки клянчат места в парламенте». Бессонными ночами, вперив глаза в потолок, лежал он в гамаке, который повесил в той самой комнате, где был приговорен к расстрелу, и видел перед собой этих адвокатишек в черных костюмах, выходящих из президентских покоев в холодный утренний туман с поднятыми до ушей воротниками пальто. Они потирают руки, перешептываются и укрываются в темных ночных кафе, чтобы потолковать о том, что хотел сказать президент, когда сказал «да», или что хотел он сказать, когда сказал «нет», и даже поразмыслить, о чем думал президент, когда говорил абсолютно о другом, в то время как он, полковник Аурелиано Буэндия, ошалевает от москитов и от тридцатипятиградусной жары и с трепетом ждет рассвета, ибо, возможно, придется дать своим людям приказ броситься в море.

В одну такую тревожную ночь, когда Пилар Тернера, которая постоянно грешила и каялась, была в казарме, он попросил ее погадать на картах. «Не разевай рот, – было все, что установила Пилар Тернера, трижды собрав и раскинув карты. – Не знаю, что это значит, но вижу очень ясно: не разевай рот». Спустя два дня кто-то дал одному из денщиков большую чашку кофе без сахара, денщик отдал ее кому-то другому, этот – третьему, и в результате чашка оказалась в кабинете полковника Аурелиано Буэндии. Он не просил кофе, но раз он оказался под рукой, выпил. Напиток содержал дозу рвотного ореха, способную убить лошадь. Когда полковника доставили домой, тело его было согнуто в дугу и одеревенело, а язык прикушен зубами. Урсула отбила сына у смерти. Промыв ему желудок, она завернула его в горячие простыни и два дня давала пить яичный белок, пока измученная плоть не расслабилась в покое. На четвертый день опасность миновала. Урсула и офицеры, поборов сопротивление, заставили полковника пробыть в постели еще неделю. Только тут он узнал, что его стихи не сожжены. «Мне не хотелось торопиться, – пояснила Урсула. – Когда я разожгла печь в тот вечер, я сказала себе: пусть сначала принесут труп». В светлой дымке выздоровления, в кругу запыленных кукол Ремедиос полковник Аурелиано Буэндия, читая свои стихи, оживил в памяти главные моменты своей жизни. И снова взялся за перо. Проводя долгие часы вдали от ужасов нелепой войны, он переливал в стихотворные формы все свои ощущения от встреч со смертью на узкой дорожке. И его мысли так просветлели, что можно

было читать их вдоль и поперек. Однажды ночью он спросил полковника Херинельдо Маркеса:

– Скажи-ка мне, приятель, за что ты сражаешься?

– За то, за что надо, друг, – отвечал полковник Херинельдо Маркес. – За великую партию либералов.

– Счастливый ты, что знаешь, – заметил он. – Я вот, например, только сейчас понял, что дерусь за себя. Гордыня точит.

– Очень плохо, – сказал полковник Херинельдо Маркес.

Полковника Аурелиано Буэндию не удручило его огорчение.

– Конечно, плохо, – сказал он. – Но, во всяком случае, лучше, чем не знать, за что сражаться. – Поглядел тому в глаза и добавил с улыбкой: – Или сражаться, как ты, за то, от чего никому нет никакого проку.

Его гордыня мешала ему искать поддержку у вооруженных повстанческих отрядов во внутренних районах страны, пока руководители партии публично не откажутся ныне и впредь называть его бандитом. При этом он знал, что если отречется от своих некоторых притязаний, заколдованный круг войны будет разорван. Выздоровление дало ему время поразмыслить. В результате он добился того, что Урсула отдала ему остаток заветных золотых монет и свое немалое состояние; затем назначил полковника Херинельдо Маркеса главой и комендантом города Макондо, а сам отправился договариваться с повстанческими отрядами внутренних районов.

Полковник Херинельдо Маркес был не только верным другом полковника Аурелиано Буэндии, но и почти членом семьи Урсулы. Тихий, скромный, деликатный от природы, он, однако, лучше чувствовал себя на войне, чем в кресле городского главы. Его политические советники с легкостью позволили ему заплутаться в лабиринтах теории. Но создать в Макондо атмосферу деревенской тиши и покоя, то, о чем мечтал полковник Аурелиано Буэндия, дабы умереть своей смертью, мастеря золотых рыбок, он сумел. Хотя полковник Херинельдо Маркес жил в доме своих родителей, он два или три раза в неделю приходил обедать к Урсуле. Учил юного Аурелиано Хосе обращаться с огнестрельным оружием, помогал постигать азы военного дела и, с согласия Урсулы, забрал мальчика на несколько месяцев в казарму, чтобы сделать из него мужчину. Много лет тому назад, когда сам Херинельдо Маркес был почти мальчишкой, он объяснился Амаранте в любви. В ту пору она была так захвачена своей одинокой страстью к Пьетро Креспи, что в ответ лишь рассмеялась. Херинельдо Маркес ждал. Однажды послал Амаранте записку из тюрьмы с просьбой оказать ему любезность и вышить на дюжине батистовых носовых платков инициалы его отца. Одновременно выслал деньги. К концу недели Амаранта принесла ему в тюрьму дюжину помеченных инициалами платков вместе с деньгами, и они долго беседовали, вспоминая былое. «Когда я отсюда выйду, я женюсь на тебе», – сказал ей Херинельдо Маркес на прощание. Амаранта засмеялась, но мысль о нем не покидала ее даже во время уроков, которые она давала детям, и ей захотелось снова испытать то же страстное девичье чувство, которое она когда-то питала к Пьетро Креспи. По субботам, в день посещений тюрьмы, она приходила к родителям Херинельдо Маркеса и вместе с ними отправлялась к нему. В одну из таких суббот Урсула неожиданно застала ее на кухне, где Амаранта ждала, пока испекутся бисквиты, чтобы выбрать самые поджаристые и завернуть в специально расшитую салфетку.

– Выходи за него, – сказала мать дочери. – Едва ли встретишь другого такого.

Амаранта скорчила гримасу.

– Я не бегаю за мужчинами, – ответила она. – А бисквиты несу Херинельдо, потому что мне его жаль, ведь рано или поздно он будет расстрелян.

Она сказала это без всякой задней мысли, но именно в тот день правительство публично заявило о намерении казнить полковника Херинельдо Маркеса, если мятежные формирования не сдадут Риоачу. Посещения тюрьмы прекратились. Амаранта рыдала, заперевшись на ключ, снедаемая чувством вины, подобным тому, что терзало ее, когда умерла Ремедиос, словно бы опять ее необдуманные слова накликали смерть. Мать утешала Амаранту. Уверяла, что полковник Аурелиано Буэндия непременно воспрепятствует расстрелу, и обещала, что сама постарается заманить Херинельдо Маркеса в свой дом, как только кончится война. И выполнила обещание раньше срока. Когда Херинельдо Маркес снова навестил их, облеченный властью главы и коменданта города, Урсула приняла его, как родного сына, стала рассыпать тонкие комплименты и с пылкой настойчивостью напоминать о его намерении жениться на Амаранте. Ее старания как будто не пропали даром. В один из тех дней, когда полковник Херинельдо Маркес обедал у них, он остался в галерее с бегониями поиграть с Амарантой в китайские шашки. Урсула подала им кофе с бисквитами и занялась детьми, чтобы они не мешали. Амаранта и вправду старательно ворошила в своей душе остывший пепел былой страсти. И стала просто изнемогать от нетерпения, ожидая дня званого обеда и вечера с китайскими шашками. Время пролетало как один миг в обществе этого воина с обворожительным именем, чьи пальцы слегка дрожали, передвигая шашки. Но в тот день, когда полковник Херинельдо Маркес снова предложил ей руку и сердце, она его отвергла.

– Я не выйду замуж ни за кого, – сказала она. – Уже не говоря о тебе. Ты любишь Аурелиано и хочешь жениться на мне, потому что не можешь жениться на нем.

Полковник Херинельдо Маркес был человеком терпеливым. «Я не отступлюсь, – сказал он. – Рано или поздно уговорю тебя». И продолжал наносить визиты. Закрывшись в своей спальне, Амаранта кусала губы, чтобы не расплакаться, затыкала пальцами уши, чтобы не слышать голоса своего обожателя, который рассказывал Урсуле свежие новости о войне, и, умирая от желания видеть его, она находила в себе силы одолеть искушение.

Полковник Аурелиано Буэндия располагал тогда достаточным временем, чтобы каждые две недели присылать в Макондо подробный отчет о своих делах. Но лишь один раз, почти восемь месяцев спустя после отъезда, он написал Урсуле. Специальный курьер доставил на дом конверт с сургучной печатью, в котором была бумага с единственной фразой, написанной каллиграфическим почерком полковника: «Старайтесь беречь отца, потому что он скоро умрет». Урсула заволновалась. «Раз Аурелиано так говорит, значит, знает», – твердила она. И попросила помочь ей перенести Хосе Аркадио в его спальню. Он был не просто тяжелым, как обычно, а, научившись за время долгого сидения под каштаном увеличивать по собственной воле свой вес, стал таким тяжелым, что семь человек не смогли его поднять и до кровати тащили волоком. Резкий запах грибов, свежей древесины и густой промозглости насытил воздух спальни, когда им начал дышать старый великан, дубленный солнцем и дождем. На следующее утро его не застали в постели. Обыскав все комнаты, Урсула снова нашла его под каштаном. Тогда его привязали к кровати. Несмотря на не угасшую силу, Хосе Аркадио Буэндия не мог противиться. Ему было все равно. Если он и вернулся к каштану, то не по своему желанию, а по зову своего тела. Урсула прислуживала мужу, давала ему поесть, рассказывала про Аурелиано. Но на самом деле единственным существом, с которым он умел общаться и общался давно, был Пруденсио Агиляр. Почти

иссушенный глубокой дряхлостью Смерти, Пруденсио Агиляр приходил дважды в день поговорить с ним. Разговаривали о петухах. Собирались выводить племенных бойцов – не столько для побед, которые обещало это дело, сколько для того, чтобы веселее коротать нудные воскресенья в Смерти. Это Пруденсио Агиляр его умывал, кормил и очень интересно рассказывал про какого-то человека, который звался Аурелиано и который где-то воевал в чине полковника. Когда Хосе Аркадио Буэндия оставался один, то развлекался сновидениями, в которых бродил по бесконечным комнатам. Видел во сне, как встает с кровати, открывает дверь и входит в другую такую же комнату где стоит эта же самая кровать со спинкой из кованого железа, где такое же точно плетеное кресло, а на задней стене висит то же самое изображение Святой Девы, заступницы всех скорбящих. Из этой комнаты он шел в следующую, абсолютно такую же, потом дальше – в абсолютно такую же, и так до бесконечности. Ему нравилось брести из комнаты в комнату, словно шел он по галерее параллельных зеркал, пока наконец Пруденсио Агиляр не трогал его за плечо. Тогда он начинал возвращаться из комнаты в комнату, просыпаясь по дороге назад, проходя обратно тем же путем, и находил Пруденсио Агиляра в своей взаправдашней комнате. Но однажды ночью, через две недели после того, как старика уложили в постель, Пруденсио Агиляр тронул его за плечо в какой-то из комнат, и он там остался навсегда, полагая, что это и есть взаправдашняя комната. На следующее утро Урсула несла ему завтрак и вдруг увидела в галерее человека. Он был крепок и приземист, в черном костюме и в шляпе, тоже черной, огромной, надвинутой на грустные глаза. «Боже мой, – подумала Урсула. – Могу поклясться, что вижу Мелькиадеса». Это был Катауре, брат Виситасьон, который покинул дом, спасаясь от поветрия бессонницы, и о котором никто ничего не знал. Виситасьон спросила его, зачем он вернулся, и тот ей ответил на своем высокопарном языке:

– Я пришел на похороны царя.

Тут они вошли в комнату Хосе Аркадио Буэндии, стали трясти его изо всех сил, кричать и дуть в ухо, поднесли зеркальце к самым ноздрям, но так и не разбудили. Немного погодя, когда столяр снимал мерки для гроба, они увидели, что за окном моросит дождик из крохотных желтых цветов. Всю ночь цветы падали на городок тихими крупными звездами, и запорошили все крыши, и завалили двери, и удушили животных, ночевавших в открытых загонах. Столько цветов рассыпало небо, что наутро весь город был устлан плотным живым ковром, и надо было браться за грабли и лопаты, чтобы расчистить путь для похоронной процессии.

Сидя в плетеной качалке, опустив на колени вышивание, Амаранта наблюдала, как Аурелиано Хосе, намазав подбородок мыльной пеной, точил о ремень опасную бритву, чтобы впервые в жизни побриться. Он до крови выскреб прыщавые щеки, порезал верхнюю губу, стараясь превратить в усики светлый пушок, и, хотя после долгой канители ничуть не изменился, сложная процедура бритья навела Амаранту на мысль, что именно сейчас племянник начал стареть.

– Ты – вылитый Аурелиано в юности, – сказала она. – И уже настоящий мужчина.

Мужчиной он стал уже очень давно, в тот самый день, когда Амаранта, все еще принимая его за ребенка, разделась в купальне, отнюдь его не стесняясь, как раздевалась с той поры, когда Пилар Тернера отдала ей младенца на воспитание. Впервые увидев ее нагой, он заинтересовался только глубокой выемкой между грудями. Он был таким неискушенным, что спросил, почему это так, и Амаранта, словно бы вкапываясь в выемку кончиками

пальцев, ответила: «У меня тут копали, копали и раскопали». Спустя некоторое время, когда она, оправившись после самоубийства Пьетро Креспи, снова пошла мыться вместе с Аурелиано Хосе, он уже не глядел на расщелинку, а испытывал непонятное волнение, уставясь на ее роскошные груди с лиловыми сосками. Он разглядывал ее, открывая, дюйм за дюймом, чудеса ее наготы, чувствуя, что по коже бегут мурашки, – так же, как у нее бегали по спине мурашки от холодной воды. Еще ребенком он привык под утро нырять из своего гамака в постель к Амаранте, под боком у которой была не страшна никакая тьма. Но с того дня, когда он постиг тайну ее обнаженности, не страх темноты гнал его под ее москитный полог, а желание быть совсем рядом с тихим дыханием женщины на рассвете. Однажды ранним утром, после того как Амаранта отвергла полковника Херинельдо Маркеса, Аурелиано Хосе проснулся, хватая ртом воздух. Он чувствовал, как пальцы Амаранты, словно жадные горячие черви, подбираются к его животу. Притворяясь спящим, он повернулся им навстречу и тут же ясно почуял, как рука без черной повязки копошится слепой медузой в водорослях его вожделения. Хотя они делали вид, что ведать не ведают о том, о чем знают оба, с той ночи их накрепко связало сообщничество. Аурелиано Хосе не мог заснуть, пока не отзвучит вальс часов в большом зале, а зрелая дева, чья кожа начинала утрачивать свежесть, не находила покоя до той минуты, пока под ее москитную сетку не скользнет лунатик, которого она взрастила, не думая, что найдет в нем утешение и спасение от одиночества. И они не только стали вместе спать нагими, лаская друг друга до изнурения, но и бегали друг за другом по дому, затаиваясь в углах и запираясь в спальне во всякое время, подстегиваемые неутихающим кипением крови. Их чуть не застала врасплох Урсула, как-то днем вошедшая в кладовую, где они было принялись целоваться. «Ты так любишь свою тетю?» – спросила она Аурелиано Хосе с самым невинным видом. Он утвердительно кивнул. «Прекрасно», – заключила Урсула, отсыпала муки для теста и вернулась на кухню. Этот случай отрезвил Амаранту. Она поняла, что не просто забавляется с ребенком, а зашла уже слишком далеко, в самое болото осенней страсти, опасной и безысходной, и разом оборвала свидания. Аурелиано Хосе, который заканчивал военную учебу, вынужден был смириться и отправился ночевать в казарму. По субботам он хаживал вместе с солдатами в заведение Катарины. В своем внезапном одиночестве, в своем раннем возмужании он утешался женщинами, которые пахли мертвыми цветами и которых он представлял себе иными в потемках, и кипучей игрой воображения всех превращал в Амаранту.

Спустя некоторое время стали поступать противоречивые сведения о войне. Хотя правительство открыто признавало некоторые успехи мятежников на полях сражений, офицеры в Макондо располагали секретными сведениями о начале мирных переговоров. В начале апреля к полковнику Херинельдо Маркесу прибыл гонец. Он подтвердил, что действительно руководители консервативной партии установили контакты с вожаками революционеров во внутренних районах и вот-вот будет заключено перемирие на таких условиях: три либеральных министра войдут в правительство, либералы получат места в парламенте и будет объявлена широкая амнистия для всех мятежников, которые сложат оружие. Гонец доставил совершенно секретный приказ полковника Аурелиано Буэндия, не принявшего условия перемирия. Полковнику Херинельдо Маркесу следовало отобрать пять своих лучших бойцов и быть готовым покинуть с ними страну. Приказ был выполнен в строжайшей тайне. За неделю до подписания перемирия, в грозовой атмосфере противоречивых слухов, полковник Аурелиано Буэндия и десять его ближайших соратников, среди которых был и Роке Мясник, тайно прибыли поздней ночью в Макондо, распустили

гарнизон, закопали оружие и уничтожили архивы. На рассвете они покинули городок вместе с Херинельдо Маркесом и его пятью офицерами. Это была такая стремительная и тихая операция, что Урсула узнала о ней в последние минуты, когда кто-то стукнул в окошко ее спальни и шепнул: «Если хотите видеть полковника Аурелиано Буэндию, высуньтесь в дверь». Урсула соскочила с кровати и бросилась к двери в ночной рубашке, но успела расслышать лишь стук копыт: всадники уже покидали Макондо, подняв ни о чем не сказавшее ей облако пыли. Лишь на следующий день она узнала, что и Аурелиано Хосе ушел с отцом.

Через десять дней после опубликования совместного коммюнике правительства и оппозиции об окончании войны были получены известия о первом вооруженном мятеже полковника Аурелиано Буэндии на западной границе. Его малочисленные и плохо вооруженные силы были разгромлены менее чем за неделю. Но в течение года, пока либералы и консерваторы старались заставить страну поверить в их перемирие, он еще семь раз пытался поднять восстание. Однажды ночью он обстрелял Риоачу со шхуны, а гарнизон в ответ вытащил из постелей и расстрелял четырнадцать самых известных либералов города. Полковник захватил и пятнадцать дней удерживал одну пограничную таможню, обратившись оттуда с воззванием к народу развязать всеобщую войну. В одном из своих походов он три месяца блуждал по сельве, задавшись нелепой целью одолеть полторы тысячи километров девственного леса, чтобы пробраться к предместьям столицы и открыть там военные действия. Как-то он оказался всего в двадцати километрах от Макондо, но правительственные патрули заставили его отступить в горы как раз к тому чудесному месту, где много лет назад его отец наткнулся на остов испанского галиона.

В это самое время умерла Виситасьон. Она доставила себе удовольствие умереть обычной старушечьей смертью после того, как отказалась от царского трона из страха перед бессонницей. Напоследок служанка попросила выкопать из-под ее кровати деньги, заработанные за двадцать лет, и послать их полковнику Аурелиано Буэндии, чтобы он продолжил войну. Но Урсула не удосужилась взять эти деньги: в те дни прошел слух о том, что полковник Аурелиано Буэндия погиб при высадке на берег близ главного города провинции. Официальному сообщению – четвертому менее чем за два года – все верили почти шесть месяцев, ибо о полковнике не было никаких известий. И вдруг, когда Урсула и Амаранта уже облачились в очередные траурные одеяния, до них дошла поразительная новость. Полковник Аурелиано Буэндия жив, но вроде бы оставил в покое правительство собственной страны и встал под знамена федерализма, побеждавшего в других республиках Карибского бассейна. Он объявлялся там и тут, под разными именами, все дальше уходя от родной земли. Позже стало известно, что его вдохновляла идея объединения всех федералистических сил Центральной Америки, чтобы смести с лица земли все консервативные режимы от Аляски до Патагонии. Первую весточку от него Урсула получила через несколько лет после того, как он скрылся. Это было письмо из Сантьяго-де-Куба, мятое и затертое, прошедшее через многие руки.

– Мы больше его никогда не увидим, – воскликнула Урсула, прочитав листок. – Эта дорожка приведет его к Рождеству на край света.

Человек, к которому она обратилась с этими словами и первому показала письмо, был консервативный генерал Хосе Ракель Монкада, назначенный алькальдом Макондо после окончания войны. «Ох уж этот Аурелиано, – заметил генерал Монкада. – Жаль, что он не консерватор». Генерал искренне им восхищался. Как многие консерваторы из штатских, Хосе

Ракель Монкада воевал, защищая интересы партии, и дослужился до генеральского чина на поле битвы, хотя не считал военное дело своим призванием. Напротив, так же, как многие из его соратников, генерал был антимилитаристом. Он считал военных беспринципными шалопаями, интриганами и карьеристами, умеющими столкнуть лбами штатских и нажиться на заварухе. Умный, симпатичный, благодушный толстяк, любитель вкусно поесть и большой охотник до петушиных боев, он одно время был самым опасным противником полковника Аурелиано Буэндии. Ему удалось подчинить своему влиянию военачальников на большей части побережья. Когда порой генерал из тактических соображений оставлял тот или иной пункт отрядам полковника Аурелиано Буэндии, последний получал от него два письма. В одном, более обширном, генерал обращался к полковнику с призывом вести войну более гуманными способами. Второе письмо предназначалось супруге, если она оказывалась на территории либералов, и сопровождалось просьбой доставить это послание по назначению. И случалось так, что даже в разгар военных действий оба командующих заключали краткие перемирия для обмена пленными. Эти паузы становились часами приятного отдохновения, когда генерал Монкада обучал полковника Аурелиано Буэндию играть в шахматы. Они сделались большими друзьями. Даже начинали подумывать о том, чтобы сплотить рядовых членов обеих партий, покончить с влиянием военных и профессиональных политиков и установить гуманный режим на основе лучших тезисов обеих партийных доктрин. По окончании войны, когда полковник Аурелиано Буэндия скользнул в извилистый лабиринт перманентной диверсии, генерал Монкада был назначен коррехидором в Макондо. Он ходил в гражданском платье, заменил военных безоружными полицейскими, строго соблюдал законы об амнистии и оказывал помощь семьям некоторых либералов, павших в сражениях. Он добился того, что Макондо стал центром муниципального округа, а сам сделался первым городским алькальдом и создал атмосферу такого взаимного доверия, что о войне стали вспоминать как о бессмысленном кошмаре давно минувших лет. Падре Никанора, вконец обессилевшего от приступов печени, сменил падре Коронель, ветеран первой федералистской войны по прозвищу Балбес. Бруно Креспи, женившийся на Ампаро Москоте и успешно торговавший игрушками и музыкальными инструментами в собственном магазине, построил театр, который испанские труппы не обходили своими гастролями. Это был большой амфитеатр под открытым небом с деревянными скамьями, бархатным занавесом в греческих масках и с тремя кассами в виде львиных голов, через оскаленные пасти которых продавались билеты. В эту пору было реставрировано и здание школы. Она была поручена попечению дона Мельчора Эскалоны, старого, присланного из низины учителя, который заставлял нерадивых учеников ползать на коленях в патио по рассыпанной соли, а болтливых – жевать красный перец, – к полному удовлетворению их родителей. Аурелиано Второй и Хосе Аркадио Второй, буйные близнецы Санта Софии де ла Пьедад, первыми уселись в классной комнате со своими грифельными досками, мелом и именными алюминиевыми кружками. Юную Ремедиос, которая унаследовала ангельскую красоту своей матери, стали называть Ремедиос Прекрасной. Наперекор быстро текущему времени, нескончаемым траурам и непрестанным горестям Урсула не поддавалась старости. С помощью Санта Софии де ла Пьедад она расширяла свое кондитерское дело и за несколько лет не только вернула состояние, промотанное сыном в войну, но и набила чистым золотом котелки, запрятанные под полом в спальне. «Пока Бог меня не приберет, – говорила она, – в этом сумасшедшем доме не переведутся деньги». Так обстояли дела, когда Аурелиано Хосе дезертировал из федералистских войск Никарагуа, завербовался на немецкое судно и

однажды появился на кухне родимого дома, здоровый, как лошадь, темный и лохматый, как индеец, и с тайным намерением жениться на Амаранте.

Он вошел, не успев сказать и слова, но Амаранта уже знала, для чего он вернулся. За столом она боялась встретиться с ним глазами. Через две недели он в присутствии Урсулы уставился на нее и сказал: «Я только о тебе и думал». Амаранта его избегала. Старалась ускользать от случайных встреч. Не отпускала от себя ни на шаг Ремедиос Прекрасную. Рассердилась на себя за то, что невольно покраснела, когда племянник спросил ее, до каких пор она будет носить на руке черную повязку, ибо подумала, что он намекает на ее девичество. После его приезда она стала запирать свою спальню, но, слыша много ночей подряд его мирный храп в соседней комнате, успокоилась и забыла об осторожности. Как-то под утро, через два месяца после его возвращения, она услышала шаги в своей спальне. Вместо того чтобы бежать, вопить на весь дом – как она замыслила наперед, – ей вдруг захотелось томно расслабиться и затихнуть. Она почувствовала, что он нырнул под москитный полог, как раньше в детстве, как обычно делал, и ее обдало холодной испариной, мелко застучали зубы при виде его, абсолютно голого. «Уходи, – прошептала она, задыхаясь от нездорового любопытства. – Уходи, или я закричу». Но Аурелиано Хосе теперь знал, что действительно надо делать, ибо был уже не испуганным тьмой ребенком, а жеребцом с вольных лугов. После этой ночи возобновились их безмолвные и безрезультатные баталии, продолжавшиеся до рассвета. «Я – твоя тетка, – бормотала Амаранта в изнеможении. – Я тебе как мать, и не только по возрасту, я тебя вырастила, разве только грудью не кормила». Аурелиано убегал на заре и возвращался к следующему рассвету, всякий раз еще больше распаляясь при виде ее незапертой двери. Он ни на миг не переставал желать ее. Находил ее в темных спальнях взятых деревень, чаще всего в спальнях публичных, и сливался с ней в резком запахе крови, подсыхавшей на бинтах раненых и в нервном напряге перед смертельной опасностью, ощущал рядом – всегда и всюду. Он бежал от нее, пытаясь покончить с мыслями о ней не только при помощи сотен километров, но и посредством той пьянящей жестокости, которую его товарищи называли отвагой, но чем больше он пачкал ее образ грязью войны, тем больше война ему напоминала Амаранту. Так изматывал он себя в изгнании, ища способ раз и навсегда разделаться с ней, а заодно и с собой, как вдруг услышал один старый анекдот про человека, женившегося на своей тете, которая, кроме того, была его кузиной, и потому его сын оказался в конечном итоге дедушкой самому себе.

– Значит, можно жениться на родной тетке? – спросил он в изумлении.

– Не только на тетке, – ответил рассказчик-солдат. – Потому мы и воюем против попов, чтобы каждый мог жениться хоть на родимой матери.

Через две недели Аурелиано Хосе дезертировал. Амаранта, по сравнению с хранимым образом, показалась ему более рыхлой, меланхоличной и безгрешной и, по правде сказать, уже переступающей последний порог зрелости, но зато она была неописуемо сладострастной в сумраке спальни и несказанно чувственной в своей агрессивной самообороне. «Ты – животное, – говорила Амаранта, отпихивая его гончих псов. – Нельзя же так наседать на свою бедную тетю, никак нельзя без особого разрешения Папы Римского». Аурелиано Хосе обещал съездить в Рим, обещал проползти всю Европу на коленях и лобызать туфли Его Святейшества, лишь бы только она развела мосты.

– Да дело не только в этом, – отбивалась Амаранта. – Ведь у нас дети могут родиться со свиным хвостиком.

Аурелиано Хосе был глух ко всем доводам.

– Пусть хоть броненосцы с роговым панцирем родятся, – стонал он.

Однажды поутру, не вынеся нестерпимых мук подавляемого желания, он пошел в заведение Катарины. Там встретил женщину с обвислой грудью, нежную и дешевую, которая на время его успокоила. Он принялся изводить Амаранту холодным равнодушием. Застав ее на галерее за швейной машинкой, с которой она удивительно ловко управлялась, он прошел мимо, не сказав ни слова. Но у Амаранты словно камень свалился с плеч, и она, сама не зная почему, снова стала думать о полковнике Херинельдо Маркесе, с грустью вспоминать их вечера за доской с китайскими шашками и даже представляла себе, как он входит к ней в спальню. Аурелиано Хосе и подозревать не мог, что позиции им потеряны. Когда, бросив игру в безразличие, он как-то ночью ворвался к Амаранте, она его выгнала решительно и бесповоротно и навсегда заперла для него дверь в свою комнату.

Спустя несколько месяцев после возвращения Аурелиано Хосе к ним в дом явилась дебелая, пахнущая жасмином женщина с мальчиком лет пяти. Она заявила, что это – сын полковника Аурелиано Буэндии и что Урсула должна его крестить. Никто не усомнился в происхождении этого безымянного ребенка, настолько он походил на полковника, когда того в детстве водили смотреть на лед. Женщина сказала, что мальчик родился с открытыми глазами и поглядывал на людей словно бы свысока и что ее пугает его немигающий взгляд. «Он, в точности он, – сказала Урсула. – Не хватает только, чтобы стулья двигались под этим взглядом». Мальчика крестили и нарекли Аурелиано, дав фамилию матери, потому что по закону нельзя было давать фамилию отца, пока тот не признает ребенка. Генерал Монкада стал крестным отцом. Амаранта очень просила отдать ей мальчика на воспитание, но мать воспротивилась.

Урсула еще не знала про обычай посылать девушек переспать с лихим воином, равно как подсаживать кур к племенному петуху, но в том году узнала: еще девять сыновей полковника Аурелиано Буэндии были приведены к ней для крещения. Старший, странного вида темноволосый и зеленоглазый крепыш, – совсем не в отцовскую родню, – выглядел уже лет на десять. Приводили ребят всех возрастов, всех мастей, но всегда мальчиков, и все они казались такими одинаковыми, что сомнения в родстве не было никакого. Только двое выделялись из общей массы. Один, слишком рослый для своего возраста, расколотил вдребезги цветочные вазы и кое-что из сервиза; его руки, казалось, разбивали все, к чему прикасались. Второй, блондин, явно пошел в мать со своими светлыми, как у цапли, глазами и длинными, в локонах, как у девочки, волосами. Он уверенно вошел в дом, словно в свой собственный, направился к одному из сундуков в спальне Урсулы и потребовал: «Дай мне заводную балерину». Урсула перепугалась. Открыла сундук, разворошила кучу старых пыльных вещей времен Мелькиадеса и нашла завернутую в пару чулок заводную балерину, которую когда-то принес Пьетро Креспи и про которую все позабыли. Менее чем за два года имя Аурелиано – и фамилию матери – получили при крещении все мальчики – числом семнадцать, – которых посеял полковник на просторах, где шла война. Сначала Урсула набивала им карманы деньгами, Амаранта пыталась оставить их у себя. Но в конечном счете обе стали довольствоваться подарками и ролью крестных матерей. «Наш долг – крестить их, – говорила Урсула, записывая в книжечку имена и адреса матерей, место и дату рождения мальчиков. – Аурелиано должен знать, как обстоят его личные дела, ведь ему предстоит принимать решения». Как-то за завтраком, сообщив генералу Монкаде про эту обескураживающую плодовитость, она высказала пожелание, чтобы полковник Аурелиано Буэндия собрал когда-нибудь всех своих сыновей под отцовской крышей.

– Не беспокойтесь, кума, – загадочно проговорил генерал Монкада. – Он вернется раньше, чем вы думаете.

Генерал Монкада знал, но не хотел распространяться за трапезой о том, что полковник Аурелиано Буэндия был уже по дороге домой, намереваясь поднять тут мятеж – гораздо более затяжной, бескомпромиссный и кровавый по сравнению с предыдущими.

Положение снова стало таким же напряженным, как перед последней войной. Петушиные бои, которые поощрялись самим алькальдом, были отменены. Начальник гарнизона капитан Акилес Рикардо практически стал комендантом города. Либералы посчитали это провокацией. «Должно случиться что-то страшное, – говорила Урсула своему внуку Аурелиано Хосе. – Не выходи на улицу после шести вечера». Мольбы ее были напрасны. Аурелиано Хосе, как когда-то Аркадио, уже не принадлежал ей. Словно бы возвращение домой, жизнь без всяких забот и хлопот пробудили в нем неумеренную похотливость и леность его дяди Хосе Аркадио. Страсть к Амаранте испарилась бесследно. Он, в общем, плыл по воле волн, играл в бильярд, спасался от одиночества со случайными женщинами, подбирал деньги, которые Урсула по забывчивости оставляла в разных местах. Кончил тем, что заходил домой лишь переодеться. «Все они одинаковы, – причитала Урсула. – Вначале растут тихо-мирно, послушные, скромные, кажется, муху не обидят, а как борода полезет, пиши пропало». Не в пример Аркадио, который остался в неведении относительно своего истинного происхождения, Аурелиано Хосе разузнал, что был сыном Пилар Тернеры, которая теперь повесила ему гамак, чтобы он проводил сиесту в ее доме. Они были не просто мать и сын, скорее – товарищи по одиночеству. В душе Пилар Тернеры не осталось и следа надежды. Ее смех стал сипловат, как орган, ее грудь увяла от случайных докучливых ласк, живот и ляжки постиг скорбный удел продажной женщины, но ее сердце старело без горечи. Растолстевшая, словоохотливая, суетливая, как мать голодного семейства, она распрощалась с иллюзорными посулами карт и нашла свою тихую заводь у постели чужой любви. В ее спальне, где Аурелиано Хосе отдыхал в часы сиесты, соседские девушки принимали очередных любовников.

– Пусти меня в свою комнату, Пилар, – без стеснения говорили они ей, уже переступив порог.

– Входи, – говорила Пилар. А если рядом еще кто-то был, поясняла: – Я и сама радуюсь, если людям в постели радостно.

Она никогда не брала плату за услуги. Никогда не отказывала в просьбах, как не отказывала бесчисленным мужчинам, которые шли к ней даже на закате ее бабьего века, не давая ей ни денег, ни любви и лишь иногда доставляя удовольствие. Ее пять дочерей, унаследовавшие жаркую кровь матери, уже в юности потерялись на кривых тропках жизни. Из двух сыновей, которых удалось ей вырастить, один погиб, сражаясь в войсках полковника Аурелиано Буэндии, а другой был ранен и арестован четырнадцати лет от роду, когда пытался украсть клетку с курами в одном из поселков низины. Получилось так, что Аурелиано Хосе как бы сыграл роль того высокого смуглого мужчины, пришествие которого ей с полвека возвещал король червей и который, как все посланцы карточной колоды, согрел ее сердце тогда, когда уже был отмечен знаком смерти. Об этом ей поведали карты.

– Не уходи сегодня вечером, – сказала она. – Останься здесь ночевать. Кармелита Монтьель давно просится в мою комнату.

Аурелиано Хосе не смог уловить глубинного смысла просьбы.

– Скажи ей, что приду к полуночи, – сказал он.

И пошел в театр, где испанская труппа давала «Кинжал Сорро», хотя на самом деле это была пьеса Соррильи «Кинжал гота», но название было изменено по приказу капитана Акилеса Рикардо, потому что либералы называли «готами» консерваторов. Показывая в дверях билет, Аурелиано Хосе вдруг увидел, что капитан Акилес Рикардо с двумя вооруженными солдатами обыскивает входящих.

– Прочь руки, капитан, – предупредил Аурелиано Хосе. – Еще не родился тот, кто меня пальцем тронет.

Капитан вознамерился применить силу, но Аурелиано Хосе, хотя оружия у него и не было, вырвался и побежал. Солдаты не подчинились приказу стрелять.

– Это же Буэндия, – пояснил один из них. Побелев от ярости, капитан выхватил у солдата винтовку, бросился на середину улицы и прицелился.

– Ублюдки! – взревел он. – Да будь это сам полковник Аурелиано Буэндия!

Кармелита Монтьель, двадцатилетняя девственница, только что облилась водой, настоянной на апельсиновом цвете, и посыпала лепестками розмарина постель Пилар Тернеры, когда прогремел выстрел. Аурелиано Хосе было на роду написано познать с ней счастье, в котором ему отказала Амаранта, иметь от нее семерых сыновей и умереть от старости на ее руках, но ружейная пуля, которая вошла ему в спину и разворотила грудь, повиновалась неверному толкованию гадальных карт. В действительности этим вечером умереть должен был капитан Акилес Рикардо, и он умер, но четырьмя часами раньше, чем Аурелиано Хосе. Едва он выстрелил, как был уложен на месте сразу двумя пулями, неизвестно кем посланными, а многоголосый крик всколыхнул ночь:

– Да здравствует либеральная партия! Да здравствует полковник Аурелиано Буэндия!

В полночь, когда кровь Аурелиано Хосе перестала течь, а картам осталось заново определять судьбу Кармелиты Монтьель, более четырехсот человек прошли перед театром и разрядили револьверы в оставшийся лежать на улице труп капитана Акилеса Рикардо. Понадобилась патрульная команда, чтобы положить в повозку начиненное свинцом тело, которое разваливалось, как лепешка в супе.

Возмущенный наглым произволом военных из гарнизона, генерал Хосе Ракель Монкада восстановил свои политические связи, снова надел мундир и стал представлять в Макондо гражданскую и военную власть. Он, однако, не тешил себя тем, что его миротворческая деятельность убережет людей от того, что неизбежно должно было случиться. В сентябре поступали противоречивые сообщения. Правительство заявило, что контролирует всю страну, а либералы получали секретные донесения о вооруженных мятежах во внутренних районах. Официальные власти до тех пор не признавали, что в стране идет война, пока не пришлось обнародовать решение военного трибунала, который заочно вынес полковнику Аурелиано Буэндии смертный приговор. Совершить казнь предписывалось первому же гарнизону, который его схватит.

– Значит, он вернулся, – радостно сообщила Урсула генералу Монкаде. Но тот пока ничего не знал.

Полковник Аурелиано Буэндия действительно уже больше месяца обретался в стране. Но о нем ходили самые разные слухи, его будто бы видели в самых невероятных местах, и потому сам генерал Монкада поверил в его возвращение лишь тогда, когда было официально сообщено, что он захватил два прибрежных штата.

– Поздравляю, кума, – сказал он Урсуле, показав ей телеграмму. – Скоро он появится здесь, у вас.

Тут Урсула впервые забеспокоилась.

– А что же вы-то будете делать, кум? – спросила она. Генерал Монкада не единожды задавал себе этот вопрос.

– То же самое, что ваш сын, кума, – ответил он. – Выполнять свой долг.

Первого октября на заре полковник Аурелиано Буэндия во главе тысячи хорошо вооруженных людей атаковал Макондо, но гарнизон получил приказ стоять насмерть. В полдень, когда генерал Монкада обедал с Урсулой, орудийный залп мятежников, потрясший весь город, разнес в щепы фасад муниципального казначейства.

– Они так же хорошо вооружены, как и мы, – вздохнул генерал Монкада, – но дерутся еще более рьяно.

В два часа пополудни, когда земля дрожала от взаимного обстрела, он простился с Урсулой в уверенности, что проиграет это сражение.

– Молю Бога, чтобы сегодня вечером Аурелиано не вошел в этот дом, – сказал он. – Если придет, обнимите его за меня, потому что я едва ли когда-нибудь его увижу.

Той же ночью генерал Монкада был арестован, когда пытался бежать из Макондо, оставив пространное письмо на имя полковника Аурелиано Буэндии, где напомнил об их общих намерениях избегать жестокости в войне и желал ему окончательной победы над продажными офицерами и политиканами обеих партий. На следующий день полковник Аурелиано Буэндия обедал вместе с ним в доме Урсулы, где генерал Монкада сидел под арестом в ожидании приговора революционного военного трибунала. Это была семейная трапеза. Но пока противники, забыв про войну, предавались воспоминаниям о прошлом, Урсула не могла избавиться от горькой мысли, что ее сын оккупировал родную землю. Она увидела его в этом новом свете, едва он ввалился в дом вместе со своей шумливой охраной, которая перевернула вверх дном все спальни, чтобы увериться в безопасности. Полковник Аурелиано Буэндия не только не противился этому, но и сам отдавал приказы повелительным тоном и никому не разрешал приближаться к себе ближе чем на три метра, даже Урсуле, пока его люди не выставили караул возле дома. На нем была военная форма из грубого дриля без всяких знаков различия и высокие сапоги со шпорами, заляпанные кровью и грязью. На поясе висела расстегнутая кобура, а рука, лежавшая на рукоятке револьвера, была так же напряжена и решительна, как его взгляд. Голова, ныне с глубокими залысинами, была словно обожжена в печи. Лицо, дубленное солью карибских ветров, приобрело твердость металла. От неминуемой старости его уберегала жизненная сила, которая была сродни жестокости. Он стал более высоким, чем в молодости, более бледным и угловатым и, казалось, не был склонен поддаваться душевным порывам. «Боже мой, – думала в тревоге Урсула. – Теперь он, видно, способен на все». Так и было. Ацтекская шаль-сарапе, привезенная Амаранте, воспоминания о друзьях за обедом, забавные анекдоты – все это было тусклым отсветом прежнего Аурелиано. Не успели похоронить мертвых в общей могиле, как он поручил полковнику Роке Мяснику ускорить разбирательство в военном трибунале, а сам взвалил на себя тяжкое бремя проведения коренных реформ, которые должны были не оставить камня на камне от загнивающего режима консерваторов. «Нам надо опередить партийных дельцов, – говорил он своим соратникам. – Не успеют они и глазом моргнуть, как дело будет сделано». Тут-то он и взялся за проверку земельных реестров чуть ли не столетней давности и раскопал узаконенные бесчинства своего брата Хосе Аркадио. Одним росчерком пера лишил его всех прав на землю. Отдавая дань вежливости, оставил на час другие дела и навестил Ребеку, чтобы сообщить ей о своем

решении.

В полутемном доме одинокая вдова, которая в свое время была поверенной в его тайных любовных утехах и чье упрямство спасло ему жизнь, выглядела призраком из вечного прошлого. Укутанная в черное почти до кончиков пальцев, с сердцем, давно обращенным в пепел, она едва ли знала, что рядом идет война. Полковнику Аурелиано Буэндии казалось, что у нее сквозь кожу мерцают кости и она плывет в окружении блуждающих огней по затхлому воздуху, который все еще пахнет порохом. Он начал с того, что посоветовал ей не слишком строго соблюдать траур, проветрить дом и более не убиваться по Хосе Аркадио. Но Ребеку уже не трогала мирская суета. После того как она без толку предавалась ей, поедая землю, вдыхая аромат писем Пьетро Креспи, трамбуя собой постель неистового мужа, был наконец найден покой в этом доме, где воспоминания, вызываемые безжалостной памятью, обретали плоть и кровь и разгуливали, как живые существа, по глухим темным комнатам. Полулежа в своей плетеной качалке, глядя на полковника Аурелиано Буэндию так, будто это он был призраком из вечного прошлого, Ребека даже бровью не повела, услышав, что земли, присвоенные Хосе Аркадио, будут возвращены их законным хозяевам.

– Будь по-твоему, Аурелиано, – выдохнула она. – Я всегда знала и сейчас говорю, что ты – выродок в нашей семье.

Ревизия земельных книг закончилась одновременно с деятельностью военно-полевых судов, где председательствовал полковник Херинельдо Маркес и по решению которых были расстреляны все офицеры правительственных войск, плененные революционерами. Последним перед трибуналом предстал генерал Хосе Ракель Монкада. Урсула вступилась за него. «Это лучший правитель из всех, что были в Макондо, – сказала она полковнику Аурелиано Буэндии. – Я не буду говорить тебе о его добром сердце, о том, как он нас любит, ты знаешь это лучше других». Полковник Аурелиано Буэндия взглянул на нее сурово и холодно.

– Кто я такой, чтобы вершить правосудие? – спросил он. – Если у вас есть что сказать, скажите это перед военным судом.

Урсула так и сделала да еще привела с собой матерей революционных офицеров, родившихся в Макондо. Одна за другой старейшие жительницы городка, многие из которых еще принимали участие в опаснейшем переходе через горы, восхваляли достоинства генерала Монкады. Урсула была последней в их ряду. Ее печальная торжественность, авторитет ее имени, горячая убежденность в правоте своих слов поколебали было чашу весов. «Вы принимаете слишком всерьез эту страшнейшую игру, хотя правильно делаете, так как должны выполнять свой долг, – сказала она членам трибунала. – Но не забывайте, что пока Бог дарует нам жизнь, мы остаемся вашими матерями, и будь вы хоть сто раз революционеры, мы имеем право спустить вам штаны и выпороть за проявленное к нам неуважение». Судьи удалились на совещание, а ее слова еще звенели в классе этой школы, снова превращенной в казарму. В полночь генерал Хосе Ракель Монкада был приговорен к расстрелу. Полковник Аурелиано Буэндия, несмотря на все попреки Урсулы, отказался смягчить приговор. Перед рассветом он навестил осужденного в комнате, где стояла колода-сепо.

– Помни, кум, – сказал он. – Тебя расстреливаю не я. Тебя расстреливает революция.

Генерал Монкада не поднялся с койки при его появлении.

– Дерьмо ты, кум, – отозвался он.

До этой минуты, с самого своего возвращения, полковник Аурелиано Буэндия ни разу не

взглянул на генерала сочувственно или внимательно. Теперь он поразился, увидев, как тот состарился, как трясутся его руки, с каким спокойствием, даже равнодушием, встречает смерть, и вдруг испытал глубокое презрение к себе, которое принял за росток сострадания.

– Ты знаешь лучше меня, – сказал он, – что весь этот суд – один сплошной фарс, и ты просто платишь за преступления других, ибо на этот раз мы выиграем войну любой ценой. А разве ты на моем месте поступил бы иначе?

Генерал Монкада встал и протер полой рубашки толстые очки в черепаховой оправе.

– Кто знает, – сказал он. – Но меня беспокоит не то, что ты меня расстреляешь. В конце концов это – нормальная смерть для таких, как мы. – Положил очки на койку и снял с себя часы с цепочкой. – Меня беспокоит то, – добавил он, – что ты так ненавидел военных карьеристов, так бил их, так хотел с ними разделаться, и в конечном итоге им уподобился. Ни один жизненный идеал не стоит такого гнусного унижения. – Он снял обручальное кольцо и образок Девы заступницы всех скорбящих и положил рядом с очками и часами. – А потому, – закончил он, – ты не только станешь самым деспотичным и кровавым диктатором в истории нашей страны, но и расстреляешь мою куму Урсулу, дабы успокоить свою совесть.

Полковник Аурелиано Буэндия не проронил ни слова. Генерал Монкада вручил ему очки, образок, часы и кольцо и заговорил другим тоном.

– Но я позвал тебя не для упреков, – сказал он. – Хочу попросить тебя о любезности: передай эти вещи моей жене.

Полковник Аурелиано Буэндия рассовал вещицы по карманам.

– Она еще в Манауре?

– Да, в Манауре, – подтвердил генерал Монкада, – в том же доме за церковью, куда ты отправил письмо.

– Непременно все сделаю, Хосе Ракель, – сказал полковник Аурелиано Буэндия.

Когда он вышел на воздух, синий от рассветной дымки, его лицо повлажнело, как на той, на прошлой заре, и только тогда он понял, почему велел привести приговор в исполнение на дворе казармы, а не у кладбищенской стены. Расстрельная команда, выстроенная перед дверью, приветствовала его, как главу государства.

– Выводите, – распорядился он.

Полковник Херинельдо Маркес первым ощутил пустоту войны. Как правитель и комендант Макондо он дважды в неделю сносился по телеграфу с полковником Аурелиано Буэндией. Сначала в переговорах шла речь о войне, имеющей плоть и кровь и четкие контуры, что позволяло в любой момент определить, где она идет, и предусмотреть, куда она двинется дальше. Хотя полковник Аурелиано Буэндия не допускал панибратства даже в кругу ближайших друзей, он той порой позволял себе в общении с ними некоторые вольности, которые тотчас давали понять, кто отстукивает телеграфные послания. Не раз он сам затягивал беседу и даже позволял себе вспомнить о домашних делах. Однако, по мере того как война разгоралась и становилась неохватной, живой облик командующего начинал растворяться в заоблачных высях.

Точки и тире его «Я» с каждым разом становились все более далекими и невнятными и, соединяясь, превращались в слова, которые утрачивали всякий смысл. Тогда полковник Херинельдо Маркес только слушал, ибо создавалось жуткое впечатление, будто он общается по телеграфу с пришельцем из других миров.

– Ясно, Аурелиано, – отбивал он ключом конец разговора. – Да здравствует либеральная

партия!

И в конце концов исчезло всякое представление о войне. То, что в прежние времена было жизненным действием, неодолимой страстью юности, сделалось чем-то страшно далеким, пустотой. Единственным прибежищем полковника Херинельдо Маркеса стала рабочая комната Амаранты. Он наведывался туда каждый день. Ему нравилось смотреть, как ее руки собирают в складки воздушный мадаполам под иглой швейной машинки, которую крутит Ремедиос Прекрасная. Они проводили долгие часы в молчании, довольствуясь обществом друг друга, но если Амаранта наслаждалась тем, что огонь его преданности не угасает, он никак не мог разобраться в тайных намерениях ее непостижимого сердца. Когда стало известно о его возвращении, Амаранта чуть не задохнулась от волнения. Но когда она увидела его в доме среди буйных приспешников полковника Аурелиано Буэндии, его, потрепанного бурями походной жизни, постаревшего от прожитых и канувших в забвение лет, пропитанного потом и пылью, пропахшего конюшней, с левой рукой на перевязи, она едва не лишилась чувств от разочарования. «Господи Боже, – подумалось ей. – Не такого ждала». На следующий день, однако, он пришел к ним выбритый и чистый – благоухающие лавандой усы, рука в белой, а не в окровавленной повязке. Он принес ей молитвенник, инкрустированный перламутром.

– Странный вы народ, мужчины, – сказала она, не зная, о чем говорить. – Занимаетесь тем, что бьете священников, а сами дарите молитвенники.

С той поры, даже в самые трудные дни войны, он навещал ее каждый день. Не раз, когда Ремедиос Прекрасная отсутствовала, вертел ручку швейной машинки. Амаранту трогали постоянство, преданность, благоговение перед ней этого мужчины, который, будучи военным комендантом города, тем не менее считал необходимым оставлять пистолет в гостиной и входить к ней безоружным. В течение четырех последних лет он не раз признавался ей в любви, но она всегда отвергала его, хотя и старалась не причинять ему боли, ибо, не пылая к нему страстью, жить без него она уже не могла. Ремедиос Прекрасная, которой, казалось, ни до чего нет дела и которую считали чуть ли не помешанной, и та не осталась равнодушной к такой преданности и однажды горячо вступилась за полковника Херинельдо Маркеса. Амаранта вдруг обнаружила, что взращенная ею девочка, юность которой только зацветала, уже превратилась в такое очаровательное создание, какого не видывали в Макондо. Она почувствовала, как в сердце вновь зарождается острая неприязнь, которую пришлось когда-то испытать к Ребеке. Моля Бога, чтобы он уберег ее от греха и не дал бы пожелать девочке смерти, Амаранта навсегда удалила Ремедиос Прекрасную из своей рабочей комнаты. Именно в это время полковник Херинельдо Маркес проникался отвращением к войне. Он пустил в ход все свое красноречие, свою необъятную и подавляющую нежность и был готов ради Амаранты отказаться от славы, которой принес в жертву лучшие годы. Но переубедить ее не смог. Одним августовским вечером, изнемогая от бремени собственного упрямства, Амаранта заперлась в спальне, чтобы до смерти оплакивать свое одиночество, после того как ответила решительным отказом упорному обожателю.

– Забудем друг друга навсегда, – сказала она ему. – Мы уже слишком стары для этого.

Тем же вечером полковнику Херинельдо Маркесу пришлось отвечать на телеграфный вызов полковника Аурелиано Буэндии. Это был праздный разговор, не открывший новых путей перед зашедшей в тупик войной. К концу беседы полковник Херинельдо Маркес увидел в окно безлюдные улицы, стеклянные капли на миндальных деревьях и почувствовал, что тонет в одиночестве.

– Аурелиано, – уныло отстукал он ключом, – в Макондо идет дождь.

Аппарат надолго затих. И вдруг прорвался потоком безжалостных точек и тире полковника Аурелиано Буэндии.

– Не распускай сопли, Херинельдо, – чеканили точки и тире. – В августе всегда идет дождь.

Они так давно не говорили по душам, что полковника Херинельдо Маркеса расстроил этот резкий отпор. Когда же два месяца спустя полковник Аурелиано Буэндия вернулся в Макондо, расстройство уступило место полнейшей растерянности. Даже Урсулу поразили перемены, происшедшие в сыне. Он вернулся один, без всякого шума, без свиты, закутавшись в плащ, несмотря на жару, и прихватив с собой трех любовниц, которых поселил в другом доме, где и проводил большую часть времени, лежа в гамаке. Изредка просматривал депеши, информировавшие о боях местного значения. Бывало, полковник Херинельдо Маркес обращался к нему за распоряжением об эвакуации войск из какого-либо приграничного пункта, грозившего стать местом международных трений.

– Не тревожь меня по пустякам, – приказал полковник Аурелиано Буэндия. – Обращайся к Божественному Провидению.

Это был, вероятно, самый критический момент восстания. Помещики-либералы, которые вначале поддерживали революцию, подписали секретные соглашения с помещиками-консерваторами, чтобы воспрепятствовать ревизии прав на земельную собственность. Либералы-политэмигранты, наживавшие капитал на войне, публично отвергли драконовские распоряжения полковника Аурелиано Буэндии, но даже такая неприятность не вывела его из себя. Он забросил свои стихи, заполнившие более пяти тетрадей, валявшиеся теперь на дне сундука. По ночам или в часы сиесты звал к себе в гамак одну из своих женщин и, получив мало-мальское удовлетворение, спал как убитый, не выказывая ни малейшего признака тревоги. Только ему одному было известно, что его неуемное сердце осуждено на вечные муки сомнений и колебаний. Вначале, опьяненный триумфальным возвращением и невообразимыми победами, он заглянул в пропасть величия. Ему нравилось иметь под рукой такого большого знатока военного искусства, как герцог Мальборо, чье одеяние из шкур, украшенное зубами тигра, вызывало уважение у взрослых и страх у детей. Именно тогда полковник Аурелиано Буэндия решил, что ни одно человеческое существо, даже Урсула, не должно приближаться к нему ближе, чем на три шага. Из центра мелового круга, который очерчивали его адъютанты всюду, куда бы он ни явился, и в котором только ему можно было находиться, он, издавая короткие и категоричные приказы, вершил судьбами ближних. Оказавшись в Манауре после расстрела генерала Монкады и желая выполнить последнюю волю своей жертвы, он отправился вручить вдове очки, образок, часы и кольцо, но она не пустила его на порог.

– Сюда нельзя, полковник, – сказала вдова. – Командуйте на своей войне, а в моем доме командую я.

Полковник Аурелиано Буэндия не проявил ни малейшего неудовольствия, но его душа обрела покой лишь тогда, когда его охранники разграбили и даже сожгли дом вдовы. «Ты теряешь человечность, Аурелиано, – сказал ему тут полковник Херинельдо Маркес, – и разлагаешься заживо». В ту пору состоялась вторая ассамблея мятежных военачальников. Собрался разный люд: идеалисты, карьеристы, авантюристы, отбросы общества и даже самые обыкновенные преступники. Был там и старый чиновник-консерватор, растративший казенные деньги и переметнувшийся к мятежникам, чтобы скрыться от правосудия. Многие

даже не знали, за что они сражаются. В этой пестрой толпе, где различия в оценке событий грозили взорвать изнутри либеральное сообщество, выделялась одна мрачная фигура – генерал Теофило Варгас. Чистокровный индеец, темный, неграмотный, отличавшийся тихим коварством и пророческим даром, он сумел превратить своих людей в слепых фанатиков. Полковник Аурелиано Буэндия замыслил на этом сборище объединить всех мятежных командиров против политиканов с их закулисными играми. Генерал Теофило Варгас опередил его: за считанные часы развалил коалицию самых видных командиров и фактически возглавил войска. «С этой сволочью ухо востро держите, – говорил полковник Аурелиано Буэндия своим офицерам. – Для нас он более опасен, чем сам военный министр». Один молоденький капитан, неприметный и осмотрительный, робко поднял указательный палец.

– Можно еще проще, полковник, – сказал он. – Его надо убить.

Полковника Аурелиано Буэндию чуть смутила не жестокость предложения, а то, что оно было высказано на долю секунды раньше, чем он сам понял, чего хочет.

– Не дождетесь от меня такого приказа, – сказал он. И действительно, приказа он не отдавал. Но две недели спустя генерал Теофило Варгас был на куски изрублен в засаде, а полковник Аурелиано Буэндия стал верховным командующим. Той же самой ночью, когда его верховенство признали все мятежные командиры, он вдруг проснулся в гамаке и завопил, требуя одеяло. Внутренний холод, леденивший кости и заставлявший стучать зубы под жарким солнцем, не давал ему уснуть несколько месяцев, пока не сделался привычным. Упоение властью стали портить вспышки злости на самого себя. Стараясь одолеть душевное смятение, он приказал расстрелять молоденького капитана, который предложил убить генерала Теофило Варгаса. Его приказы выполнялись раньше, чем он их отдавал, даже раньше, чем хотел отдать, и всегда выполнялись с гораздо большим рвением и размахом, чем он того желал. Заблудившись в дебрях одиночества своей необъятной власти, он потерял путеводную нить. С презрением смотрел на толпы народа, радостно встречавшие его в захваченных городках: они представлялись ему теми же самыми, что ранее приветствовали тут его врагов. Повсюду он натыкался на подростков, глядевших на него его глазами, говоривших его голосом, с таким же недоверием обращавших к нему слова привета, с каким он обращался к ним, и утверждавших, что они – его сыновья. Он чувствовал себя измельченным, повторенным во множестве лиц и таким одиноким как никогда. Он был убежден, что его собственные офицеры врут ему на каждом шагу. Пререкался с герцогом Мальборо. «Лучший друг тот, кого нет на свете», – повторял в те времена полковник Аурелиано Буэндия. Он устал от неуверенности, от заколдованного круга вечной войны, всегда заставлявшей его в одном и том же месте, но всякий раз еще больше постаревшего, еще больше сникшего, все меньше понимающего – зачем, как, до каких пор. И всегда кто-то стоял у самой черты мелового круга. Кто-то, кому не хватало денег, у кого сын болел коклюшем или кто хотел заснуть и не проснуться, потому что больше не мог хлебать дерьмо этой войны, но тем не менее из последних сил вытягивался в струнку и рапортовал: «Все в порядке, мой полковник». Именно это и было самым страшным в тех бесконечных войнах, поскольку порядок оставался прежним. Одинокий, лишенный своих предчувствий, бегущий от холода, который преследовал его до могилы, полковник Аурелиано Буэндия нашел пристанище в Макондо, где мог согреться теплом очень старых воспоминаний. Его безразличие стало таким глубоким, что по прибытии партийной делегации, уполномоченной обсудить с ним дальнейший ход событий, он лишь повернулся в гамаке на бок, не протерев глаза.

– Пошлите их туда, к шлюхам, – пробормотал он. Шестеро посланцев либеральной партии – юристов в сюртуках и цилиндрах – с редким стоицизмом переносили страшную ноябрьскую жару. Урсула приютила их в своем доме. Большую часть дня они просидели в запертой спальне, обсуждая сугубо секретные дела, а к вечеру попросили дать им охранников с несколькими аккордеонистами и сняли на весь вечер заведение Катарины. «Не трогать их, – приказал полковник Аурелиано Буэндия. – Я-то всегда знал, чего им надо». В начале декабря эта долгожданная встреча, которая, по мнению многих, грозила превратиться в нескончаемую дискуссию, была завершена в течение часа.

В накаленной солнцем гостиной, рядом с гробовым силуэтом пианолы, накрытой белым саваном, сидел полковник Аурелиано Буэндия, презревший на этот раз меловой круг, начертанный его адъютантами. Он занял кресло между своими политическими советниками и, закутавшись в шерстяной плед, молча слушал краткие предложения партийных эмиссаров. Они, во-первых, просили его отказаться от ревизии прав собственности на землю, чтобы снова заручиться поддержкой землевладельцев-либералов. Просили, во-вторых, прекратить гонения на священнослужителей, чтобы получить возможность опираться на верующих. И, наконец, просили ни в коем случае не уравнивать в правах законных и незаконнорожденных детей, дабы охранить святость домашнего очага.

– Выходит, мы сражались только за власть, – усмехнулся полковник Аурелиано Буэндия, когда закончилось перечисление.

– Это всего лишь тактические реформы, – заметил один из делегатов. – Сейчас, в войну, главное – крепко стоять на пьедестале народного большинства. А там видно будет.

Один из политических советников полковника Аурелиано Буэндии поспешил вмешаться.

– Это противоречит всякому смыслу, – сказал он. – Если предложенные вами реформы хороши, значит, хорош и нынешний режим консерваторов. Если эти реформы помогут нам укрепить народный пьедестал войны, как вы говорите, значит, нынешний режим стоит на крепком народном пьедестале. А следовательно, вывод такой: почти двадцать лет мы боролись вовсе не за чаяния народа.

Советник хотел продолжить, но полковник Аурелиано Буэндия прервал его взмахом руки.

– Не теряйте времени, доктор, – сказал он. – Главное то, что с этого момента мы боремся только за власть. – С усмешкой, не сползавшей с его губ, он взял бумаги, переданные ему на подпись делегатами, и обмакнул перо в чернила. – А если так, – подытожил он, – у нас нет никаких возражений.

Его люди не верили своим ушам.

– Простите меня, полковник, – мягко сказал полковник Херинельдо Маркес, – но это – измена.

Полковник Аурелиано Буэндия застыл с поднятой рукой и тут же обрушил на смельчака тяжелый молот своей власти.

– Сдать оружие! – приказал он.

Полковник Херинельдо Маркес встал и положил пистолет на стол.

– Отправляйтесь в казарму, – продолжал полковник Аурелиано Буэндия. – Предстанете перед революционным трибуналом.

Затем подписал декларацию и возвратил документы посланцам со словами:

– Сеньоры, вот ваши бумаги. Пусть послужат общему делу.

Спустя два дня полковник Херинельдо Маркес, обвиненный в государственной измене, был приговорен к расстрелу. Съежившись в своем гамаке, полковник Аурелиано Буэндия оставался глух к просьбам о помиловании. Накануне казни, нарушив приказ не тревожить, Урсула пришла к нему в спальню. В черном с головы до пят, с небывало торжественным видом стояла она все тр минуты своего визита.

– Я знаю, что ты расстреляешь Херинельдо, – сказала она очень спокойно, – и не могу этому помешать. Но хочу тебя предупредить: как только я увижу труп своими глазами, клянусь тебе прахом моего отца и моей матери и памятью Хосе Аркадио Буэндии, клянусь перед Господом Богом, я из-под земли тебя достану и задушу собственными руками. – Уходя из комнаты, не дожидаясь ответа, она добавила: – Именно так я поступила бы, если бы ты родился со свиным хвостом.

В ту нескончаемую ночь, когда полковник Херинельдо Маркес оживлял в памяти дни, погибшие в швейной комнате Амаранты, полковник Аурелиано Буэндия час за часом долбил твердую скорлупу своего одиночества, стараясь ее пробить. Единственные счастливые мгновения – после того далекого дня, когда отец водил его смотреть на лед, – он пережил в своей ювелирной мастерской, где делал золотых рыбок. Ему надо было тридцать два раза начинать гражданскую войну, надо было подвергать испытанию все свои договоры со смертью и, подобно свинье, вываляться в грязи славы, чтобы с почти сорокалетним опозданием понять преимущества прямодушия.

На рассвете, изнуренный тяжкими бессонными часами, за час до казни он появился в комнате, где лежала колода для пыток. «Комедия окончена, друг, – услышал полковник Херинельдо Маркес. – Вали отсюда, пока москиты тебя не сожрали». Полковник Херинельдо Маркес не мог скрыть своего презрения.

– Нет, Аурелиано, – отвечал он. – Лучше умереть, чем видеть, как ты делаешься подонком.

– И не увидишь, – сказал полковник Аурелиано Буэндия. – Натягивай сапоги и пойдем кончать с этой гнусной войной.

Сказав это, он не знал, что легче начать войну, чем ее кончить. Ему понадобился почти год кровавых расправ, чтобы принудить правительство заключить мир на условиях, приемлемых для мятежников, и еще один год, чтобы убедить своих сторонников в необходимости принять эти условия. Он прибегал к невообразимо жестоким мерам для подавления восстаний своих собственных офицеров, которые отказывались праздновать купленную победу, и даже призвал на помощь неприятельские силы, чтобы сломить их сопротивление.

Никогда он не воевал с таким азартом, как теперь. Уверенность в том, что наконец-то он воюет за свое собственное освобождение, а не за абстрактные идеалы, за лозунги, которые политикам при желании ничего не стоит вывернуть наизнанку, наполняла его безудержным энтузиазмом. Полковник Херинельдо Маркес, сражавшийся за проигрыш столь же убедительно и самоотверженно, сколь раньше боролся за победу, осуждал его безрассудную храбрость. «Будь спокоен, – ухмылялся тот. – Умереть труднее, чем кажется». В этом случае так и было. Уверенность в том, что его день еще не пришел, наделяла полковника Аурелиано Буэндию таинственным иммунитетом, бессмертием, которому не вышел срок и которое сопутствовало ему в перипетиях войны и позволило наконец завоевать поражение, оказавшееся намного более тяжелым, намного более кровавым и дорогостоящим, чем все победы.

За двадцать лет военных действий полковник Аурелиано Буэндия не раз бывал дома, но эти мимолетные наезды, постоянное сопровождение охранников, ореол легендарности, ослеплявший даже Урсулу, превратили его под конец в совсем чужого человека. Когда в последний раз он посетил Макондо и снял дом для своих трех сожительниц, то собственный дом посещал лишь время от времени, когда находил время прийти пообедать. Ремедиос Прекрасная и близнецы, родившиеся в разгар войны, его почти не знали. Амаранта никак не могла сопоставить образ брата, который в юности мастерил золотых рыбок, с образом легендарного полководца, который отгородился от всего человечества трехметровым пространством. Но как только стало известно о скором перемирии и возможном возвращении полковника, возвращении обычного человека, которого можно просто любить, сердца домашних не только очнулись от многолетней летаргии, но воспылали при виде его с неожиданной силой.

– Наконец-то, – сказала Урсула, – в доме опять будет мужчина.

Амаранта первой поняла, что он для них потерян безвозвратно. За неделю до перемирия, когда полковник Аурелиано Буэндия пришел домой без охраны, лишь с двумя босоногими ординарцами, свалившими в галерее сундук со стихами и сбрую от мула – остатки его прежнего королевского снаряжения, – она увидела брата из своей швейной комнаты и окликнула. Он, кажется, не сразу узнал ее.

– Я Амаранта, – кивнула она приветливо, радуясь его приезду и подняв руку с черной повязкой. – Гляди-ка.

Полковник Аурелиано Буэндия растянул губы в той же улыбке, какой приветствовал ее, увидев с этой повязкой тем далеким утром, когда в Макондо его вели на расстрел.

– Какой ужас, – сказал он. – Время просто бежит.

У дома был выставлен караул из правительственных войск. Полковник Аурелиано Буэндия вернулся униженный, опозоренный, обвиняемый в том, что сделал войну чрезмерно жестокой лишь затем, чтобы побольше взять за ее прекращение. Его знобило от лихорадки и от холода, и под мышками снова налились волдыри. За полгода до этого дня, еще только услышав о перемирии, Урсула открыла и подмела его спальню, затеплила в углах плошки с благовонным миром, надеясь, что он возвратится тихо встретить старость в компании замшелых кукол Ремедиос. Однако последними двумя годами он сполна рассчитался с жизнью, в том числе и за постарение. Проходя мимо своей ювелирной мастерской, которую Урсула прибрала с особым усердием, он даже не заметил, что в замочную скважину вставлен ключ. Он не обратил никакого внимания на незначительный, но навевающий грусть ущерб, который время нанесло дому и который показался бы любому человеку, столь долго отсутствовавшему, но хранившему в душе воспоминания, просто бедствием. Его не трогали ни отвалившиеся от стен куски штукатурки, ни грязная вата паутин в углах, ни чахлые бегонии, ни источенные термитами балки, ни позелененные мхом оконные переплеты, ни другие ранящие душу капканы, расставленные ностальгией. Он сел в галерее, завернувшись в плащ и не сняв сапоги, словно ждал, когда пройдет непогода и кончится дождь, весь день поливавший бегонии. И Урсула поняла, что он в доме долго не задержится. «Если не война его возьмет, – подумалось ей, – возьмет смерть». Мысль была настолько ясной, настолько четкой, что показалась пророческой.

Этим же вечером, за ужином, один из близнецов, предполагаемый Аурелиано Второй, разломил хлеб правой рукой и зачерпнул суп левой. Его брат-близнец, предполагаемый Хосе Аркадио Второй, разломил хлеб левой рукой и зачерпнул суп правой. Координация действий

была так точна, что они казались не двумя братьями, сидящими напротив друг друга, а комбинацией зеркал. Спектакль, который стали разыгрывать близнецы с тех пор, как осознали свое абсолютное сходство, на этот раз был дан ими в честь вновь прибывшего. Но полковник Аурелиано Буэндия ничего не заметил. Он был так от всего далек, что даже взгляда не бросил на Ремедиос Прекрасную, которая прошла мимо совсем голой. Только Урсула отважилась вывести его из состояния полной прострации.

– Если тебе снова надо уйти, – сказала она ему за ужином, – то по крайней мере запомни, как мы выглядели сегодня вечером.

Тогда полковник Аурелиано Буэндия без всякого удивления отметил, что Урсула – единственное человеческое существо, понявшее, что он конченый человек, и впервые за многие годы решился посмотреть ей в лицо. Морщинистая кожа, гнилые зубы, жидкие седые волосы и недоумевающий взгляд. Глаза матери вызвали у него в памяти ее образ из тех очень далеких времен, когда он однажды предсказал, что горшок с кипящей похлебкой вот-вот упадет со стола, и горшок в самом деле разбился. Вмиг стали видны ему все царапины, рубцы, следы от ударов, раны и шрамы, оставленные на ее лице полувековой нелегкой жизнью, и он признался себе, что все эти ее переживания не вызывают в нем даже сочувствия. Он сделал последнюю попытку разыскать в своем сердце место, где скисают все его добрые чувства, и не нашел. Раньше его все-таки мучила совесть, когда, бывало, собственная кожа вдруг запахнет Урсулой и его начнут одолевать думы о ней. Но все это похоронила война. Даже Ремедиос, его жена, была теперь полустертым образом какой-то девочки, годившейся ему в дочери. Бесчисленные женщины, которых он встречал на просторах любви и которые разнесли его семя по всему побережью, не оставили и следа в его душе. Большинство из них входили к нему в потемках и уходили до рассвета и на следующий день напоминали о себе лишь ощущением легкой разбитости. Единственной его привязанностью, которую не взяли ни время, ни война, был брат Хосе Аркадио, да и то времен их детства, когда их сближало сообщничество, а не братская любовь.

– Простите, – ответил он извинением на замечание Урсулы. – Война все вытравила во мне.

В последующие дни он занимался тем, что заметал следы своего пребывания на грешной земле. В почти оголенной ювелирной мастерской оставил только самые необходимые предметы, ничего о нем не говорящие, раздарил всю одежду ординарцам и закопал оружие в патио с таким старанием, словно приносил покаяние, как его отец, когда закапывал копье, убившее Пруденсио Агиляра. Сохранил только пистолет с одной-единственной пулей. Урсула ничему не препятствовала. Один лишь раз она его остановила, когда он собрался разбить дагерротип – изображение Ремедиос, – висевший в гостиной и озарявшийся вечным светильником. «Ее портретуже давно не принадлежит тебе, – сказала она. – Это семейная реликвия». Накануне объявления о перемирии, когда в доме уже не осталось ни одного предмета, напоминавшего о нем, полковник Аурелиано Буэндия притащил в пекарню сундучок со своими стихами как раз в ту минуту, когда Санта София де ла Пьедад собралась затопить печь.

– Разожги дрова вот этим, – сказал он ей, протягивая первый свиток пожелтевших бумаг. – Огонь быстро схватит такую гниль.

У Санта Софии де ла Пьедад, молчаливой, со всеми согласной, уступавшей даже собственным сыновьям, почему-то рука не поднялась на свиток.

– Важные бумаги, – сказала она.

– Вовсе нет, – сказал полковник. – Такое пишут только для себя.

– Тогда, – сказала она, – вы сами их и жгите.

Он так и сделал, да еще расколол топором сундучок в щепки и бросил их в огонь. Несколькими часами раньше к нему заходила Пилар Тернера. Не видавший ее многие годы полковник Аурелиано Буэндия поразился тому, как она постарела и растолстела и до чего потускнел ее смех, поразился и тому, как проницательно она читает карты. «Не разевай рот», – сказала Пилар Тернера ему и теперь, а полковник подумал, что она сказала эти же слова в прошлый раз, когда он был полководцем в зените славы, и пророчество оказалось поразительно вещим и предопределило его дальнейшую судьбу. Поэтому, после того как его личный медик вскрыл ему волдыри под мышками, он с самым безразличным видом попросил врача показать точное местонахождение сердца. Тот приложил ухо к его груди и нарисовал на ней круг помазком, влажным от йода.

Вторник – день перемирия – зачинался промозглым и дождливым. Полковник Аурелиано Буэндия пришел в кухню около пяти утра и выпил свой вечный кофе без сахара.

– В такой день, как этот, ты явился на свет, – сказала Урсула. – И всех напугал своими широко раскрытыми глазами.

Он не повернул головы и напряженно ловил звуки, долетавшие из казарм, трубные сигналы и голоса команды, пронзавшие тихий рассвет.

Хотя, казалось, он за долгие годы войны должен был ко всему привыкнуть, у него вдруг так же налились свинцом ноги и засвербила спина, как в юности при первой встрече с обнаженной женщиной. И он невольно подумал, попав, наконец, в западню ностальгии, что если бы женился на ней, не знал бы ни войны, ни славы, стал бы безымянным ремесленником, счастливым домашним животным. Эта запоздалая потрясающая картина, никогда ранее ему не являвшаяся, испортила завтрак. Когда в семь утра за ним зашел полковник Херинельдо Маркес с группой мятежных офицеров, он выглядел на редкость мрачным, задумчивым и одиноким. Урсула пыталась накинуть ему на плечи новый плащ.

– Что подумает правительство? – сказала она ему. – Скажут, ты сдался, потому как уже не на что и плащ купить.

Но он не взял. Уже в дверях, увидев струи дождя, напялил на голову старую войлочную шляпу Хосе Аркадио Буэндии.

– Аурелиано, – сказала ему тогда Урсула, – обещай мне, если тебе будет худо, вспомни о своей матери.

Он слабо улыбнулся, поднял руку, вытянув пальцы, и, не сказав ни слова, вышел из дому навстречу воплям, оскорблениям, проклятиям, которые неслись ему вслед до городских ворот. Урсула заперла дверь на засов, полная решимости не отпирать ее до конца своих дней. «Мы тут сгнием заживо, – шептала она, – мы обратимся в тлен в этом доме без хозяина, но не доставим этому жалкому городишке радости видеть наши слезы». Она все утро копалась в самых укромных местах, стараясь отыскать хоть что-то, напоминающее о сыне, но ничего не нашла.

Церемония перемирия состоялась в двадцати километрах от Макондо под сенью огромного дерева-сейбы, вокруг которого впоследствии вырастет город Неерландия. Представителям правительства и партии, а также посланцам мятежников, сложивших оружие, прислуживала суетливая стайка одетых в белое монастырских послушниц, которые казались голубками, вспугнутыми дождем. Полковник Аурелиано Буэндия приехал на понуром муле. Небритый, мучимый гнойными волдырями больше, чем крушением своих

ожиданий, ибо его давно покинула всякая надежда и позади осталась не только слава, но и сожаление о былой славе. По его личному распоряжению не было ни музыки, ни петард, ни колокольного звона, ни ликования, ни вообще каких-либо проявлений радости, дабы не нарушалась горестная атмосфера происходящего. Бродячий фотограф, сделавший единственный снимок, который мог сохранить для потомства образ полковника Аурелиано Буэндии, был вынужден разбить стеклянный негатив.

Процедура длилась почти столько времени, сколько требовалось, чтобы подписать акт о перемирии. За деревянным столом в центре видавшего виды циркового шатра сидели представители правительства и офицеры, оставшиеся верными полковнику Аурелиано Буэндии. Перед тем как подписать документ, личный представитель президента Республики начал было вслух зачитывать акт о капитуляции, но полковник Аурелиано Буэндия прервал его.

– Не будем тратить время на формальности, – сказал он и собрался поставить свою подпись, не читая бумаг. Голос одного из его офицеров разорвал нависшую над столом тяжелую тишину.

– Полковник, – сказал офицер, – будьте добры, не подписывайте это первым.

Полковник Аурелиано Буэндия уступил просьбе. После того как документ совершил за столом полный круг в такой глубокой тишине, что по скрипу пера можно было распознать автографы, первое место в списке еще оставалось пустым. Полковник Аурелиано Буэндия был готов поставить там свое имя.

– Полковник, – сказал кто-то из остальных его офицеров, – еще не поздно спасти свою честь.

Не моргнув глазом, полковник Аурелиано Буэндия подписал первый экземпляр. Он не успел подписать последний экземпляр, как в дверях шатра появился один из мятежных полковников, держа под уздцы мула с двумя висящими по бокам сундуками. Несмотря на крайнюю молодость, прибывший офицер имел вид человека покорного и бесстрастного. Это был казначей мятежного округа Макондо. Юнец сделал тяжелый шестидневный переход с полумертвым от голода мулом, чтобы поспеть к церемонии перемирия. С неподражаемым благоговением он снял сундуки, раскрыл их и стал выкладывать на стол один за другим семьдесят два золотых кирпича. О существовании этого богатства даже не вспомнили. В неразберихе последних месяцев, когда распалось главное командование, а революция выродилась в кровавое соперничество главарей, никто и ни за что не отвечал. Золото революции, отлитое в кирпичики, которые затем были вываляны в глине и обожжены в печи, оставалось бесхозным. Полковник Аурелиано Буэндия велел включить семьдесят два кирпича в инвентарную опись при акте о капитуляции и скрепил документ своей подписью без всяких обсуждений. Вконец обессиленный казначей продолжал стоять перед ним навытяжку и глядеть ему в лицо своими ясными глазами цвета патоки.

– Чего еще? – спросил его полковник Аурелиано Буэндия. Юный офицер стиснул зубы.

– Расписку, – сказал он.

Полковник Аурелиано Буэндия собственноручно написал и протянул ему бумажку. Выпил стакан лимонада и отломил кусок бисквита, которым угощали послушницы, а затем отправился в палатку, которую ему поставили на всякий случай. Там он снял рубашку, сел на край койки и в три с четвертью пополудни разрядил пистолет в круг, нарисованный йодом у него на груди его личным медиком. В это же самое время в Макондо Урсула подошла к печи и открыла крышку на кастрюле с молоком, недоумевая, почему молоко так долго не закипает.

Кастрюля кишела червями.

– Аурелиано убили! – вскрикнула она.

Затем по привычке, привитой одиночеством, взглянула в патио и увидела Хосе Аркадио Буэндию, насквозь промокшего от дождя и гораздо более дряхлого, чем тогда, когда он умер. «Аурелиано убил предатель, – объяснила ему Урсула, – и никто над ним не сжалился, не закрыл ему глаза». К ночи она увидела сквозь слезы, как быстрые и яркие оранжевые круги, подобно зарницам, полосуют небо, и подумала, что это знамение смерти. Она еще рыдала под каштаном, уткнувшись в колени мужа, когда принесли полковника Аурелиано Буэндию, завернутого в жесткий от подсохшей крови плащ и яростно таращившего глаза.

Он был вне опасности. Пуля так удачно прошла навылет, что врач смог сунуть в отверстие на груди и вытащить из спины шнурок, пропитанный йодом. «Такого мне еще не приходилось делать, – сказал он с довольным видом. – Свинец прошел, как по маслу, не задев ни одного жизненно важного центра». Полковник Аурелиано Буэндия увидел вокруг себя скорбных послушниц, тянувших панихидные псалмы за упокой его души, и пожалел, что не выстрелил себе в горло, как хотел раньше, и внял предостережению Пилар Тернеры: «Не разевай рот».

– Если бы я еще имел власть, – сказал он медику, – я расстрелял бы вас на месте. Не за то, что спасли мне жизнь, а за то, что сделали меня посмешищем.

Неудавшееся самоубийство за считанные часы вернуло ему былой престиж. Те же люди, что распускали слухи о том, будто он продал войну за роскошные апартаменты со стенами из золотых кирпичей, увидели в попытке убить себя геройский поступок и объявили его мучеником. Позже, когда он отказался от ордена Особых Заслуг, пожалованного ему президентом Республики, даже его самые неуемные соперники повалили к нему толпой, прося забыть про перемирие и начать новую войну. В доме росла гора покаянных даров. Растроганный, хотя и не сразу, мощной поддержкой своих старых товарищей по оружию, полковник Аурелиано Буэндия не отрицал возможности пойти им навстречу. Более того, он, бывало, сам просто бредил новой войной, и полковник Херинельдо Маркес подумывал, что ему не хватает лишь повода для новой резни. И повод в самом деле представился, когда президент Республики отказал в военных пенсиях старым участникам войны – либералам и консерваторам, – пока каждый претендент не пройдет особую комиссию и пока закон о назначении таких пенсий не будет принят конгрессом. «Это грабеж! – рвал и метал полковник Аурелиано Буэндия. – Скорее в гроб ляжешь, чем подачку дождешься!» В первый раз за время выздоровления он встал с кресла-качалки, купленного Урсулой, и зашагал по спальне, диктуя ультиматум президенту Республики. В телеграмме, которая так никогда и не была обнародована, он обвинял власти в первом нарушении Неерландского пакта и угрожал развязать жесточайшую войну, если назначение военных пенсий не состоится в течение двух недель. Его действия были столь оправданны, что их одобряли даже старые воины-консерваторы. Но единственным ответом правительства было усиление военной охраны, выставленной у дверей его дома под предлогом защиты от бандитов, и запрещение каких бы то ни было визитов. Подобные меры были приняты в стране по отношению ко всем поднадзорным каудильо. Эта предосторожность была настолько действенна, своевременна и эффективна, что два месяца спустя после перемирия, когда полковник Аурелиано Буэндия совсем поправился, его самые верные сторонники были уже на том свете, или в изгнании, или стали незаменимой частью правительственной администрации.

Полковник Аурелиано Буэндия вышел из своей комнаты в декабре и, кинув взгляд на

дом, махнул на войну рукой. С энергией, немыслимо кипучей для своих лет, Урсула снова омолодила свое жилище. «Пусть знают, кто я такая, – сказала она, услышав, что ее сын будет жить. – Самым красивым, самым гостеприимным будет этот сумасшедший дом». Она распорядилась вымыть полы и покрасить стены, расчистить сад и вырастить новые цветы, сменила мебель, распахнула двери и окна, чтобы и в спальни ворвался ослепительный свет лета. Сократила сроки несчетных догоняющих друг друга трауров и сама вместо старой строгой одежды стала носить светлые платья. Музыка пианолы снова наполнила дом весельем. Услышав ее, Амаранта вспомнила о Пьетро Креспи, о его сумеречных гарденияx и о его лавандовом благоухании, и в глубине ее увядшего сердца расцвела досада – незлобивая, утихомиренная временем. Однажды надо было навести порядок в гостиной, и Урсула обратилась за помощью к солдатам, карауливщим дом. Молодой начальник стражи дал им разрешение. День ото дня Урсула все больше загружала их разными поручениями. И кормила, дарила им одежду и обувь, учила читать и писать. Когда власти сняли охрану, один из солдат остался в доме и прислуживал там еще долгие годы. К утру на Новый год молодой начальник стражи, доведенный до отчаяния отказами Ремедиос Прекрасной, умер от любви под ее окнами.

Много лет спустя, на смертном одре, Аурелиано Второй вспомнит тот дождливый июньский день, когда он вошел в спальню взглянуть на своего первенца. Хотя ребенок был хилым и плаксивым, будто и не из рода Буэндия, отец сразу, без всяких раздумий, дал ему имя.

– Он будет зваться Хосе Аркадио.

Фернанда дель Карпио, красивейшая женщина, которую Аурелиано Второй взял в жены год назад, согласно кивнула. Урсула же, напротив, не могла скрыть неясную тревогу. Упорная перетасовка одних и тех же имен на протяжении всей долгой истории семейства позволила, как ей казалось, сделать вполне определенные выводы. Если все Аурелиано были нелюдимы, но очень сметливы, то все Хосе Аркадио были порывисты и решительны, но отмечены печатью трагизма. Классификации не поддавались только близнецы Хосе Аркадио Второй и Аурелиано Второй. Братья были в детстве так проказливы и так похожи, что даже сама Сайта София де ла Пьедад не могла различить их. В день крестин Амаранта надела каждому на запястье именной браслет, а потом обряжала их в одежду разного цвета, меченную их инициалами, но когда они стали ходить в школу, то часто менялись одеждой и браслетами и называли себя всякий раз по-разному. Учитель Мельчор Эскалона, привыкший узнавать Хосе Аркадио Второго по зеленой рубашке, стал в тупик, обнаружив у него браслет Аурелиано Второго, притом что другой называл себя Аурелиано Вторым и носил белую рубашку, хотя браслет у него был Хосе Аркадио Второго. С тех пор никто не мог с уверенностью сказать – кто из них кто. Даже когда они выросли и жизнь внесла в их облик определенные поправки, Урсулу продолжали одолевать сомнения – не запутались ли они сами в своей головоломной игре с переодеванием и не перестали ли быть самими собой. Вплоть до отрочества близнецы были как два синхронных механизма. Они просыпались в одно и то же время, вместе бежали по нужде, болели одинаковыми болезнями и даже видели те же самые сны. Домашние были уверены, что братья копируют друг друга из баловства, но в один прекрасный день обнаружилась истина: Санта София де ла Пьедад дала одному лимонного сока с водой, и не успел он пригубить стакан, как другой сказал, что в напитке нет сахара. Санта София де ла Пьедад, которая в самом деле забыла положить сахар, рассказала об этом Урсуле. «Они все

такие, – ответила Урсула, ничуть не удивившись. – Ненормальные от рождения». Со временем путаница окончательно возобладала. Тот, кто после игр с переодеванием заполучил имя Аурелиано Второй, стал здоровым парнем, как дед Хосе Аркадио Буэндия, а тот, кто остался с именем Хосе Аркадио Второй, вырос тощим, как полковник Аурелиано Буэндия, и роднил их только одинокий вид, отличавший всех членов семьи. Возможно, такое несоответствие имен, комплекций и характеров побудило Урсулу уверовать в то, что в детстве близнецы, всех запутав, запутались сами.

Впечатляющая разница между братьями проявилась в самый разгар войны, когда Хосе Аркадио Второй стал упрашивать полковника Херинельдо Маркеса позволить ему посмотреть на расстрел. Несмотря на запрет Урсулы, он добился своего. Аурелиано Второй, напротив, содрогался при одной мысли увидеть казнь. И предпочитал сидеть дома. Двенадцати лет он спросил Урсулу, что находится в запретной комнате. «Бумаги, – ответила она. – Книги Мелькиадеса и всякие сочинения, которые он писал в последние годы жизни». Ответ не удовлетворил подростка, а только разжег любопытство. Он так приставал, так пылко обещал ничего не испортить, что Урсула дала ему ключ. В комнату никто не входил с тех пор, как оттуда вынесли тело Мелькиадеса и на дверь повесили замок, со временем насквозь проржавевший. Но когда Аурелиано Второй распахнул ставни, комнату залил привычный свет, который, казалось, и не исчезал отсюда и всегда тут был, а в углах – ни паутины, ни грязи, порядок и чистота, такой порядок и такая чистота, каких не видели в день похорон, и даже чернила не высохли в чернильнице, а ржавчина не съела блеск металла и не остыла печь, на которой Хосе Аркадио Буэндия гнал пары ртути. На полках стояли книги в хрупких и бледных, как из дубленой человеческой кожи, переплетах и много совсем свежих рукописей. Помещение не открывалось долгие годы, но воздух здесь был свежее, чем в остальных комнатах. Ни одна пылинка не осела здесь и тогда, когда через месяц Урсула вошла в комнату с ведром воды и щеткой, чтобы вытереть пол, но прибираться не пришлось. Аурелиано Второй сидел за книгой, глотая страницы. Хотя книга была без обложки и без названия, он не мог оторваться от рассказа про женщину, которая садилась за стол и ела зернышки риса, подцепляя каждое булавкой, а также от рассказа про рыбака, который попросил соседа одолжить ему грузило для сети, а потом выудил рыбу с бриллиантом в желудке и отдал ее в благодарность соседу, и от рассказа про лампу, исполняющую желания, и про ковер-самолет. Раскрасневшись от волнения, он спросил Урсулу, взаправду ли бывает такое, и она ответила, да, такое случалось, много-много лет тому назад цыгане привозили в Макондо и чудесные лампы, и ковры-самолеты.

– Дело в том, – вздохнула она, – что наш мир потихоньку кончается и этих чудес уже нет.

Прочитав книгу, многие рассказы в которой обрывались на самом интересном месте, потому что не хватало страниц, Аурелиано Второй воспылал желанием расшифровать рукописи. Это оказалось делом для него непосильным. Буквы напоминали рубашки и штаны, развешанные сушиться на проволоке, и больше походили на музыкальную грамоту, чем на письмо. Одним жарким полднем он, копаясь в рукописях, почувствовал, что в комнате кто-то есть. Возле сверкающего солнцем окна сидел, положив руки на колени, Мелькиадес. Он выглядел лет на сорок, не старше. И был в том же самом допотопном жилете и в широкополой, черной, как вороново крыло, шляпе, из-под которой с взопревшей головы сползали на бледные виски капли жирного пота, как в тот день, когда однажды в детстве на него смотрели Аурелиано и Хосе Аркадио. Аурелиано Второй его тотчас узнал, потому что это передававшееся по наследству воспоминание досталось ему от деда.

– Здравствуйте, – сказал Аурелиано Второй.

– Здравствуй, мальчик, – сказал Мелькиадес.

С тех пор в течение ряда лет они виделись почти каждый день, Мелькиадес рассказывал ему о людях и землях, хотел влить в него свою древнюю мудрость, но дать ключ к загадке рукописей отказался. «Никто не познает их смысла, пока не пройдет ровно сто лет», – сказал он. Аурелиано Второй навсегда сохранил тайну их встреч. Однажды он со страхом подумал, что его сокровенному миру пришел конец, когда Урсула вошла в комнату, где сидел Мелькиадес. Но она его не увидела.

– С кем это ты разговариваешь? – спросила она.

– Ни с кем, – сказал Аурелиано Второй.

– Вот так и твой прадед, – сказала Урсула. – Он тоже всегда сам с собой разговаривал.

Хосе Аркадио Второму удалось между тем свое намерение исполнить: он увидел расстрел. Всю жизнь ему будет помниться мертвенно-белое пламя залпа из шести винтовок, грохот эха, раздробленного горами, и грустная улыбка и изумленные глаза осужденного, который стоял и никак не падал, хотя рубаха была уже залита кровью, и продолжал улыбаться даже тогда, когда его отвязали от столба и запихнули в ящик с известью. «Он живой, – подумалось мальчику. – Его живьем закопают». Зрелище так потрясло Хосе Аркадио Второго, что он с тех пор возненавидел и военное дело, и войну, и не из-за расстрелов, а из-за жуткого обычая хоронить расстрелянных живыми. Никто не знал, с каких пор он начал звонить в колокола, прислуживать на мессе падре Антонио Исабелю, преемнику Балбеса, и кормить бойцовых петухов в патио при доме священника. Когда полковник Херинельдо Маркес узнал об этом, он сурово отчитал Хосе Аркадио Второго за приверженность занятиям, которые либералы считают презренными. «Дело в том, – отвечал подросток, – что из меня, кажется, вышел консерватор». Он считал, что миропонимание предначертано небесами. Полковник Херинельдо Маркес в гневе рассказал обо всем Урсуле.

– Пусть, – спокойно сказала она. – Если он станет священником, Господь Бог, может быть, смилуется над нашим домом.

Вскоре стало известно, что падре Антонио Исабель готовит Хосе Аркадио Второго к первому причастию. Падре, подстригая петухам воротничок на шее, знакомил юношу с катехизисом. Объяснял ему на простых примерах, когда они вместе рассаживали кур-несушек по местам, почему Бог на второй день сотворения мира решил, что цыплята будут вылупливаться из яиц. Уже в ту пору у пастыря Божьего стали проявляться признаки старческого слабоумия, заставившего его годы спустя сказать, что, наверное, дьявол выиграл противоборство с Богом и не кто-нибудь, а нечистый восседает на небесном троне, скрывая свою истинную сущность, дабы ловить в свои тенета болтунов и нерадивых. Вдохновленный бесстрашием своего наставника, Хосе Аркадио Второй за короткое время так поднаторел в теологических диспутах, что мог обвести вокруг пальца самого дьявола, и к тому же освоил все хитрости петушиных боев. Амаранта сшила ему полотняный костюм с воротником, купила галстук и пару светлых ботинок, а на ленте для свечи к первому причастию золотыми буквами написала его имя. За два вечера до причастия падре Антонио Исабель заперся с юнцом в исповедальне, чтобы отпустить ему грехи – в строгом соответствии с церковным вопросником. Перечень вопросов был так велик, что старый священник, привыкший ложиться спать в шесть вечера, задремал в кресле задолго до конца исповеди. Некоторые вопросы были для Хосе Аркадио Второго настоящим откровением. Его не удивило, когда падре спросил, не приходилось ли ему заниматься дурными делами с женщинами, и он

честно ответил: «Нет», но вопрос – не совокуплялся ли он с животными, заставил его сильно призадуматься. В первую пятницу мая он причастился, но любопытство разбирало его. Не утерпев, юнец задал вопрос Петронио, заморышу-пономарю, жившему в звоннице и, как говорили, питавшемуся летучими мышами, и Петронио сказал:

– Есть такие беспутные христиане, которые блудят с ослицами.

Хосе Аркадио Второй проявил редкую любознательность, расспрашивал с таким интересом, что Петронио потерял терпение.

– Я сам пойду сегодня ночью, – признался он. – Если пообещаешь молчать, возьму тебя в следующий вторник с собой.

Во вторник Петронио действительно спустился с башни вниз с деревянной скамеечкой, предназначение которой до сих пор было неизвестно, и повел Хосе Аркадио Второго в ближайший загон. Юноша так пристрастился к этим ночным вылазкам, что прошло порядочно времени, прежде чем его увидели в заведении Катарины. С утра до вечера он готовил петухов к боям.

– Убери отсюда этих птиц, – приказала Урсула, когда он в первый раз явился в дом со своими пестрыми красавцами. – Петухи уже принесли нашему дому большие беды, а теперь ты этих сюда притащил.

Хосе Аркадио Второй унес петухов без возражений, но продолжал дрессировать и холить их у Пилар Тернеры, его бабки, которая предоставила в его распоряжение весь дом, лишь бы внук был при ней. Вскоре он блеснул на петушиных боях таким мастерством, приобретенным у падре Антонио Исабеля, что стал зарабатывать массу денег, которых ему хватало не только на разведение пернатых, но и для удовлетворения своих мужских потребностей. Урсула в ту пору часто сравнивала его с братом и никак не могла взять в толк, почему близнецы, до жути похожие в детстве, стали совсем разными людьми. Впрочем, ей не пришлось долго удивляться, ибо вскоре и Аурелиано Второй стал проявлять склонность к лености и мотовству. Пока он торчал день-деньской в комнате Мелькиадеса, его занимали собственные мысли, как полковника Аурелиано Буэндию в молодости. Но незадолго до Неерландского перемирия случайное событие положило конец его затворничеству и окунуло в житейское море. Одна молодая женщина, продававшая лотерейные билеты, сулившие счастливцу аккордеон, поздоровалась с ним как с очень близким приятелем. Аурелиано Второй не удивился, так как его часто принимали за брата, Хосе Аркадио Второго. Но он не стал выводить ее из заблуждения, даже тогда, когда девушка попыталась разжалобить его всхлипываниями, и тогда, когда ей удалось завлечь его к себе в комнату. С этой первой встречи она так его полюбила, что смошенничала с билетами и аккордеон достался ему. Недели через две Аурелиано Второй понял, что девушка спит попеременно с ним и с его братом, принимая их за одного и того же мужчину, но ситуацию не прояснил, а, напротив, постарался скрыть истинное положение вещей и все оставить как было. В комнату Мелькиадеса он больше не возвращался. Все дни проводил в патио, пытаясь по слуху играть на аккордеоне, несмотря на протесты Урсулы, которая в те времена запретила в доме всякую музыку из-за трауров и вообще с презрением относилась к аккордеону, как к инструменту бродяг, наследников Франсиско Человека. Тем не менее Аурелиано Второй стал прекрасным аккордеонистом и продолжал играть после женитьбы и рождения детей и считался одним из самых уважаемых граждан Макондо.

Почти два месяца он делил женщину со своим братом. Караулил его, расстраивал его планы, а когда убеждался, что Хосе Аркадио Второй не пойдет ночью к их общей

любовнице, сам шел к ней. Однажды он обнаружил, что заразился. Спустя два дня встретил в купальне брата, который стоял, уткнувшись лбом в столб, обливаясь потом, и рыдал навзрыд, и все понял. Брат признался, что женщина выставила его за дверь, потому что он наградил ее, как она сказала, скверной болезнью. И рассказал также, как его лечит Пилар Тернера. Аурелиано Второй втихомолку тоже стал делать горячие примочки из марганцовки и принимать мочегонные настои, и оба порознь вылечились в течение трех месяцев от тайных страданий. Хосе Аркадио Второй больше не приходил к женщине. Аурелиано Второй вымолил себе прощение и не покидал ее до самой смерти.

Ее звали Петра Котес. В Макондо она приехала в годы войны со своим случайным супругом, который жил продажей лотерейных билетов, а когда он умер, она тоже стала продавать билеты.

Молодая опрятная мулатка с миндалевидными желтыми глазами, придававшими ей вид свирепой пантеры, на самом деле была женщиной очень доброй и просто созданной для любви. Когда Урсула узнала, что Хосе Аркадио Второй стал петушатником, а Аурелиано Второй веселит аккордеоном друзей своей сожительницы на шумных вечеринках, она думала, что рехнется от стыда. Словно бы оба брата унаследовали только семейные пороки и не могут похвастать ни одной семейной добродетелью. И решила, что больше никто не будет зваться Аурелиано или Хосе Аркадио. Однако, когда Аурелиано Второй выбрал имя для своего первенца, она не стала ему противоречить.

– Хорошо, – сказала Урсула, – но с одним условием: воспитывать младенца буду я сама.

Ей было уже лет сто, и она почти ослепла от бельм на обоих глазах, но сохранила отменное здоровье, силу характера и ясность ума. Никто лучше нее не смог бы воспитать настоящего человека, который поднял бы престиж семьи и навек отказался бы даже слышать о войне, о бойцовых петухах, о продажных женщинах и о бредовых затеях – четырех напастях, которые, по мнению Урсулы, ведут их семью к вырождению.

– Этот ребенок будет священником, – торжественно объявила она. – И если Бог продлит мне жизнь, он станет Папой.

Ее слова были встречены громким хохотом, и не только в спальне, а во всем доме, где пировали буйные дружки Аурелиано Второго. Война, давно попавшая на свалку дурных воспоминаний, вдруг напомнила о себе выстрелами бутылок шампанского.

– За здоровье Папы! – провозгласил Аурелиано Второй.

Все хором подхватили тост. Хозяин дома заиграл на аккордеоне, в небе рвались петарды и гремели барабаны, забавляя народ. Под утро гости, упившиеся шампанским, прирезали шесть коров и вытащили их из загона на потребу толпе. Никого это не поразило. С тех пор как Аурелиано Второй стал хозяйничать в доме, подобные пиршества устраивались нередко и по менее значительным поводам, чем рождение Папы Римского. За несколько лет без всяких усилий, благодаря редкому везению – его скот и птица плодились с невиданной быстротой, – Аурелиано Второй стал одним из богатейших людей низины. Его кобылы то и дело приносили тройню, куры неслись по три раза в день, а свиньи поросились так бешено, что иначе как вмешательством нечистой силы такую неистовую плодовитость объяснить было трудно. «Копи деньги, – говорила Урсула своему безалаберному правнуку, – подобное счастье не может длиться всю жизнь». Но Аурелиано Второй ее не слушал. Чем больше шампанского он вливал в своих приятелей, тем быстрее размножалась его скотина и тем тверже он убеждался, что удачу приносят не его действия, а присутствие Петры Котес, его сожительницы, чья любовная энергия заряжает природу. Он был так уверен в ней как в

источнике своего богатства, что всегда держал Петру Котес возле своего скота и птицы, и даже когда женился и заимел детей, продолжал с ней сожительствовать с согласия Фернанды, своей жены. Крепкий, могучий, как его предки, но жизнелюбивый и обворожительный, чего о них не скажешь, Аурелиано Второй мало заботился о своих стадах. Ему было достаточно послать Петру Котес в загоны или прокатить на лошади по своим землям, как любое животное, будто помеченное ее клеймом начинало безостановочно плодить себе подобных.

Как все хорошее, что перепадало им в их долгой жизни, несметное богатство свалилось на них нежданно-негаданно. До окончания гражданских войн Петра Котес жила на доходы от своих лотерей, Аурелиано Второй умел заставить бабушку раскошелиться. Это была беспечная парочка, которая особо заботилась только о том, как бы пораньше вечером забраться в постель, даже по святым праздникам, и трясти кровать до утра. «Эта женщина – твоя погибель, – кричала Урсула правнуку, когда тот, как лунатик, неслышно возвращался домой. – Она тебя когда-нибудь совсем доконает, и будешь от боли ногами сучить с примочкой из настурции под брюхом». Хосе Аркадио Второй, со временем узнавший, что ему нашелся заместитель, не мог понять помешательства брата. В его представлении Петра Котес была женщиной самой обыкновенной – в постели не слишком ретивой и в любви совсем незатейливой. Аурелиано Второй был глух и к укорам Урсулы, и к насмешкам брата и лишь мечтал о том, чтобы подыскать занятие, которое позволило бы ему содержать дом для Петры Котес, чтобы умереть вместе с ней, на ней и под ней в одно из их сумасшедших тряских свиданий. Когда полковник Аурелиано Буэндия снова засел в своей мастерской, поддавшись наконец умиротворяющим чарам старости, Аурелиано Второй подумал, что было бы неплохо тоже заняться изготовлением золотых рыбок. Много часов провел он в душном помещении, наблюдая, как твердые пластинки металла превращались в руках полковника, который трудился с великим терпением безысходности, в золотую чешую. Это занятие показалось Аурелиано Второму таким утомительным, а перед глазами все время маячила такая жгучая Петра Котес, что через три недели его из мастерской как ветром сдуло. Именно в эту пору он принес Петре Котес кроликов для лотереи. Кролики плодились и росли с такой быстротой, что не хватало времени распродавать лотерейные билеты. Сначала Аурелиано Второй не обращал внимания на угрожающие масштабы размножения. Но однажды, когда в городке никто уже и слышать не желал о кроличьих лотереях, он проснулся ночью от крепких ударов в стену патио. «Не пугайся, – сказала Петра Котес. – Это кролики». Азартная возня животных не давала уснуть. На заре Аурелиано Второй открыл дверь и увидел патио, битком набитое кроликами, как живое зеркало, голубеющее под первыми лучами солнца. Петра Котес, умирая со смеху, не удержалась, чтобы не подшутить над ним.

– Здесь только те, что родились вчера к вечеру, – сказала она.

– Страшное дело! – сказал он. – Почему бы тебе не завести коров?

Через некоторое время, решив покончить с кроличьим засильем в патио, Петра Котес обменяла кроликов на корову, которая через два месяца принесла тройню. Таково было начало. Аурелиано Второй не успел оглянуться, как стал хозяином стад и земель, и едва успевал раздвигать стены конюшен и кишащих поросятами свинарников. Такое немыслимое благоденствие вызывало у него безудержный смех, и он выражал свое восторженное настроение самым нелепым образом. «Плодитесь, коровищи, жизнь скоротечна!» – вопил он с хохотом. Урсула ломала голову, в какие темные дела он ввязался, не ворует ли, не крадет ли скот, и всякий раз, когда он у нее на глазах раскупоривал бутылку шампанского только для

того, чтобы подставить лоб под струю пены, она кричала, что он мот и транжира. И допекла его: однажды Аурелиано Второй, проснувшись в особо радужном настроении, взял ящик с деньгами, банку клея и кисть, и, распевая во все горло старые песни Франсиско Человека, оклеил весь дом – снизу доверху, внутри и снаружи – бумажными деньгами достоинством в песо. Старое жилище Буэндии, не менявшее свой белый цвет с тех пор, как привезли пианолу, стало походить на что-то вроде пестрой мечети. Ни волнение домочадцев, ни возмущение Урсулы, ни ликование толпы, запрудившей улицу, чтобы поглазеть на действо во славу расточительства, не помешали Аурелиано Второму разукрасить стены – от фасада до кухни, включая спальные комнаты и купальни, – и рассыпать оставшиеся бумажки по всему патио.

– Теперь, – сказал он напоследок, – я думаю, никто в этом доме больше не будет толковать о деньгах.

Так и было. Урсула велела снова побелить дом после того, как от стен отодрали бумажные деньги вместе с большими кусками штукатурки. «Господи Боже, – молила она. – Сделай нас такими же бедными, какими мы были, когда начали здесь строиться, ибо никогда не расплатиться нам на том свете за наши греховные траты». Ее мольбы были услышаны, но поняты не совсем точно. Случилось так, что один рабочий, отрывавший деньги от стены, нечаянно толкнул огромную гипсовую статую святого Иосифа, кем-то оставленную в этом доме в самом конце войны, и, грохнувшись на пол, она разбилась на куски. Из ее нутра хлынул поток золотых монет. Никто не мог сказать, кому принадлежит это святое изваяние во весь человеческий рост. «Его притащили трое мужчин, – вспоминала Амаранта. – И попросили позволения оставить здесь, пока не кончится дождь, а я указала им это место, в углу, где его никто не заденет, и они его туда поставили с большой предосторожностью, и святой стоял там, и никто за ним пока не пришел». В последнее время Урсула зажигала пред святым Иосифом свечи и преклоняла колени, не подозревая, что молится не ему, а почти двумстам килограммам золота. Мысль о своем долгом, хотя и невольном идолопоклонстве совсем вывела ее из себя. Плюнув на слепящую груду золота, она набила им три холщовых мешка и где-то закопала в надежде, что рано или поздно три незнакомца явятся за ним. Много лет спустя, в тяжкие годы глубокой старости, Урсула вмешивалась в разговоры частых гостей, бывавших в доме, и спрашивала, не оставлял ли кто из них во время войны гипсового святого Иосифа на хранение, пока не пройдет дождь.

Внезапное обогащение, так волновавшее Урсулу, в те времена уже никого не удивляло. Макондо купался в сказочной роскоши. Глиняные дома с тростниковыми кровлями, построенные первыми поселенцами, были вытеснены кирпичными зданиями с деревянными ставнями и цементными полами, где не так ощущался гнет удушливой жары в два часа пополудни. От старого поселка Хосе Аркадио Буэндии остались одни пропыленные миндальные деревья, сумевшие выстоять в самое тяжкое время, да прозрачные воды реки, чьи доисторические валуны были обращены в пыль неистовыми камнедробилками Хосе Аркадио Второго, когда он вознамерился углубить речное дно для судоходства. Это была бредовая затея, сравнимая лишь с безрассудствами его прадеда, поскольку каменистое русло и многочисленные пороги так или иначе не позволяли судам дойти от городка до моря. Но Хосе Аркадио Второй неожиданно уперся, как бык, и от своего не отступал. До этого случая он не отличался взлетами фантазии. Кроме недолгой связи с Петрой Котес, он даже к женщинам не проявлял интереса. Урсула считала его самым никчемным представителем рода Буэндия, неспособным прославиться даже на петушиной стезе. И тут вдруг полковник

Аурелиано Буэндия рассказал про виденный им в войну испанский галион, который сидит на мели в двенадцати километрах от моря. Этот рассказ, долго казавшийся многим просто химерой, для Хосе Аркадио Второго стал откровением. Он пустил с молотка своих петухов, нанял рабочих, купил оборудование, и адская работа началась: дробились камни, копались каналы, сносились мели и даже выравнивалась крутизна водопадов. «Я такое уже видывала, – кричала Урсула. – Похоже, время перевернулось и все начинается сначала!» Когда Хосе Аркадио Второй решил, что по реке могут идти суда, он представил брату планы, разработанные в деталях, и последний дал ему денег для их осуществления. А затем Хосе Аркадио Второй надолго исчез. Поговаривали, что идея купить пароход – всего лишь ловкий шаг, чтобы улизнуть с деньгами брата, но однажды разлетелись слухи, что к городу подплывает странная посудина. Жители Макондо, уже и думать забывшие о великих делах Хосе Аркадио Буэндии, высыпали на берег и глазам своим не поверили, увидев, как к причалу подходит первое и последнее плавательное средство передвижения, когда-либо подходившее к городу. Это был всего-навсего бревенчатый плот, перевязанный толстыми канатами, за которые его тащили вверх по течению двадцать человек, шедшие берегом. На плоту, выпятив грудь и сверкая глазами, стоял Хосе Аркадио Второй и командовал сложной процедурой причаливания. Вместе с ним приехала компания великолепных дам, которые прятались от жгучего солнца под разноцветными зонтиками и прикрывали белые плечи шелковыми шалями, а лица у них были ярко накрашены, в волосах пестрели живые цветы, на руках сверкали золотые змеи, а во рту – бриллиантовые зубы.

Только эту бревенчатую махину смог дотащить Хосе Аркадио Второй до Макондо и только один-единственный раз, но он так и не признал своего поражения и считал содеянное подвигом и демонстрацией силы воли. Во всех своих расходах он отчитался перед братом и вскоре опять стал возиться с петухами. Единственной пользой от этого неудачного предприятия был свежий ветерок новой жизни, ворвавшийся в Макондо вместе с дамами из Франции, чье изумительное мастерство совершило переворот в традиционных методах любви и чья приверженность бытовому комфорту нанесла удар отсталому заведению Катарины и превратила заурядную улицу в настоящий базар с японскими фонариками и грустными шарманками. Именно эти дамы затеяли кровавый карнавал, на три дня погрузивший Макондо в пучину безумства и оставивший о себе добрую память только тем, что свел Аурелиано Второго с Фернандой дель Карпио. Ремедиос Прекрасная была объявлена королевой карнавала. Урсула, которую пугала волнующая красота правнучки, не смогла воспрепятствовать этому. До той поры она не выпускала девушку на улицу и только разрешала ей ходить с Амарантой к мессе, да и то заставляла прикрывать лицо черной мантильей. Не слишком благочестивые мужчины, из тех, что под видом священников произносили богопротивные речи в заведении Катарины, приходили в церковь с одним лишь намерением: увидеть, хотя бы на миг, лицо Ремедиос Прекрасной, о сказочной красоте которой ходили восторженные толки по всем селениям низины. Не скоро любопытные добились своего, и, наверное, лучше бы им ее не видеть, потому что многие из них навсегда потеряли сон. Чужестранец, побудивший ее открыть лицо, навеки лишился покоя, погряз в нищете и разврате, а годы спустя был раздавлен ночным поездом, когда задремал на рельсах. Едва он объявился в церкви в зеленом вельветовом костюме и расшитом узорами жилете, все подумали, что приехал он издалека, наверное, из какого-нибудь заморского города, прослышав о колдовской красе Ремедиос Прекрасной. Он был так хорош собой, так горделив и недоступен, выглядел таким благородным сеньором, что рядом с ним Пьетро Креспи

показался бы недоноском, и многие женщины перешептывались с ехидной усмешкой, что, мол, не ей, а ему надо прикрываться мантильей. Он ни с кем из жителей Макондо не вступал в разговоры. Приезжал как сказочный принц по воскресеньям с восходом солнца на коне с серебряными стременами и бархатной попоной и уезжал из города тотчас после мессы.

Его появление в церкви заставило всех сразу же заговорить о том, что между ним и Ремедиос Прекрасной происходит упорный и молчаливый поединок, заключено тайное пари, идет незримая тихая борьба не на жизнь и любовь, а на смерть. На шестое воскресенье кабальеро появился с желтой розой в руке. Прослушал мессу, как всегда стоя, а затем преградил путь Ремедиос Прекрасной и протянул ей эту одинокую розу. Она как ни в чем не бывало взяла цветок, словно только и ждала подношения, и на миг приоткрыла лицо, поблагодарив улыбкой. Но заезжему кабальеро и другим мужчинам, на свою беду оказавшимся рядом, этот лик навечно врезался в память.

Кабальеро с тех пор обосновался под окном Ремедиос Прекрасной с толпой музыкантов, игравших порой до рассвета. Один только Аурелиано Второй сердечно ему сочувствовал и старался отговорить от зряшной затеи. «Не тратьте даром время, – говорил он воздыхателю как-то ночью. – Женщины в этом доме упрямее ослиц». И предлагал свою дружбу, звал купаться в шампанском, пытался его убедить, что у всех женщин в роду Буэндия не сердце, а камень, но не сумел сломить упорства кабальеро. Обозленный нескончаемыми ночными концертами, полковник Аурелиано Буэндия пригрозил облегчить ему страдания пистолетом. Но ничего не действовало на обожателя Ремедиос, пока он сам не впал в уныние и не опустил руки. Из видного и достойного человека превратился в жалкого оборванца. Поговаривали, что он пренебрег властью и богатством в своей далекой стране, хотя, сказать по правде, никто не знал, откуда он родом. Он стал зачинщиком драк, завсегдатаем кабаков и просыпался поутру, ерзая на собственной тверди в заведении Катарины. Самым печальным в его драме было то, что Ремедиос Прекрасная не замечала его даже тогда, когда он являлся в церковь нарядный, как принц. Она взяла розу без всякого умысла, скорее потехи ради, – слишком забавен был поступок, и она подняла мантилью, чтобы увидеть лицо шутника, а не для того, чтобы показать свое.

В общем-то, Ремедиос Прекрасная была странным созданием, не от мира сего. Когда она стала зрелой девушкой, Санта София де ла Пьедад еще долгое время ее мыла и одевала, и даже когда ее научили все делать самой, мать следила, чтобы она не рисовала на стенах зверушек палочкой, окунаемой в свои жидкие каки. Двадцатилетняя Ремедиос не умела ни читать, ни писать, ни пользоваться столовыми приборами и разгуливала голой по дому, ибо ее натура отвергала всякого рода условности. Когда молодой начальник стражи объяснился ей в любви, она отвергла его просто потому, что ее удивила его наглость.

– Бессовестный, – сказала она Амаранте. – Говорит, из-за меня умирает, будто по моей вине у него понос.

Когда же он действительно скончался у нее под окном, Ремедиос Прекрасная утвердилась в своем изначальном мнении.

– Вот видите, – сказала она. – Совсем совесть потерял. Нашел место.

Казалось какая-то сверхъестественная озаренность позволяла ей видеть сущность явлений сквозь все то, чем они окружены. Так, по крайней мере, думал полковник Аурелиано Буэндия, который подобно многим отнюдь не считал Ремедиос Прекрасную умственно отсталой, а совсем наоборот. «Для нее словно бы и не было всех этих войн», – говорил он. Урсула, со своей стороны, благодарила Бога, что он наградил семью Буэндия таким

удивительно чистым созданием, но в то же время ее смущала красота девушки, казавшаяся ей не даром Божьим, а дьявольским наваждением, злым противовесом невинности. Поэтому она решила отгородить девушку от всего мира, уберечь от земных соблазнов, не ведая, что Ремедиос Прекрасная чуть ли не во чреве матери стала недоступна любым искушениям. Урсуле и в голову не приходило, что правнучку могут выбрать королевой красоты на этой бесовской вакханалии, называемой карнавалом. Однако Аурелиано Второй, страстно хотевший нарядиться тигром, привез падре Антонио Исабеля, чтобы тот убедил Урсулу, что карнавал вовсе не языческая гулянка, как она говорила, а традиционный католический праздник. В конце концов она уступила, хотя и скрепя сердце, и дала разрешение на коронацию.

Весть о том, что Ремедиос Буэндия будет править карнавалом, разнеслась далеко за пределы низины, туда, где даже не знали о ее дивной красоте, и вызвала беспокойство у тех, кто еще видел в ее фамилии символ беспорядков. Это была беспочвенная тревога. Если в те времена кого-нибудь и можно было считать безвредным, то прежде всего постаревшего и разочарованного полковника Аурелиано Буэндию, который мало-помалу терял всякую связь с жизнью своей страны. Он сидел, запершись в ювелирной мастерской, и единственное, что еще связывало его с внешним миром, была торговля золотыми рыбками. Один старый солдат, из тех, кто когда-то, в первые мирные дни, сторожил его дом, отправлялся продавать рыбок в города и селения низины и возвращался с грудой монет и ворохом новостей. Вот, значит, говорил он, правительство консерваторов с помощью либералов хочет так переделать календарь, чтобы каждый президент ровно век был у власти. Вот, значит, подписали наконец договор со Святым Ватиканом, и из Рима приехал кардинал в митре, усыпанной бриллиантами, и сел на трон из чистого золота, а министры-либералы преклонили колени и целовали ему перстень на пальце. Вот, значит, самая видная певичка из одной испанской труппы, посетившей столицу, была похищена из своей уборной мужчинами в масках, а на следующее воскресенье она танцевала совсем голая в летнем дворце президента Республики. «Не говори мне о политике, – обрывал его полковник. – Наше дело – продавать рыбок». Разговоры о том, что он ничего не желает знать о своей родине, потому что гребет лопатами золото в своей мастерской, вызывали смех у Урсулы. Ей, человеку на диво практичному, была непонятна коммерция полковника, который обменивал рыбок на золотые монеты, а затем превращал монеты в рыбок, и так без конца, и потому, чем больше он продавал, тем больше приходилось работать, чтобы успевать вертеться в этом заколдованном круге. По правде говоря, его интересовала не торговля, а сама работа. Столько внимания требовалось, чтобы прилаживать чешуйки, вставлять крохотные рубины в глазницы, отшлифовывать жабры и припаивать хвосты, что не выпадало ни секунды для воспоминаний о бедах войны. Столь всепоглощающе и трудоемко было его тончайшее ремесло, что за короткое время он состарился больше, чем за все годы войны, сидячая работа согнула спину, напряжение глаз ухудшило зрение, но жестокая сосредоточенность вознаградила его душевным покоем. В последний раз полковник вспомнил о войне, когда его посетила группа ветеранов – членов обеих партий, просивших поддержать их очередное ходатайство о пожизненных военных пенсиях, которые были давно обещаны, но так и не назначены. «Забудьте об этом навсегда, – сказал он им. – Вы видите, я отказался от своей пенсии, чтобы не мучиться и не ждать ее до самой смерти». Сначала полковник Херинельдо Маркес по вечерам захаживал к нему, и оба садились у входной двери и толковали о прошлом. Но Амаранта и думать не хотела о том, о чем ей напоминал вид этого уставшего человека, чья расползавшаяся лысина толкала его в

пропасть преждевременной старости, и она набрасывалась на гостя с беспричинными упреками и нападками, пока его визиты не стали совсем редкими, а потом и вовсе прекратились, ибо его разбил паралич. Мрачный, молчаливый, равнодушный к новым веяниям жизни, ворвавшимся в дом, полковник Аурелиано Буэндия едва ли понимал, что секрет спокойной старости состоит в том, чтобы войти в достойный сговор с одиночеством. Стряхнув неглубокий сон, он вставал к пяти утра, выпивал на кухне свою обычную чашку горького кофе, запирался на целый день в мастерской, а в пятом часу вечера шел по галерее, волоча за собой табурет, не замечая ни полыхающих красных роз, ни еще яркого солнца, ни вызывающе каменного лица Амаранты, в чьей тихой затаенности явственно слышалось клокотание кипящей в котелке воды, и сидел у двери на улицу, пока не начинали одолевать москиты. Порой кто-нибудь осмеливался посягнуть на его одиночество.

– Как жизнь, полковник? – спрашивал прохожий.

– Да вот, – отвечал он. – Жду своих похорон.

Так что беспокойство, вызванное тем, что в народе снова всплыла его фамилия перед коронацией Ремедиос Прекрасной, было лишено всякого основания. Многие, однако, думали иначе. Не ведая о готовой разыграться трагедии, бурлящий поток радостных людей затопил главную площадь. Карнавальное безумие достигло апогея. Аурелиано Второй, исполнивший свое заветное желание вырядиться тигром, бродил среди ошалевших от веселья людей и тихо пофыркивал, охрипнув от рычания, когда из низины вышла толпа ряженых, несших в золоченом паланкине женщину, пленительнее которой трудно было себе представить. На какой-то момент добрые граждане Макондо скинули маски, чтобы без помех поглазеть на ослепительную красавицу в короне с изумрудами и в горностаевой мантии, наделенную, казалось, настоящей королевской властью, а не просто бутафорскими правами и креповыми юбками в блестках. Не надо было быть ясновидящим, чтобы предугадать провокацию. Однако Аурелиано Второй быстро нашел выход из щекотливого положения, объявив всех вновь прибывших почетными гостями, и принял соломоново решение посадить и Ремедиос Прекрасную, и незваную королеву на один трон. До самой полуночи гости, наряженные бедуинами, предавались вместе со всеми неистовому веселью и даже еще больше оживили праздник ярким фейерверком и немыслимым акробатическим мастерством, напомнившим о трюкачестве цыган. Вдруг, в самый разгар праздника, кто-то разбил хрупкие чаши мирных весов.

– Да здравствует партия либералов! – раздался крик. – Да здравствует полковник Аурелиано Буэндия!

Ружейные выстрелы заглушили треск бенгальских огней, крики ужаса перекрыли громкую музыку, и народное ликование обернулось всеобщей паникой. Долгие годы говорили еще о том, что свита пришлой королевы на самом деле была эскадроном правительственных конников, которые под широкими бурнусами прятали обычные винтовки. Правительство чрезвычайным декретом отмело все обвинения и обещало провести тщательное расследование кровавых событий. Но истина так и не вышла наружу, и навсегда утвердилось мнение, что королевская свита вовсе не в ответ на провокационный возглас, а по знаку своего командира заняла боевые позиции и стала беспощадно палить по толпе. Когда воцарилась тишина, в городе не нашли ни одного мнимого бедуина, а на площади – убитыми или ранеными – лежали девять клоунов, четыре коломбины, семнадцать карточных королей, один дьявол, три музыканта, два французских пэра и три японские императрицы. Среди панической сумятицы и давки Хосе Аркадио Второй сумел добраться до Ремедиос

Прекрасной, а Аурелиано Второй вынес из толпы на руках незваную королеву в разорванном платье и в горностаевой мантии, залитой кровью. Звалась она Фернанда дель Карпио. Ее выбрали из пяти тысяч писаных красавиц страны и отправили в Макондо с обещанием сделать затем королевой Мадагаскара. Урсула приняла ее как родную. Город вместо того, чтобы усомниться в ее невиновности, проникся сочувствием к ее беспомощности. Через шесть месяцев после кровавой бойни, когда зажили раны у пострадавших и увяли последние цветы на общей могиле, Аурелиано Второй отправился за ней в один далекий город, где она жила со своим отцом, привез ее в Макондо и устроил пышную свадьбу, на которой гуляли ровно двадцать дней.

Супружеская жизнь молодых едва не оборвалась на исходе третьего месяца, когда Аурелиано Второй, желая умилостивить Петру Котес, подарил ей ее собственный портрет в одеянии королевы Мадагаскара. Фернанда, узнав об этом, сложила в сундуки свадебные дары и, ни с кем не попрощавшись, уехала из Макондо. Аурелиано Второй настиг ее на дороге через низину. Приложив массу стараний и надавав обещаний вести себя хорошо, он уговорил жену вернуться домой и бросил любовницу.

Петра Котес, уверенная в своей неотразимости, не выказывала ни малейшего беспокойства. Она сделала из него мужчину. Он был малый ребенок, бредивший сказками и не знавший жизни, когда она выманила его из комнаты Мелькиадеса и определила ему место в мире. По природе своей он был скрытен и нелюдим, склонен к созерцательности и одиночеству, а она сумела сотворить совсем другого человека – жизнелюбивого, сердечного, участливого, и открыла ему радости бытия, привила вкус к застолью и трате денег, вылепив из него такого мужчину, о котором мечтала с юности. Он женился, как рано или поздно женятся сыновья. И побоялся заранее сообщить о своем намерении. Стал вести себя как дитя, осыпая ее незаслуженными упреками и притворяясь обиженным, чтобы Петра Котес сама нашла повод порвать с ним. Однажды, когда Аурелиано Второй отругал ее без причины, она и бровью не повела, а затем резюмировала, точно и кратко:

– Не шуми, – сказала она. – Просто ты хочешь жениться на королеве.

Аурелиано Второй, смутившись, изобразил яростное возмущение, заявил, что его оскорбляют и не понимают, и перестал к ней ходить. Петра Котес, ни на миг не теряя удивительного хладнокровия хищника, замершего в засаде, слушала, как на свадьбе играет музыка и взрываются петарды, как гуляет и буйствует подвыпивший люд, словно все это было лишь очередным кутежом Аурелиано Второго. Тем, кто выражал ей сочувствие, она отвечала спокойной улыбкой.

– Не волнуйтесь, – говорила она. – Королевам без меня не обойтись.

Соседке, которая принесла ей заговоренные свечи, чтобы зажечь перед портретом бывшего любовника, она сказала с загадочной уверенностью:

– Единственная свеча, которая заставит его вернуться, всегда горит.

Как она и предвидела, Аурелиано Второй вернулся к ней тотчас по прошествии медового месяца. Он привел с собой своих всегдашних приятелей и бродячего фотографа и принес платье с замаранной кровью горностаевой мантией, которая была на Фернанде во время карнавала. В разгар пирушки он нарядил Петру Котес королевой, провозгласил ее абсолютной и пожизненной владычицей Мадагаскара, а позже раздарил фотографии друзьям. Петра Котес не только приняла участие в фарсе, но даже искренне пожалела своего милого, подумав, как он, бедный, робеет, если выдумал такой затейливый способ

примирения. В семь вечера она – как была, в королевских одеждах, – пригрела его в постели. Двух месяцев не прошло после его свадьбы, но ей сразу стало ясно, что у молодых далеко не все ладится на брачном ложе, и отмщение доставило ей несказанное удовлетворение. Однако через два дня, когда Аурелиано Второй вместо того, чтобы явиться снова, прислал доверенного человека с целью оговорить условия, на которых произойдет разрыв их отношений, Петра Котес поняла, что еще придется запастись немалым терпением, ибо он, кажется, был готов принести себя в жертву показной добропорядочности. Но и тут она себе не изменила. Покорно смирилась с судьбой, чем лишь укрепила общее мнение о себе как о бедной брошенной женщине, хранившей в качестве воспоминания об Аурелиано Втором только пару лаковых ботинок, в которых, как он сам всегда говорил, ему хотелось бы лечь в гроб. Она запрятала ботинки, обернув их тряпкой, на дно сундука и снова приготовилась хладнокровно и терпеливо ждать.

– Рано или поздно ему надо будет вернуться, – говорила она себе. – Хотя бы для того, чтобы надеть эти ботинки.

Ей не пришлось долго испытывать свое терпение. Сказать по правде, Аурелиано Второй в первую же брачную ночь понял, что возвратится к Петре Котес гораздо раньше, чем возникнет необходимость надеть лаковые ботинки. Фернанда мало годилась для мирской жизни. Она родилась и выросла за тысячу километров от моря, в сумрачном городке, по каменным мостовым которого еще катились, гремя в глухие призрачные ночи, кареты вице-королей. К шести вечера с тридцати двух колоколен несся звон по усопшим. В господском доме, облицованном могильными плитами, никогда не бывало солнца. Свежий воздух тихо умирал в ветвях кипарисов у дома, на блеклых гардинах спален, среди пышных тубероз в саду. Для Фернанды до того, как она стала зрелой девицей, проявления внешнего мира ограничивались нудными упражнениями на фортепьяно, которые в соседнем доме из года в год долбил кто-то, по непонятной прихоти не отдыхавший в часы сиесты. В покоях своей больной матери, желто-зеленой в грязном отсвете витражей, она слушала трескотню нескончаемых бездушных гамм и думала, что это – музыка того, внешнего мира, а она день-деньской сидит здесь и плетет из пальмовых ветвей надгробные венки. У матери к пяти вечера поднималась температура, и ее начинали одолевать воспоминания о прошлой роскошной жизни. В раннем детстве Фернанда увидела одной лунной ночью прекрасную женщину в белом, спешившую по саду к часовне. Девочку очень взволновало это видение потому, что ей показалось, будто она сама и есть эта женщина, только двадцатью годами старше. «Ты видела свою прабабушку, королеву, – сказала ей мать, захлебываясь от кашля. – Она умерла, отравившись ароматом тубероз, которые срезала для букета». С годами Фернанда достигла возраста своей молодой прабабушки, но стала забывать о призрачной женщине своего детства, и мать упрекала ее за такую забывчивость.

– Мы невероятно богаты и могущественны, – говорила больная. – Когда-нибудь и ты станешь королевой.

Фернанда верила, хотя они садились за огромный стол, накрытый льняной скатертью и уставленный серебряной посудой, только для того, чтобы выпить по чашке жидкого сладкого шоколада и съесть по булочке. До самой свадьбы она грезила о сказочном королевстве, хотя ее отец, дон Фернандо, должен был заложить дом, чтобы купить приданое дочери. Мечты не были вызваны ни простодушием, ни манией величия. Так родители воспитали дочь. Ей вспоминалось, как впервые, много лет назад, она села на золотой горшок с фамильным гербом. Впервые она выехала из дому двенадцати лет в карете, запряженной цугом, чтобы

проехать два квартала до монастыря. Девочки из монастырской школы очень удивились, что ее посадили отдельно от них на стул с высокой спинкой и что даже на переменах она к ним не приближалась. «Ей не положено, – объясняли монахини. – Она будет королевой». И ученицы верили, ибо уже тогда Фернанда была такой красивой, благовоспитанной и скромной, каких тут не видывали. Через восемь лет, когда она научилась слагать стихи по-латыни, играть на клавикордах, беседовать о соколиной охоте с благородными кабальеро и догмах христианства с архиепископами, рассуждать о государственных делах с иностранными правителями и о делах Божьих с Папой, ей пришлось вернуться в родительский дом плести погребальные венки. Потому что дом был пусти гол. Остались только столы, кровати, канделябры да серебряный сервиз, так как все остальное было уже распродано, чтобы оплатить ее образование. Мать скончалась от страшного жара в пять часов вечера. Отец, дон Фернандо, одетый в черное, с крахмальным воротничком и золотой цепочкой поперек груди выдавал дочери по понедельникам серебряную монетку на домашние расходы и забирал погребальные венки, сделанные на прошлой неделе. Большую часть дня он сидел запершись в кабинете, а в тех редких случаях, когда выходил на улицу, возвращался к шести, чтобы успеть пойти к мессе вместе с дочерью. У Фернанды никогда не было близких друзей. Она ничего не знала о войнах, терзавших страну. Она всегда слушала упражнения на фортепьяно в три часа дня. Она уже начинала прощаться со своими мечтами стать королевой, когда входную дверь потрясли два громких удара и порог переступил видный и церемонный офицер, у которого на щеке красовался шрам, а на груди – золотая медаль. Он заперся с отцом в кабинете. Через два часа отец пришел к ней в комнату. «Собирайся, – сказал он. – Тебе предстоит дальняя дорога». Вот так она и попала в Макондо. Но там одним резким толчком жизнь свалила Фернанду в грязь и горечь, отчего долгие годы родители так оберегали ее.

Вернувшись после карнавала домой, она заперлась в своей комнате и принялась рыдать, не обращая внимания на мольбы и объяснения дона Фернандо, старавшегося смягчить боль неслыханного оскорбления. Она дала себе обет до смерти не покидать свою спальню, когда вдруг явился Аурелиано Второй предложить ей руку и сердце. Судьба их снова свела, причем самым непостижимым образом, так как, не помня себя от унижения, рассвирепев от стыда, Фернанда наговорила ему про себя таких небылиц, что ее никто не сыскал бы вовек. Единственные достоверные данные, которыми располагал Аурелиано Второй, отправляясь на поиски, были, во-первых, ее произношение уроженки степных областей и, во-вторых, ее умение плести траурные венки на продажу. Он искал без отдыха и роздыха. С той же остервенелой отвагой, с какой Хосе Аркадио Буэндия перебирался через горы, чтобы основать Макондо, с той же слепой амбицией, с какой полковник Аурелиано Буэндия затевал свои бесполезные войны, и с тем же безрассудным упорством, с каким Урсула билась за выживание своего семейства, искал Аурелиано Второй Фернанду, не останавливаясь ни перед чем. Он расспрашивал, где живет женщина, самая красивая на свете, и все матери вели его к своим дочерям. Он блуждал в тумане скользящих предположений, во времени, предназначенном для забвения, в лабиринтах разочарований. Он пересек желтую равнину, где мысли отзывались многократным эхом и отчаяние рождало зловещие видения. По прошествии ряда бесплодных недель он попал в незнакомый город, где все колокола звонили по усопшим. Хотя он никогда не видел эти дома и никто ему их не описывал, он сразу узнал стены, трухлявые, как тленные кости, гнилые деревянные балконы под саваном плесени и, наконец, прибитую к одной двери карточку с почти смытой дождями и самой печальной на

свете надписью: «Здесь продаются похоронные венки». С этой минуты и до промозглого утра, когда Фернанда решилась оставить дом на попечение настоятельницы монастыря, монахини спешно шили для нее приданое, укладывали в шесть сундуков канделябры, серебряный сервиз и золотой горшок, а также бесчисленные и никому не нужные осколки разбитого вдребезги рода, на два века запоздавшего со своим исчезновением. Дон Фернандо отклонил приглашение сопровождать дочь. Обещал приехать позже, когда разделается со всеми обязательствами, и с той самой минуты, как благословил ее, снова заперся в своем кабинете и стал писать ей короткие письма на бумаге с темными виньетками и фамильным гербом, письма, ставшие первой формой человеческого общения между Фернандой и отцом за всю их жизнь. Для нее день отъезда означил дату ее истинного рождения. Для Аурелиано Второго это было одновременно и началом и концом его счастья.

Фернанда привезла с собой роскошный календарь с золотыми числами, где ее духовник отметил фиолетовыми чернилами дни полового воздержания. За вычетом Страстной недели, воскресений, постов, первых пятниц, других молитвенных дней и светлых праздников, включая также регулярные месячные помехи, ее полезная супружеская жизнь сводилась в году к сорока двум дням, которые едва проглядывали сквозь густое плетение фиолетовых крестов. Аурелиано Второй, убежденный в том, что жизнь со временем снесет этот злосчастный лиловый плетень, праздновал свою свадьбу гораздо дольше обычного срока. Из последних сил кидая в короб мусорщика пустые бутылки от бренди и шампанского, грозившие завалить дом, ломая голову над тем, почему молодожены спят в разных комнатах и в разное время и почему петарды и музыка продолжают греметь, а говяжьи туши не перестают превращаться в жаркое, Урсула вдруг вспомнила о собственной свадьбе и спросила Фернанду, не надевает ли она пояс целомудрия, что рано или поздно вызовет смех у чужих людей и приведет к домашней трагедии. Но Фернанда призналась, что просто должны истечь две недели до того, как она сможет позволить себе отдаться мужу. По прошествии установленного срока она действительно открыла дверь в свою спальню с покорным видом мученицы, готовой к искупительному жертвоприношению, и Аурелиано Второй увидел самую красивую на свете женщину с чудесными глазами испуганной лани и с длинными волосами цвета меди, разметавшимися по подушке. Восхищенный этой картиной, он не сразу заметил, что Фернанда облачилась в белую, длинную до щиколоток рубашку с рукавами до ногтей и с большой, круглой, искусно обшитой прорехой на животе. Аурелиано Второй взорвался громким хохотом.

– Это самая аппетитная клубничка, какую я только видел! – вскричал он, заливаясь смехом на весь дом. – Я женился на монашенке!

Спустя месяц, так и не добившись, чтобы супруга рассталась с белым балахоном, он отправился фотографировать Петру Котес в одеждах королевы. Еще позже, когда ему удалось вернуть Фернанду домой, жена в пылу примирения уступила его домогательствам, но не сумела наградить блаженством, о котором он мечтал, когда отправлялся за ней в город с тридцатью двумя колокольнями. Аурелиано Второй не нашел в ней ничего, кроме чувства глубокой скорби. Как-то ночью, незадолго до рождения первенца, Фернанда поняла, что муж втайне от нее снова разделяет ложе с Петрой Котес.

– Да это так, – признался он. И объяснил с унылым смирением: – Ничего не поделать. Скотина ведь должна плодиться.

Ей понадобилось некоторое время, чтобы поверить такому странному объяснению, но когда она наконец поверила, казалось бы, неопровержимым фактам, единственное, что жена

потребовала от мужа, было обещание не умирать в постели своей любовницы. Так они и жили втроем, не тревожа друг друга: Аурелиано Второй был исправен и нежен с обеими, Петра Котес открыто кичилась тем, что вернула его, а Фернанда делала вид, что ей это невдомек.

Однако молчаливый договор с мужем не облегчал Фернанде жизнь в семье. Урсула настаивала, хотя и безуспешно, на том, чтобы она не надевала утром шерстяной воротничок после ночи, проведенной с мужем, над чем посмеивались соседи. Не могла она убедить молодую жену и пользоваться купальней или уборной и продать золотой горшок полковнику Аурелиано Буэндии для изготовления рыбок. Амаранта раздражалась жеманным выговором Фернанды и ее привычкой не называть некоторые вещи своими именами и донимала ее издевательской тарабарщиной.

– Онафа изфе техфо, – говорила при ней Амаранта, – кофого тошнифит отфо собствефоннофо говфана.

Однажды, обозленная насмешками, Фернанда захотела понять, о чем болтает Амаранта, и та, отвечая ей, не стала прибегать к эвфемизмам.

– Я говорю, – сказала она, – что ты соблюдаешь посты не для духа, а для брюха.

С этого дня они перестали разговаривать. При необходимости посылали друг другу записки или прибегали к помощи посредников. Несмотря на ощутимую враждебность семьи, Фернанда не отказалась от намерения внедрить здесь обычаи своих прадедов. Она положила конец привычке обедать на кухне и заставила всех собираться в строго определенный час в столовой за большим столом, накрытым льняной скатертью, и есть из серебряных тарелок при свете канделябров. Торжественность дневной трапезы, которую Урсула всегда считала самым незначительным актом повседневности, рождала напряженность, против которой взбунтовался даже молчаливый Хосе Аркадио Второй. Однако обычай привился так же, как ежевечерняя молитва перед ужином, возбуждавшая такое любопытство соседей, что скоро прошел слух, будто члены семьи Буэндия не садятся за стол, подобно простым смертным, а превращают прием пищи в священнодействие. Даже суеверия Урсулы, рожденные скорее игрой воображения, чем традицией, вступили в противоречие с теми, что Фернанда унаследовала от родителей, – приметами строго определенными, имеющимися на все случаи жизни. Пока Урсула могла давать себе волю, в доме продолжали сохраняться старые обычаи, а жизнь семьи еще кое в чем подчинялась ее скорым решениям, но когда она потеряла зрение, а бремя лет загнало ее в угол, железный обруч, которым стала сжимать семью Фернанда со дня своего появления в доме, сомкнулся, и отныне уже только она одна заправляла судьбами всех. Торговлю булочками и леденцовыми зверушками, которой занималась Санта София де ла Пьедад по желанию Урсулы, Фернанда сочла занятием малопристойным и не замедлила с ним покончить. Двери дома, гостеприимно распахнутые с рассвета до позднего вечера, сначала стали запирать в сиесту под тем предлогом, что в спальнях делается жарко, и в конце концов их закрыли без лишних слов. Можжевеловая ветвь и коврига хлеба, находившие себе место под притолокой со времен основания Макондо, были заменены Сердцем Иисуса в нише. Полковник Аурелиано Буэндия заметил эти перемены и предсказал последствия. «Мы становимся аристократами, – ворчал он. – Если так пойдет дальше, мы опять накинемся на консерваторов, а разгромив их, посадим короля на трон». Фернанда очень умело избегала всяких столкновений с ним. Но терпеть не могла его независимого нрава и его противления раз и навсегда установленным правилам жизни. Ее раздражали и его кофепитие в пять утра, и беспорядок в мастерской, и

потрепанный плащ, и привычка сидеть под вечер у двери на улицу. Ей приходилось терпеть эти неполадки в семейном механизме, поскольку она была уверена, что старый полковник был неким зверем, усмиренным прожитыми годами и обманутыми надеждами, но способным в порыве старческого исступления потрясти основы родного очага. Когда ее муж решил дать первому сыну имя прадеда, Фернанда не осмелилась возражать, так как жила тут всего год. Но когда родилась первая дочь, она без обиняков заявила, что назовет девочку Ренатой в честь своей матери. Урсула же решила, что девочку будут звать Ремедиос. В конце концов упорное противостояние прекратилось с помощью Аурелиано Второго, которого немало позабавил этот спор, и девочку нарекли Ренатой Ремедиос, но Фернанда упорно называла ее Рената, а семья мужа и все в городе звали ее Меме – сокращенно от Ремедиос.

Вначале Фернанда помалкивала о своих родителях, но со временем стала сотворять образ идеального отца. Она говорила о нем за столом как о существе необыкновенном, чуждом всяким мирским заботам и чуть ли не как о святом. Аурелиано Второй, удивленный столь безудержным восхвалением своего тестя, не мог удержаться от соблазна отпустить за спиной жены колкость в его адрес. Остальные домочадцы от него не отставали. Даже Урсула, главная хранительница мира в семье и втайне страдавшая от самых пустячных раздоров, позволяла себе иной раз заметить, что ее праправнук непременно будет Папой, потому как он «внук святого и сын королевы и скотокрада». Несмотря на легкое подтрунивание над дедом, дети привыкли считать его неким сказочным волшебником, который посвящает им в письмах трогательные стихи и присылает к Рождеству такие большие ящики с подарками, что они едва не застревают в дверях. Эти ящики были, можно сказать, последними «прости» родового имения. Из статуй и камней в детской был сооружен алтарь с образами святых в натуральную величину, чьи жутковато мерцавшие стеклянные глаза заставляли принимать их за живых, а искусно расшитые шерстяные одежды не шли ни в какое сравнение с самыми нарядными костюмами жителей Макондо. Мало-помалу траурное великолепие старинного мертвого дома перекочевало в светлый дом Буэндия. «К нам уже перевезли весь фамильный склеп, – замечал иной раз Аурелиано Второй. – Не хватает только плакучих ив да надгробий». Хотя в ящиках никогда не оказывалось ничего такого, что можно было бы назвать игрушками, дети весь год ждали декабря, потому что непредсказуемые дары из прошлого всегда будили любопытство. На десятое Рождество, когда маленький Хосе Аркадио собрался было ехать в семинарию, от деда привезли – гораздо раньше, чем в былые годы, – огромный ящик, старательно забитый гвоздями и обмазанный смолой, предназначенный вместе с обычным конвертом, который был надписан острым дедовским почерком, высокочтимой сеньоре Фернанде дель Карпио де Буэндия. Пока она читала в спальне письмо, дети в нетерпении стучали по ящику. Как обычно, вместе с Аурелиано Вторым они соскоблили смолу, вытащили гвозди, выгребли опилки и обнаружили в ящике длинный свинцовый сундук на медных винтах. Аурелиано Второй открутил все восемь винтов перед сгоравшими от любопытства детьми, поднял свинцовую крышку, отшатнулся и быстро оттолкнул детей в сторону: перед ним лежал сам дон Фернандо в черной одежде с распятием на груди, кожа на лице и руках была уже попорчена тлетворной гнилью, а вокруг головы в пенном смраде булькали и взрывались живые жемчужины.

Вскоре после рождения Ренаты Ремедиос правительство вдруг вознамерилось отметить юбилей полковника Аурелиано Буэндии в связи с очередным празднованием Неерландского мира. Это правительственное решение до того не вязалось с официальной политикой, что полковник бурно запротестовал против всякого чествования. «Впервые слышу слово

"юбилей", – сказал он. – Но, кроме издевки, оно ничего означать не может». Его тесная ювелирная мастерская заполнялась ходатаями. Снова явились намного постаревшие и намного поважневшие правоведы в темных костюмах, которые в былые времена черным вороньем кружили над полковником. Когда он их увидел и вспомнил, как они в последний раз приезжали заставить его утопить войну в грязи, он не мог стерпеть цинизма их хвалебных речей. И велел им убираться восвояси, твердо заявив, что он не национальный герой, как они говорят, а ремесленник, не желающий ни о чем вспоминать и мечтающий об одном: помереть в забвении, в работе и в нищете среди своих золотых рыбок. Больше всего его возмутило известие о том, что сам президент Республики хочет присутствовать на торжественном акте в Макондо, чтобы вручить ему орден Особых Заслуг. Полковник Аурелиано Буэндия велел передать президенту – слово в слово, – что будет с великим нетерпением ждать этой запоздалой, но приятной возможности всадить в него пулю – и не в отместку за произвол и безделье, а за неуважение, проявляемое к старцу, который никому не сделал ничего плохого. Угроза была произнесена таким тоном, что президент Республики в последний час отменил поездку и послал ему орден со своим личным представителем. Полковник Херинельдо Маркес, со всех сторон осаждаемый просьбами о содействии, почти забыл про свой паралич, чтобы угомонить старого товарища по оружию. Когда тот увидел кресло-качалку, которую тащили четыре человека, а на ней среди подушек – своего друга, разделявшего с ним все победы и поражения с самой юности, то ни секунды не сомневался, что полковник Херинельдо Маркес решился на этот подвиг, чтобы изъявить ему, полковнику Аурелиано Буэндии, свою солидарность. Но, узнав истинную причину визита, велел вынести гостя из мастерской.

– Поздно я убедился, – сказал он, – что зря не дал тебя расстрелять.

И юбилей был таким образом отпразднован без участия кого-либо из членов семьи. По случайному стечению обстоятельств праздник совпал с карнавальной неделей, но никому не удалось разубедить полковника Аурелиано Буэндию в том, что такое совпадение не было специально предусмотрено властями – якобы ему назло. В своей одинокой мастерской он слышал, как за окном играл военный оркестр, как грохотал артиллерийский салют, радостно звонили колокола и люди говорили хорошие слова возле дома, когда улице присваивали его имя. На глаза ему навернулись слезы возмущения и бессильной ярости, и впервые после поражения стало горько оттого, что уже нет былого молодого задора, чтобы устроить кровавую бойню и начисто стереть с лица земли режим консерваторов. Еще не замолкло эхо праздника, когда Урсула постучала в дверь мастерской.

– Не мешайте, – сказал он. – Я занят.

– Открой, – настаивала Урсула, не повышая голос. – Это к празднику не относится.

Тогда полковник Аурелиано Буэндия поднял щеколду и увидел перед собой семнадцать мужчин, внешне очень разных, всех типов и мастей, но с общим для всех видом одиноких людей, таких, каких на всей земле не сыщешь. Это были его сыновья. Не сговариваясь заранее, не зная друг друга, они прибыли из самых отдаленных мест побережья, привлеченные слухами о громком чествовании отца. Все с гордостью носили отцовское имя Аурелиано, у всех были разные, материнские, фамилии. За три дня, проведенные ими в доме, они – к удовольствию Урсулы и возмущению Фернанды – все перевернули вверх дном, как на войне. Амаранта нашла в старых бумагах счетоводную книжку, где Урсула записала имена и даты рождения и крещения всех своих внуков, и добавила к их месту появления на свет новые адреса. Подобный список вполне позволил бы проследить маршруты двадцатилетней

войны. Можно было бы восстановить все местные ночные вылазки полковника, начиная с той поры, когда он выбрался из Макондо во главе двадцати парней, подняв с бухты-барахты мятеж, до его последнего возвращения в одеревенелом от засохшей крови плаще. Аурелиано Второй не упустил случая устроить в честь двоюродных братьев грандиозную пирушку с шампанским и аккордеоном, что было сочтено людьми как достойное и своевременное продолжение карнавала, подпорченного юбилеем. Веселые родственники разбили вдребезги половину ваз; затоптали все кусты роз, гоняясь за быком, чтобы убить его одним ударом; перестреляли всех кур; заставили Амаранту танцевать печальные вальсы Пьетро Креспи, а Ремедиос Прекрасную надеть мужские штаны и влезать на столб с призом; затолкали в столовую обмазанную жиром свинью, которая сбила с ног Фернанду, но никто не обижался на их проделки, потому что дом словно омыла ливневая чистая вода. Полковник Аурелиано Буэндия, который вначале косился на них с подозрением и даже сомневался, все ли они его сыновья, кончил тем, что пришел в восторг от их сумасбродств и перед отъездом подарил каждому из них по золотой рыбке. Даже тихоня Хосе Аркадио Второй пригласил их на петушиный бой, хотя затея едва не кончилась мордобоем, так как некоторые Аурелиано были такими ушлыми петушатниками, что сразу же раскусили жульнические приемы падре Антонио Исабеля. Аурелиано Второй, увидевший, какие безудержные возможности гулять и пировать таит в себе это сборище лихих сородичей, решил, что все они должны остаться у него. Единственный из них, кто согласился, был Аурелиано Хмурый, здоровенный мулат с авантюрными наклонностями своего деда, избороздивший в погоне за счастьем полсвета и уже не искавший лучшей доли. Остальные, хотя среди них были и холостяки, считали, что уже выбрали свой путь. Все они были искусные ремесленники, хорошие хозяева, мирные труженики. В покаянную пепельную среду, до того как им снова разбрестись по побережью, Амаранта заставила их всех обрядиться в одежду монахов-доминиканцев и сопроводить ее в церковь. Скорее ради забавы, чем из благочестия, они дали довести себя до самой исповедальни, где отец Антонио Исабель пеплом начертал на лбу каждого крест. По дороге домой младший потер себе лоб и обнаружил, что крест не стирается, как, впрочем, и у остальных его братьев. Они испробовали все: воду и мыло, песок и мочалку, даже пемзу и жавель, но ничто не помогло, крест остался. Напротив, Амаранта и другие прихожане смыли его без труда. «Не горюйте, это к лучшему, – сказала на прощание Урсула. – Теперь вас ни с кем не спутаешь». Они шли гурьбой, – перед ними шагал, гремя, оркестр, в небе рассыпались петарды, а горожане уверовали в то, что род Буэндия посеял семена на многие века вперед. Аурелиано Хмурый, с пепельным крестом во лбу, построил на городской окраине фабрику льда, которая виделась Хосе Аркадио Буэндии в его безумных мечтаниях.

Через несколько месяцев после приезда в Макондо, будучи уже известным и почитаемым горожанином, Аурелиано Хмурый бродил по городу в поисках жилья для своей матери и незамужней сестры (которая не была дочерью полковника) и набрел возле площади на большой старый и, казалось, заброшенный дом. Стал расспрашивать, кто его хозяин. Ему сказали, что дом бесхозный, а когда-то здесь жила одинокая вдова, которая ела землю и известку со стен, и в старости ее только два раза видели на улице в шляпе с искусственными цветочками и в туфлях цвета черненого серебра, – когда она шла через площадь к почтовой конторе, чтобы отправить письмо епископу. Сказали, что ее единственной наперсницей была бездушная служанка, которая убивала собак и кошек и других тварей, проникавших в дом, и оставляла падаль на середине улицы, чтобы досадить городу смрадом. Прошло уже так много времени с тех пор, как солнце иссушило до костей последнее убитое животное, и никто не

сомневался, что и хозяйка дома, и служанка скончались задолго до конца всех войн, и если дом еще не рухнул, то лишь потому, что в последние зимы не было ни страшных ливней, ни ураганных ветров. Петли, изъеденные ржавчиной; двери, едва державшиеся в сетях паутины; оконные рамы, разбухшие от сырости; пол, проросший травой и сорными цветами, где из трещины в трещину сновали ящерицы и другая мелкая живность, – казалось, подтверждали первое впечатление, что нога человеческая не ступала здесь по меньшей мере полвека. Напористому Аурелиано Хмурому картина запустения лишь придала уверенности. Он толкнул плечом входную дверь, и источенная термитами деревянная притолока обрушилась на него мягким каскадом личинок, земли и пыли. Аурелиано Хмурый замер на пороге, ожидая, пока осядет пыльное облако, а затем увидел в центре залы иссохшую женщину в одеждах прошлого века с редкими рыжими волосенками на почти голом черепе, с большими и все еще прекрасными глазами, в которых угасли последние звезды надежды, и со щеками в морщинах бесплодного одиночества. Ошеломленный этим видением с того света, Аурелиано Хмурый не сразу заметил, что женщина целится в него из старинного пистолета.

– Извините, – пробормотал он.

Она продолжала неподвижно стоять в центре заваленной всяким хламом залы, пристально вглядываясь в этого великана с квадратными плечами и серым крестом, будто наколотым на лбу, а дымка пыли накидывала на него покров былых времен, сквозь который проступала двустволка за спиной и связка кроликов в руке.

– Нет, Бога ради! – тихо воскликнула она. – Не надо мне ни о чем напоминать!

– Я хотел бы снять дом, – сказал Аурелиано Хмурый. Женщина подняла пистолет повыше, твердо целясь в пепельный крест, и с недвусмысленной решимостью взвела курок.

– Вон отсюда, – приказала она.

В тот же вечер, за ужином, Аурелиано Хмурый рассказал семье об этой встрече, и Урсула от расстройства прослезилась. «Господи Боже, – воскликнула она, сжав голову руками. – Она еще жива!» Время, войны, бесчисленные житейские неурядицы заставили ее забыть о Ребеке. Единственным человеком, который не переставал думать, что она живет и где-то заживо гниет в яме с червями, была жестокая и постаревшая Амаранта. Она думала о Ребеке на рассвете, когда холод сердца будил ее в одинокой постели, думала, когда намыливала свои усохшие груди и впалый живот и когда надевала белые полотняные юбки и лифчики – старческое белье, и когда снова и снова натягивала на руку черную повязку страшной неискупленной вины. Всегда, в любое время, спала ли она или бодрствовала, в минуты возвышенных или низменных порывов, Амаранта думала о Ребеке, потому что одиночество рассортировало воспоминания, испепелило непролазные груды ностальгического мусора, которые жизнь накопила в ее сердце, и выявило, растравило и не уставало бередить самые болезненные места памяти. От Амаранты Ремедиос Прекрасная узнала о существовании Ребеки. Всякий раз, как они проходили мимо обветшалого дома, Амаранта рассказывала о неблаговидных поступках Ребеки, о позорном поведении той, желая, чтобы сочувствие племянницы поддержало ее изнурительную злобу, которая должна пережить любую смерть, но все усилия Амаранты оказывались напрасными, ибо Ремедиос Прекрасной были неведомы пылкие чувства, тем более чужие. Урсула, напротив, не разделяла ненависть Амаранты и помнила Ребеку только чистой и непорочной, потому что воспоминание о бедной девочке, которую привезли к ним в дом вместе с сумой, где гремели родительские кости, заслоняло оскорбление, нанесенное Ребекой приютившей ее семье Буэндия. Аурелиано Второй решил, что надо вернуть Ребеку домой и позаботиться о ней, но

его добрые пожелания разбились о непреодолимое сопротивление самой Ребеки, которой понадобились долгие годы страданий и лишений, чтобы убедиться в преимуществах одиночества, и она была не в состоянии отказаться от него в обмен на старость, тревожимую ласками мнимого милосердия.

В феврале, когда снова нагрянули шестнадцать сыновей полковника Аурелиано Буэндии, меченных пепельными крестами, Аурелиано Хмурый рассказал им о Ребеке, и они в пьяном угаре за полдня преобразили внешний вид дома, сколотили новые двери и окна, раскрасили фасад в веселые цвета. Укрепили стены и залили свежим цементом полы, но продолжать капитальный ремонт внутри дома Ребека не разрешила. Она даже не выглянула в дверь. Подождала, пока они закончат свою сумбурную реставрацию, подсчитала стоимость работ и через Архениду, старую служанку, продолжавшую жить с ней, передала им пригоршню монет, вышедших из обращения со времен последней войны, о чем Ребека и ведать не ведала. Лишь тогда стало понятно, какая глубокая пропасть отделяет ее от мира, и всем стало ясно, что она не откажется от своего добровольного заключения, пока в ней теплится жизнь.

Во время второго приезда сыновей полковника Аурелиано Буэндии один из них, Аурелиано Ржаной, остался работать с Аурелиано Хмурым. Он был из первых мальчишек, когда-то явившихся в дом Буэндии для крещения. Урсула и Амаранта хорошо его помнили, ибо за пару часов он разбил все, что попало ему под руку. Со временем природа умерила его тягу к физическому развитию, и он остался мужчиной обычного телосложения с глубокими оспинами на лице, но его поразительная способность разрушать сохранилась в прежних масштабах. Он разбил столько тарелок, даже пытаясь быть осторожным, что Фернанда поспешила купить оловянную посуду, прежде чем превратятся в осколки последние предметы дорогого сервиза, но металлические миски тоже очень скоро помялись и погнулись. Не смотря на эту неизлечимую разрушительную силу, досаждавшую и ему самому, Аурелиано Ржаной был человек исключительной доброты, привлекавшей к нему сердца, и обладал поразительной работоспособностью. За короткое время он так увеличил производство льда, что перенасытил им местный рынок, и Аурелиано Хмурый стал подумывать о том, что не мешало бы сбывать продукцию в других городках низины. Так зародилась плодотворная идея не только модернизации промышленного производства, но и постоянной связи Макондо с внешним миром.

– Надо провести железную дорогу, – сказал он.

Такие слова впервые были произнесены в Макондо. Когда однажды Аурелиано Хмурый показал какой-то рисунок, очень схожий с теми схемами, какие когда-то чертил Хосе Аркадио Буэндия в объяснение своего проекта солнечных войн, Урсула утвердилась во мнении, что круговорот времен не остановить. Однако в противоположность деду Аурелиано Хмурый не терял ни сна, ни аппетита, не изводился черной меланхолией, а, напротив, считал свои самые смелые замыслы делом завтрашнего дня, трезво определял сроки и затраты и доводил задуманное до конца, не отвлекаясь на душевные терзания. Если у Аурелиано Второго и было кое-что от прадеда и не было кое-чего от полковника Аурелиано Буэндии, так это выражалось прежде всего в абсолютном презрении к горьким урокам жизни, и потому он дал денег на проведение железной дороги с такой же легкостью, с какой когда-то дал их для такой нелепицы, как судоходная эпопея брата. Аурелиано Хмурый поглядел на календарь и уехал в следующую среду, чтобы вернуться после сезона дождей. Но надолго пропал. Аурелиано Ржаной, не зная, что делать с ледовой продукцией фабрики, стал готовить лед, замораживая не воду, а фруктовые соки, и помимо своей воли заложил основы

для изготовления мороженого, сумев таким способом внести разнообразие в продукцию фабрики, которую уже считал своей, так как прошли дожди, пролетело лето, а от брата не было ни слуху ни духу. Однако в начале следующей зимы какая-то женщина, полоскавшая в реке белье под жарким солнцем, пустилась вдруг бежать по главной улице с воплями, выражавшими наивысшую степень человеческого волнения.

– Едет, едет, – наконец отдышалась она. – Какая-то печь на колесах и тащит за собой дома!

В эту же минуту Макондо вздрогнул от жутко пронзительного свиста и неслыханно громкого пыхтенья. В предыдущие недели под городом копошились какие-то люди, укладывавшие шпалы и рельсы, но никто не обращал на них внимания, думая, что это новая затея цыган, которые возвращались со своими столетней давности свистульками и никому не интересными пищалками, прославляя несравненные достоинства какого-то там пойла, замешенного иерусалимскими мудрецами на неведомой дряни. Но когда все наконец освоились с оглушительной свистяще-шипящей какофонией, толпы людей ринулись к окраине городка и увидели Аурелиано Хмурого, приветственно машущего рукой из локомотива, и смотрели как завороженные на украшенный гирляндами поезд, впервые прибывший сюда с опозданием на восемь месяцев. Ни в чем не повинный желтый поезд, которому предстояло привезти в Макондо столько сомнений и бесспорных истин, столько радостей и неудач, столько перемен, бедствий и тоски по прошлому.

Макондо захлестнула такая масса диковинных новшеств, что население не знало, на что глядеть и чему поражаться. Ночи напролет люди глазели на бледные электрические лампочки, которые зажигала машина, привезенная Аурелиано Хмурым на поезде после второй поездки и поначалу сводившая жителей с ума своим невыносимым и непрестанным «тум-тум-тум». Все шли в театр процветающего коммерсанта дона Бруно Креспи, раскупали билеты в кассах – львиных головах, чтобы смотреть на живые фигуры, бегавшие по висячей простыне, и приходили в негодование от того, что человек, который умер и был похоронен в одной кинокартине, из-за которого было пролито столько слез, вдруг оказывался живым и здоровым, да еще и арабом в картине следующей. Публика, плативша два сентаво, чтобы делить с героями их горе и радости, не могла снести эти неслыханные издевательства и в конце концов устроила погром в кинозале. Уступив настояниям дона Бруно Креспи, алькальд в обращении к народу разъяснил, что кино – это не жизнь, а досужий вымысел, который не стоит бурных переживаний. После такого обескураживающего разъяснения многие сочли себя жертвами нового грандиозного обмана цыган и предпочли не посещать кинематограф, полагая, что вполне хватает собственных бед и неприятностей, чтобы еще оплакивать придуманные злоключения вымышленных существ. Нечто схожее случилось с граммофонами, которые были привезены веселыми дамами из Франции на смену устаревшим шарманкам и которые на какое-то время очень потеснили местных музыкантов. Вначале любопытство увеличило приток клиентов на злачную улицу, и, как стало известно, даже весьма уважаемые сеньоры рядились в крестьянские одежды, чтобы взглянуть поближе на такую новинку, как граммофон. Однако после долгого и детального рассмотрения знатоки пришли к заключению, что это вовсе не волшебный жернов, как говорили дамы и как думали все, а просто заводной механизм, звучание которого и в сравнение не идет с такой трогательной, такой человечной, такой родной и правдивой музыкой, как музыка местного ансамбля. Разочарование было столь тяжелым, что даже после того, как граммофон стал

неотъемлемой частью домашней обстановки, его считали скорее не предметом для увеселения взрослых, а вещью, наиболее пригодной для потрошения в детских комнатах. Но когда кто-то из горожан убеждался в бесспорной и реальной пользе телефона, который был установлен на железнодорожной станции и так же заводился ручкой, как самый обыкновенный граммофон, даже заядлые скептики чесали затылок. Словно бы сам Господь Бог решил подвергнуть испытанию способность людей удивляться и заставлял жителей Макондо постоянно шарахаться от восхищения к разочарованию, от сомнения к признанию и наоборот. Дело дошло до того, что уже никто не мог сказать, где кончается иллюзия и начинается реальность. Это дьявольское смешение истины и миража заставило вздрогнуть от волнения призрак Хосе Аркадио Буэндии под каштаном и пойти гулять по всему дому средь бела дня. С тех пор как железная дорога была официально открыта и поезд начал регулярно прибывать по четвергам в одиннадцать, как построили нехитрую деревянную платформу с будкой, где были стол, телефон и окошечко для продажи билетов, улицы Макондо заполонили мужчины и женщины, которые хотя и занимались делами будничными и обычными, но больше походили на цирковой народец. В городке, который часто видывал цыган с их трюками, не слишком-то могли разжиться эти арапы-лоточники, которые с одинаковым рвением навязывали и чайник со свистком, и рекомендации для спасения души к седьмому дню поста, хотя, надо признать, у тех, кого удавалось заговорить, и просто у дураков они выуживали немало денег. Вместе с этими проходимцами, но в пробковом шлеме, в штанах для верховой езды и в гетрах, привлекая внимание своими топазово-желтыми глазками за очками в стальной оправе и белой, как у ощипанной курицы, кожей, прибыл в одну из сред в Макондо и отобедал в доме Буэндия улыбчивый толстячок мистер Герберт.

Никто за столом не обращал на него внимания, пока он не съел первую кисть бананов. Аурелиано Второй случайно встретил иностранца в отеле «Хакоб», когда тот с трудом бранился по-испански, требуя найти свободный номер, и привел, как часто бывало, вновь приезжего к себе домой. Мистер Герберт был владельцем воздушных шаров на привязи, объездил со своими аэростатами полсвета и везде получал солидные барыши, но в Макондо ему не удалось поднять в воздух ни одного человека, ибо здесь это изобретение считали давно устаревшим после того, как люди видели – и сами на них летали – ковры-самолеты цыган. А потому мистер Герберт собирался уехать со следующим поездом. Когда на стол положили огромную кисть тигрово-полосатых бананов, которые были развешаны на стенах столовой к обеду, он отломил первый банан без особой охоты. Но, разговаривая, не переставал есть бананы, смаковать их, не торопясь и причмокивая, скорее с созерцательным интересом исследователя, чем с аппетитом гурмана, и, покончив с первой кистью, попросил вторую. Затем из ящичка с инструментами, бывшего всегда при нем, вынул футляр с набором увеличительных стекол. Внимательно, как заправский скупщик бриллиантов, он рассматривал в разные лупы банан, разрезав его на части специальным пинцетом, взвешивал на аптекарских весах и замерял объемы с помощью точных калибров оружейника. Потом взял из ящика другие инструменты, каковыми измерил местную температуру и влажность воздуха, степень освещения. Все эти действия были столь интригующи, что никому кусок в горло не шел, и все ждали, что мистер Герберт объяснит наконец, в чем дело, но он не сказал ничего такого, что могло бы выдать его тайные намерения.

В следующие два дня люди видели, как он сачком и плетенкой ловил бабочек в окрестностях Макондо. А в четверг нагрянула толпа инженеров, агрономов, гидрологов, топографов и землемеров, которые несколько недель возились в тех местах, где мистер

Герберт охотился за бабочками. Несколько позже прибыл сеньор Джек Браун в особом вагоне, прикрепленном к желтому поезду и сверху донизу отделанном серебром, с креслами, обитыми красным бархатом, и крышей из синего стекла. В отдельном вагоне приехали и увивавшиеся вокруг сеньора Брауна солидные, одетые в черное юристы, которые в свое время следовали по пятам за полковником Аурелиано Буэндией, а это заставляло людей думать, что агрономы, гидрологи, топографы и землемеры так же, как мистер Герберт со своими заарканенными шарами и своими пестрыми бабочками и сеньор Браун со своим мавзолеем на колесах и свирепыми немецкими овчарками, затевают какие-то военные приготовления. Впрочем, долго размышлять на эту тему не пришлось, так как не успели сообразительные жители Макондо задаться вопросом, что же, черт возьми, происходит, как городок уже превратился в лагерь из деревянных домишек с цинковыми крышами, набитых людом со всех концов света, прибывавшим сюда не только в вагонах и на открытых платформах, но даже на крышах вагонов. Гринго, которые позже привезли своих субтильных жен в муслиновых платьях и в огромных воздушных шляпах, построили по другую сторону железной дороги свой городок, где вдоль улиц торчали пальмы, в домах за железными решетками скрывались окна, на террасах стояли белые столики, под потолками кружились лопасти вентиляторов, а на просторных голубых лужайках разгуливали павлины и перепела.

Новое поселение было обнесено металлической сеткой, как некий гигантский электрифицированный курятник, который в холодные летние месяцы перед рассветом казался черным от облепивших его ласточек. Никто еще не знал, чего тут ищут чужаки, или они в самом деле всего лишь филантропы и уже навели по-своему беспримерный порядок, выглядевший гораздо большим сумбуром, чем тот, что вносили цыгане, но гораздо менее понятный, да еще, похоже, бессрочный. Управляя силами, ранее подвластными лишь Господу Богу, пришельцы заставили дожди идти ко времени, быстрее созревать урожаи, а реку – со всеми ее белыми валунами и холодными водами – повернули с накатанного ложа в другую сторону, за городское кладбище. Именно в эту пору был воздвигнут бетонный колпак над облезлым надгробием Хосе Аркадио, чтобы запах пороха, вырывавшийся из могилы, не портил речную воду. Для тех, кто не привез с собой зазнобу, превратили улицу с милейшими французскими дамами в еще один городок, превзошедший оба прежних размерами, а в одну прекрасную среду длинный состав доставил сюда совершенно невообразимых шлюх, вавилонских блудниц, наторевших в древнем искусстве любви и снабженных всякого рода благовонными кремами и подручными средствами для того, чтобы разогреть холодных, расшевелить робких, ублаготворить алчущих, настропалить скромных, обуздать ненасытных и обучить неумелых. Турецкая улица, расцвеченная огнями заморских магазинов, вытеснивших старые восточные лавки, кишела в субботний вечер бездельниками и проходимцами, сновавшими между столами с азартными играми, тирами и шатром толкователя снов и чревовещателя, толпившимися возле спиртного и фританги в ларьках, которые поутру в воскресенье одиноко торчали среди валявшихся на земле мужчин – то ли блаженных пьяниц, то ли (таких было больше) любопытных дуралеев, получивших в потасовке пулю в грудь, нож в бок, зверскую оплеуху или удар бутылкой по черепу. Нашествие было столь внезапным, люди нахлынули такой массой, что первое время было невозможно ходить по улицам: всюду громоздятся груды мебели и сундуков, везде тащат бревна и доски те, кто успел без всякого разрешения захватить пустующий клочок земли и стал строить дом; там и сям средь бела дня и на глазах у всех предаются любви бесстыдные парочки в гамаках под навесом, в тени миндальных деревьев. Единственным достойным

уголком была укромная улочка, на которой поселились мирные антильские негры, соорудив деревянные хижины на сваях, где они и сидели по вечерам у дверей, распевая грустные гимны на своем тарабарском папьяменто. За самое короткое время произошло столько перемен, что через восемь месяцев после первого визита мистера Герберта коренные жители Макондо не могли узнать родного города.

– Ну и кашу мы заварили, – то и дело повторял полковник Аурелиано Буэндия. – А все потому, что угостили какого-то гринго бананами.

Аурелиано Второй, напротив, восторгался наплывом чужестранцев. В доме уже не умещались незнакомые посетители и бездомные бродяги, и потому пришлось построить спальни в патио, расширить столовую, заменить старый стол новым – на шестнадцать персон, купить новую посуду и приборы, и, несмотря на такие нововведения, надо было готовить обед по несколько раз в день. Фернанда, подавляя гадливость, должна была обслуживать гостей самого низкого пошиба, которые лезли в грязных сапогах на галерею, мочились в саду, кидали свои циновки куда попало для отдыха в час сиесты и отпускали крепкие словца, невзирая на смущение дам и кривые усмешки кабальеро. Амаранта была готова взбеситься от нашествия плебса и снова стала обедать на кухне, как в прежние времена. Полковник Аурелиано Буэндия, убежденный, что большинство из тех, кто заходил к нему в мастерскую пожелать ему всяческих благ, делали это не из уважения к нему или симпатии, а из любопытства – взглянуть на живую историческую реликвию, на редкое музейное ископаемое, – стал запирать дверь на засов и показывался на людях в редких случаях, когда выходил посидеть у парадной двери. Урсула, напротив, даже тогда, когда она уже едва волочила ноги и двигалась, держась за стены, испытывала детский восторг, слыша, как к городу приближается поезд. «Скорее жарьте мясо и рыбу, – приказывала она четырем кухаркам, которые быстро принимались за дело, лишь бы скорее вернуться под начало невозмутимой Санта Софии де ла Пьедад. – Надо всего наготовить, – торопила их Урсула. – Никогда не знаешь, чего захотят чужеземцы». Поезд прибывал в самую жаркую пору дня. К обеду дом превращался в клокочущий базар; потные дармоеды, даже не знавшие, кто их кормит и поит, толпой врывались в столовую, чтобы занять лучшие места, а кухарки, натыкаясь друг на друга, метались между столом и плитой с огромными кастрюлями супа, с полными мяса котлами, с тыквенными бадьями овощей, с горами риса на подносах и разливали огромными черпаками неиссякаемый лимонад из бочек. Столпотворение было несусветное, и Фернанда с ума сходила от мысли, что многие могут отобедать дважды, не раз ее просто подмывало облегчить душу руганью рыночной торговки, когда иной незадачливый гость просил у нее счет. Больше года прошло с первого визита мистера Герберта, но удалось узнать только то, что гринго собирается разбить банановые плантации в тех волшебных местах, где Хосе Аркадио Буэндия и его люди бродили в поисках пути к великим изобретениям цивилизации. Еще два сына полковника Аурелиано Буэндии, меченные пепельным крестом, были заброшены сюда этим вулканическим извержением и объяснили свой приезд одной фразой, которая, видимо, выражала умонастроение всех вновь прибывших.

– Мы приехали, – сказали они, – потому что все сюда едут.

Ремедиос Прекрасная была единственной, кого обошла банановая чума. Она так и не перешагнула порога своего чистого девичества, все более отходя от людских условностей, все менее реагируя на зло и новаторство, находя счастье в собственном мире простых вещей. Она не могла понять, для чего женщины осложняют себе жизнь бюстгальтерами и юбками, и

сшила себе холщовый балахон, который легко накидывала на себя через голову, решив без всяких хлопот проблему одежды и в то же время ничем не стеснив нагое тело, ибо, по ее пониманию, только нагота естественна для человека в домашней обстановке. Ей так надоели просьбы, чтобы она укоротила свои роскошные волосы, доходившие чуть ли не до пят, и заплела бы их в косы с цветными лентами или заложила в пучок с гребнями, что она просто-напросто обрилась наголо и сделала из своих волос парики для фигур всех святых. Самым удивительным в ее стремлении к простоте было то, что чем больше она пренебрегала модой, предпочитая удобство, и чем решительнее отвергала условности, повинуясь душевным порывам, тем невольно еще сильнее кружила голову людям своей бесподобной красотой и сводила мужчин с ума своим пренебрежительным отношением к ним. Когда сыновья полковника Аурелиано Буэндия в первый раз появились в Макондо, Урсула вспомнила, что у них и у ее правнучки в жилах течет одна и та же кровь, и содрогнулась от почти уже забытого страха. «Будь начеку, – предупреждала она Ремедиос Прекрасную. – От любого из них дети у тебя будут со свиными хвостами». Правнучку нимало не встревожило это предупреждение, она тут же надела штаны, мазнула руками по песку и, обхватив ногами столб, полезла на него за призом, что едва не привело к большой беде, так как все ее семнадцать двоюродных братьев дошли до полного исступления от такого будоражащего зрелища. Потому-то никто из них не ночевал в доме, когда они приезжали в Макондо, а четверо оставшихся здесь работать снимали по решению Урсулы комнаты где-то в другом месте. Сама Ремедиос Прекрасная умерла бы со смеху, если бы узнала об этих мерах предосторожности.

До последней минуты своего пребывания на земле она так и не узнала, что ей выпала судьба постоянно вводить мужчин в искушение и ввергать в отчаяние. Всякий раз, как она, не слушая Урсулу, появлялась в столовой, незваных гостей охватывало паническое смятение. Все прекрасно видели, что грубый балахон был накинут на абсолютно голое тело, и терзались мыслью, не служит ли это, как и ее прекрасная бритая голова, средством обольщения и не вводит ли она всех просто-напросто в преступный соблазн своей манерой приподнимать в жару балахон, обнажая ляжки, и с наслаждением обсасывать пальцы после еды. Членам семьи и в голову не приходило, что чужие люди мгновенно ощущают пьянящий дух Ремедиос Прекрасной, удар молнии в подбрюшье, и не могут отделаться от этих ощущений еще многие годы после того, как она исчезла. Мужчины, познавшие любовные утехи во всех странах, утверждали, что никогда не испытывали желания, подобного тому, какое возбуждает телесное благоухание Ремедиос Прекрасной. В галерее с бегониями, в большой гостиной, в любом месте дома можно было точно указать место, где она побывала, и определить время, когда она отсюда ушла. Это был след особого, только ей присущего аромата, но никого из домашних не пьянившего, потому что он уже давно стал одним из привычных запахов, который, однако, кружил голову гостям. И лишь только они одни могли понять, почему молодой начальник стражи умер от любви и почему кабальеро, прибывший из неведомых земель, погиб от отчаяния. Не сознавая, какую волнующую стихию она рождает, какая атмосфера неминуемой беды создается вокруг нее, Ремедиос Прекрасная обращалась с мужчинами без тени кокетства и вконец добивала их своими нехитрыми добрыми словами. Когда Урсула велела ей обедать вместе с Амарантой на кухне, чтобы пришельцы ее не видели, она с охотой подчинилась, потому что вообще не признавала никакого установленного распорядка. Где и когда утолять голод, ей было безразлично, лишь бы хотелось есть. Иногда она вставала и завтракала в три часа утра, а потом спала целый день; бывало, несколько месяцев подряд она ела в неурочные часы, пока какой-нибудь случай

не вводил ее в обычную колею. Обычным же для нее было вставать в одиннадцать и часа два сидеть совершенно голой в купальне и давить скорпионов, приходя в себя после крепкого долгого сна. Затем она обливалась водой из бассейна, черпая ее тыквенной плошкой. Эта процедура была такой долгой и скрупулезной, такой ритуально разнообразной, что тот, кто ее не знал, мог бы подумать, что она расточает вполне заслуженные ласки собственному телу. Но для нее в такой одинокой обрядности не было и намека на похоть, ей просто хотелось приятно провести время и нагулять аппетит. Однажды, когда она только начинала купаться, какой-то незнакомец из вновь приезжих приподнял черепицу на крыше и, увидев ее, ошалел от восхитительного зрелища. Она заметила в дыре его обалделые глаза и не застыдилась, а испугалась за него.

– Осторожно, – вскрикнула она. – Вы упадете!

– Я хочу только посмотреть на вас, – пробормотал незнакомец.

– Ну и ладно, – сказала она. – Только будьте поосторожней, крыша совсем плохая.

Лицо незнакомца выражало и восторг, и страдание, и словно бы он старался погасить пожар вожделения, страшась, как бы не рассеялся мираж. Ремедиос Прекрасная подумала, что он просто боится провалиться сквозь крышу, и мылась более поспешно, чем всегда, чтобы не подвергать человека опасности. Окатывая себя водой из плошки, она рассказывала ему, как под худой кровлей от дождя стала, на беду, гнить подстилка из пальмовых листьев и теперь оттуда в купальню лезут полчища скорпионов. Чужеземец принял ее болтовню за маскируемое поощрение и, когда она стала намыливать грудь, не удержался от искушения деликатно перейти от слов к делу.

– Позвольте мне намылить вас, – прошептал он.

– Благодарю вас за желание помочь, – сказала она, – только мне хватает своих двух рук.

– Ну хотя бы спинку, – умолял чужеземец.

– Глупое занятие, – сказала она. – В жизни не видывала, чтобы спину мыли с мылом.

Пока она обмахивалась полотенцем, чужеземец с полными слез глазами умолял ее выйти за него замуж. Она вполне серьезно ответила, что никогда бы не вышла замуж за такого идиота, который потерял целый час и даже прозевал обед только из-за того, чтобы поглазеть на женщину в купальне. Наконец, когда Ремедиос Прекрасная надела балахон, человек совсем обезумел от сделанного открытия: оказывается, под балахоном на теле и взаправду нет больше ничего, как говорили, и почувствовал себя навеки заклейменным этой жгучей тайной. Не утерпев, он выломал еще две черепицы и ринулся вниз, в купальню.

– Здесь очень высоко, – в испуге крикнула она. – Вы убьетесь!

Гнилое стропило рухнуло вместе с черепицами, которые на цементном полу разлетелись в куски. Грохот возвестил о беде: человек, едва успевший вскрикнуть от ужаса, тоже сорвался вниз, расколол себе череп надвое и умер, ни разу не дернувшись. Остальные незваные гости, услыхав страшный шум, бросились из столовой, подняли труп и тотчас уловили, как сильно разит от него духом Ремедиос Прекрасной. Ее запах так пропитал тело, что череп сочился не кровью, а душистой жидкостью, распространявшей колдовской аромат, и тогда все поняли, что дух Ремедиос Прекрасной преследует мужчин даже по ту сторону жизни, пока их кости не обратятся в прах. Однако никто не связал это ужасное происшествие с гибелью двух других мужчин, умерших из-за Ремедиос Прекрасной. Понадобилась еще одна жертва, чтобы чужаки и многие старожилы Макондо поверили в россказни о том, будто от Ремедиос Буэндия веет не дыханием любви, а прохладой смерти. Случай, позволивший убедиться в этом, представился через несколько месяцев, когда

однажды днем Ремедиос Прекрасная пошла с подругами посмотреть на банановые плантации. У жителей Макондо появилось новое развлечение: гулять по влажным и бесконечным аллеям среди банановых кустов, где тишина, казалось, тоже откуда-то пришла, была еще совсем нетронутой и потому не приспособилась переносить голоса. Иногда трудно было расслышать слово, сказанное почти рядом, но отлично долетало все то, что говорилось на другом конце плантации. Девушки из Макондо даже придумали новую игру, дававшую столько пищи для смеха и страха, шуток и испугов, что по вечерам они вспоминали о прогулке как о фантастичном сне. Такая слава пошла об этой тишине, что Урсула не решилась отказать Ремедиос Прекрасной в невинном развлечении и позволила пойти на плантации, если та наденет шляпку и приличное платье. Как только девушки попали на плантацию, в воздухе разлилось убийственное благоухание. Мужчины, копавшие каналы, насторожились, обуянные странной тревогой, ощущая приближение опасности, а у многих появилось неуемное желание плакать. Ремедиос Прекрасная со своими испуганными подругами едва успела укрыться в ближайшем доме от кинувшейся за ними своры взбудораженных самцов. Немного погодя девушек вызволили четверо Аурелиано, чьи пепельные кресты вызывали священный трепет, словно отметины высшей касты или печати неуязвимости. Ремедиос Прекрасная никому не сказала, что в толкотне одному мужчине удалось вцепиться ей в живот рукой, как орлу, который цеплялся когтистой лапой за край пропасти. Она ослепила обидчика вспышкой своего взгляда, его безутешные глаза обожгли ее сердце жалостью. Тем же вечером этот человек стал на Турецкой улице похваляться своей смелостью и выпавшей ему счастливой судьбой, а минутой спустя взбрыкнувшая лошадь разбила ему копытом грудь, и толпа прохожих смотрела, как он кончается, захлебываясь кровавой блевотой.

Предположение о том, что Ремедиос Прекрасная способна приносить смерть, отныне было подтверждено четырьмя неопровержимыми фактами. Хотя некоторые пустобрехи утверждали, что можно жизнь отдать за одну ночь любви с такой умопомрачительной женщиной, на деле никто на это не отваживался. А ведь, может быть, не только для того, чтобы обладать ею, но и для того, чтобы отвести от себя смерть, достаточно было познать лишь такое нехитрое и простое чувство, как любовь, но именно это и не приходило никому в голову. Урсула кончила тем, что махнула рукой на правнучку. Раньше, когда Урсула еще лелеяла мечту спасти Ремедиос Прекрасную для людей, она старалась привить ей навыки домоводства. «Мужчинам нужно больше, чем ты думаешь, – говорила она загадочно. – Надо и жарить-парить не переставая, и убирать грязь не переставая, и страдать по мелочам не переставая, помимо всего того, о чем ты думаешь». По сути, старуха обманывала себя, стараясь научить ее семейному счастью, ибо была уверена, что нет на земле такого мужчины, который, удовлетворив страсть, мог бы смириться, хотя бы на день, с такой ее нерадивостью, которая была выше всякого понимания. Рождение последнего Хосе Аркадио и непреодолимое желание сделать его Папой Римским вынудили Урсулу совсем забросить правнучку. Она предоставила Ремедиос Прекрасную ее судьбе, веря, что рано или поздно случится чудо и что на этом свете, где всего хватает, найдется также и мужчина, у которого все-таки достанет терпения жить с ней. Амаранта еще раньше отказалась от всякой попытки превратить Ремедиос Прекрасную в женщину, полезную для домашних дел. В те уже далекие годы, когда племянница без малейшего интереса крутила ручку швейной машинки, Амаранта сделала для себя простой вывод: она – явная дура. «Придется разыгрывать тебя в лотерею», – говорила Амаранта, озадаченная ее полным равнодушием к мужчинам. Позже, когда Урсула

настояла на том, чтобы Ремедиос Прекрасная ходила к мессе, прикрыв лицо мантильей, Амаранта было подумала, что напускаемая таинственность, напротив, может помочь делу и заинтригует какого-нибудь мужчину, который будет терпеливо завоевывать сердце молодой девушки. Но когда она увидела, как глупо расправилась красавица с претендентом, который во многих отношениях был заманчивей принца, то поставила на ней крест. А Фернанда и не старалась понять Ремедиос Прекрасную. В наряде королевы на кровавом карнавале она показалась Фернанде существом необыкновенным, но увидев, что девушка ест руками, и услышав ее до ужаса наивные суждения, Фернанда могла только сожалеть, что умалишенные в роду Буэндия живут очень долго. Несмотря на то, что полковник Аурелиано Буэндия продолжал верить и повторять, будто Ремедиос Прекрасная – самый здравомыслящий человек из всех, кого он знал, и что она на каждом шагу доказывает это своей поразительной способностью плевать на всех и на все, ее предоставили воле Божьей. Ремедиос Прекрасная осталась блуждать по просторам одиночества, ни о чем не печалясь, живя и зрея в своих снах без кошмаров, в своих бесконечных омовениях в своих беспорядочных трапезах, в своем долгом и глубоком молчании без воспоминаний, пока наконец в марте месяце Фернанде не вздумалось снять простыни с веревки, протянутой в саду, и попросить женщин помочь ей сложить их. Едва все приступили к делу, Амаранта заметила, что Ремедиос Прекрасная сделалась страшно, почти прозрачно бледной.

– Тебе плохо? – спросила она. Ремедиос Прекрасная, державшая простыню за другой конец, в ответ улыбнулась с состраданием.

– Напротив, – сказала она. – Мне никогда не было так хорошо.

Едва она это сказала, как Фернанда почувствовала, что легкий порыв света вырвал у нее из рук простыни и распластал их в воздухе во всю ширь. Амаранта ощутила, как вдруг затрепетали кружева на ее юбках, и хотела уцепиться за простыню, чтобы не упасть, но в этот момент Ремедиос Прекрасная стала подниматься ввысь. Урсула, уже почти слепая, была среди них единственной, у кого хватило ума понять природу этого необоримого дуновения, и она отдала простыни на милость светлого ветра и смотрела, как Ремедиос Прекрасная машет ей на прощание рукой среди сверкающих трепетных простынь, которые вместе с ней покидают земной воздух жуков и георгинов, летят сквозь солнечный воздух, где на исходе половина пятого, и скрываются с ней навеки в поднебесье, куда не смогут долететь даже устремленные ввысь птицы памяти.

Пришлый люд полагал, конечно, что Ремедиос Прекрасная уступила наконец своему роковому уделу Царицы пчел и что ее семья хочет отговориться выдумкой о ее вознесении. Фернанда, снедаемая завистью, все же смирилась с мыслью о диве и долгое время молила Бога вернуть ей простыни. Большинство людей тоже поверили в чудо, и даже были зажжены свечи и отслужена месса к девятинам. Возможно, об этом событии еще долго бы вспоминали, если бы зверское убийство всех Аурелиано не заставило бы изумление уступить место ужасу. Хотя полковник Аурелиано Буэндия не считал это предвидением, он в какой-то мере предчувствовал трагический конец своих сыновей. Когда Аурелиано Пильщик и Аурелиано Жестянщик, те двое, что прибыли с первыми толпами, пожелали остаться в Макондо, отец пытался их отговорить. Ему было непонятно, что им делать в городе, который в мгновение ока превратился в рассадник преступности. Но Аурелиано Ржаной и Аурелиано Хмурый, поддержанные Аурелиано Вторым, дали им работу. Полковник Аурелиано Буэндия сам еще не мог как следует понять, почему он не одобряет решение сыновей. С тех пор как он увидел сеньора Брауна в первом прибывшем в Макондо автомобиле – с откидным верхом

и с клаксоном, пугавшим собак своим хриплым ревом, – старый вояка не переставал возмущаться людским холуйством и все больше убеждался в том, что каким-то образом изменилось нутро того народа, тех мужчин, которые в прежние времена могли оставить жен и детей и, закинув за плечи винтовку, уйти воевать. После заключения Неерландского перемирия местные власти были представлены апатичными алькальдами и декоративными судьями, которых избрали равнодушные и усталые консерваторы Макондо. «Режим ублюдков, – ворчал полковник Аурелиано Буэндия, глядя на босоногих полицейских, вооруженных деревянными дубинками. – Мы, выходит, всю жизнь воевали для того, чтобы наши дома не красили в синий цвет». Правда, как только тут обосновалась Банановая компания, местных чиновников сменили властные чужестранцы, которых привез сеньор Браун и поселил в электрифицированном курятнике, чтобы они пользовались, как он объяснял, надлежащим комфортом и не страдали от жары, москитов и бесчисленных лишений и неудобств городского жилья. Старых полицейских заменили наемные убийцы с мачете. Запершись в своей мастерской, полковник Аурелиано Буэндия размышлял об этих переменах, и впервые за долгие годы молчания в одиночестве он убедился и с тоской признался себе в том, что совершил большую ошибку, не доведя войну до логического конца. Как раз в эти дни брат уже забытого полковника Магнифико Висбаля повел своего семилетнего внука на площадь к лоточникам угостить его фруктовой водой, но мальчик случайно толкнул сержанта полиции и облил ему мундир, а бандит тут же изрубил ребенка в котлету и одним ударом отсек голову его деду, защищавшему внука. Весь город видел обезглавленный труп старика, когда его несли домой, а голову тащила за волосы какая-то женщина и волочила окровавленный мешок с останками мальчика.

Этот эпизод положил конец поре искупления полковника Аурелиано Буэндии. Он пришел вдруг в такое же неистовство, как тогда, в юности, когда увидел труп женщины, которую забили насмерть прикладами лишь потому, что ее укусила бешеная собака. Он поглядел на толпы зевак, проходивших мимо его дома, и огласил улицу своим прежним громовым ревом, которым выразил глубокое презрение к самому себе и излил на людей всю ненависть, которая уже не умещалась в его сердце.

– Придет день, – кричал он, – и я вооружу своих парней, чтобы они покончили с этими засранцами гринго!

В течение ближайшей недели в разных местах побережья все его семнадцать сыновей были перестреляны, как кролики, убийцами-невидимками, которые целились в самую середину пепельного креста. Аурелиано Хмурый выходил из дома своей матери в семь вечера, когда ружейная пуля из темноты пробила ему лоб. Аурелиано Ржаной был найден в гамаке на своей фабрике с вонзенным между глаз топориком для колки льда. Аурелиано Пильщик проводил свою невесту из кино к дому ее родителей и возвращался по ярко освещенной Турецкой улице, когда кто-то из толпы – так и не узнали кто – выстрелил в него из револьвера, и бедняга упал прямо в котел с кипящим маслом. Через несколько минут постучали в дверь, где Аурелиано Жестянщик заперся с какой-то женщиной, и закричали: «Скорее! Братьев твоих убивают!» Женщина потом рассказывала, что Аурелиано Жестянщик выпрыгнул из постели, открыл дверь и был встречен пулей из маузера, разнесшей ему череп. В ту смертоносную ночь, когда в доме готовились к отпеванию четырех покойников, Фернанда бегала, как безумная, по городу в поисках Аурелиано Второго, которого Петра Котес заперла в шкаф, думая, что прикончат всех, кто носит имя полковника. Она выпустила его лишь на четвертый день, когда, судя по телеграммам из разных мест побережья, стало

ясно, что ярость невидимого врага направлена только против братьев, отмеченных пепельным крестом. Амаранта отыскала счетоводную книгу, куда она внесла все сведения о племянниках, и по мере поступления телеграмм вычеркивала их имена, пока не остался только самый старший. Он хорошо всем запомнился своими большими зелеными глазами на очень темном лице. Его звали Аурелиано Сластолюб, он был плотником и жил в селении, затерянном среди горных отрогов. Прождав две недели и не получив сообщения о его смерти, Аурелиано Второй послал к нему гонца, думая, что он не знает об опасности. Гонец вернулся с известием о спасении Аурелиано Сластолюба. В ночь убийств к нему в дом пришли двое и разрядили в него револьверы, но в пепельный крест не попали. Аурелиано Сластолюбу удалось перепрыгнуть через ограду в патио и скрыться в лабиринтах скал, которые он знал как свои пять пальцев благодаря дружбе с индейцами, продававшими ему древесину. Больше о нем и не слышали.

Для полковника Аурелиано Буэндии наступили черные дни. Президент Республики направил ему телеграмму с выражением соболезнования, обещая провести тщательное расследование и добрым словом помянуть убиенных. По распоряжению президента на похороны явился алькальд с четырьмя венками, дабы возложить их на гробы, но полковник Аурелиано Буэндия выставил его за дверь. После погребения он написал и сам отнес на почту такую оскорбительную для президента телеграмму, что телеграфист отказался ее отправить. Тогда полковник расцветил текст еще более забористыми словами, сунул бумагу в конверт и бросил в почтовый ящик. Как это уже было с ним после смерти жены, как не раз бывало во время войны при гибели близких друзей, он испытывал не тоску, а бешеную слепую ярость от своего мертвящего бессилия. Он дошел до того, что обвинил падре Антонио Исабеля в сообщничестве с бандитами, ибо тот пометил его сыновей несмываемым пеплом и тем помог врагам их найти. Дряхлый служитель церкви, у которого уже ум заходил за разум, и паства иной раз пугалась той ахинеи, какую он нанес с амвона, явился однажды в дом Буэндия с чашей влажного пепла и попытался было вымазать им всех членов семьи, чтобы доказать, как быстро пепел смывается водой. Но страх перед несчастьем так глубоко проник в их души, что даже Фернанда отказалась от эксперимента, и более никогда и никто из семьи Буэндия не преклонял колена в исповедальне для помазания пеплом в святую среду.

Полковник Аурелиано Буэндия очень долго не мог успокоиться. Он прекратил мастерить золотых рыбок, ел через силу и бродил как лунатик по дому, волоча свой плащ и перетирая зубами глухую ярость. Три месяца спустя его волосы побелели, торчащие и напомаженные когда-то усы вяло обтекали бескровные губы, но зато в его глазницах снова пылали два угля, которые когда-то, при его рождении, так испугали людей, а позже одним лишь взглядом заставляли двигаться стулья. Напрасно старался он в своем терзающем душу гневе вызвать предчувствия, которые вели его молодость по тропам опасности к скорбной пустыне славы. Он потерялся, заблудился в этом чужом доме, где уже никто не пробуждал и ничто не вызывало в нем никакого чувства. Как-то открыл он комнату Мелькиадеса, желая найти хотя бы след довоенных времен, и наткнулся лишь на мусор, грязь и кучи всякой всячины, накопившейся за долгие годы забвения. По слипшимся грудам книг, которых никто не читал, по старым, раскисшим от сырости пергаментам щедро разлилась бледная плесень, а в воздухе, когда-то самом чистом и светлом во всем доме, плавало зловоние сгнивших воспоминаний. Однажды утром он увидел, как под каштаном плачет Урсула, уткнувшись в колени покойного мужа. Полковник Аурелиано Буэндия единственный из всех обитателей дома перестал видеть могучего старца, согбенного полувеком невзгод. «Поклонись отцу», –

сказала ему Урсула. Он на миг задержался у каштана и еще раз убедился в том, что и это порожнее место не вызывает в нем никаких чувств.

– Что говорит отец? – спросил он.

– Он горюет, – отвечала Урсула, – думает, что ты должен скоро умереть.

– Скажи ему, – усмехнулся полковник, – что умирают не тогда, когда должно, а тогда, когда можно.

Пророчество покойного отца раздуло последний пожар в угасающей гордыне его сердца, но эту вспышку он принял за внезапное возвращение былой силы. И потому стал требовать у Урсулы, чтобы она показала ему место в патио, где зарыты золотые монеты, выпавшие из гипсовой фигуры святого Иосифа. «Ни за что не покажу, – твердо сказал она, помня горький урок прошлого. – Когда-нибудь, – добавила она, – обязательно придет хозяин богатства, ему и достанется». Никто не мог понять, почему человек, всегда бросавший деньги на ветер, вдруг стал хищным скопидомом, которого интересовали не скромные суммы для необходимых трат, а капиталы таких неслыханных размеров, что Аурелиано Второй едва пришел в себя от удивления, услышав названную цифру. Старые товарищи, к которым он обратился за помощью, избегали его, как могли. Именно в эту пору он сказал: «Теперь единственная разница между либералами и консерваторами состоит в том, что либералы ходят молиться к пятичасовой мессе, а консерваторы – к восьмичасовой». Тем не менее он требовал так настойчиво, умолял так пылко, не оставляя камня на камне от былой своей чести и достоинства, что, получая понемногу то там, то сям, действуя в одном месте тихо и вкрадчиво, в другом – напористо и жестко, сумел за восемь месяцев собрать больше денег, чем Урсула закопала в патио. И тогда он посетил больного полковника Херинельдо Маркеса, чтобы тот помог ему развязать тотальную войну.

Было время, когда парализованный полковник Херинельдо Маркес действительно мог, даже из своего кресла-качалки, раскрутить подгнившие приводные ремни восстания. После Неерландского соглашения, когда полковник Аурелиано Буэндия отсиживался в тихом омуте со своими золотыми рыбками, Херинельдо Маркес общался с мятежными офицерами, бывшими рядом с ним до самого последнего поражения. Они вместе прошли печальную войну каждодневных унижений, ходатайств и памятных записок, постоянных «придите завтра», «уже скоро», «внимательно изучаем ваше дело»; вместе вели заведомо проигрышную войну против «уважающих вас» и «ваших покорных слуг», которые должны были назначить – но так и не назначали – пожизненные пенсии. Та, предыдущая война, двадцатилетняя и кровопролитная, не наносила им таких ударов, как эта тихая война отговорок и проволочек. Сам полковник Херинельдо Маркес, избежавший трех покушений, выживший после пяти ранений и вышедший живым и невредимым из бесчисленных боев, не выдержал жизни на измор и смирился с обидным поражением своей старости, думая об Амаранте под оконными ромбами солнечных лучей в арендуемом доме. Последних оставшихся ветеранов он дважды увидел в газете: высоко вскинув головы, чтобы преодолеть унижение, они стояли рядом с очередным безвестным президентом Республики, воткнувшим в лацканы их пиджаков значок с собственным изображением и преподнесшим старое, замаранное кровью и порохом знамя, которое будет положено на их гробы. Другие вояки, еще не растерявшие последнюю гордость, дожидались пенсии в сумерках общественной благотворительности, умирая с голоду, выживая со злости, превращаясь в тлен от старости в благоуханном дерьме славы. Таким образом, когда полковник Аурелиано Буэндия навестил друга с предложением разжечь очистительный пожар, способный дотла спалить позорный и

прогнивший режим, поддерживаемый иностранным захватчиком, полковник Херинельдо Маркес не мог подавить щемящего чувства сострадания.

– Эх, Аурелиано, – вздохнул он, – я знал, что состарился, но сейчас я понял, что ты еще более стар, чем выглядишь.

В сумятице последних лет Урсула далеко не всегда находила время обучать Хосе Аркадио тому, что следует знать Папе Римскому, и даже не заметила, как подошло время спешно готовить его для поступления в семинарию. Меме, сестра Хосе Аркадио, которую дрессировали Фернанда – суровыми наказаниями и Амаранта – ворчливыми замечаниями, тоже достигла такого возраста, когда можно было отправить ее в монастырскую школу, где из нее должна была получиться виртуозная исполнительница на клавикордах. Урсула испытывала серьезные опасения относительно того, насколько действенная методика, с помощью которой она старалась возвеличить дух нерадивого претендента на папский престол, но она винила в том не свою колченогую старость и не темный туман, опускавшийся ей на глаза, а нечто такое, что сама она не могла определить, но смутно ощущала как скоротечную болезнь времени. «Прежним-то годам не угнаться за нынешними», – повторяла она, чувствуя, что дни и месяцы сыплются у нее сквозь пальцы, как песок. Раньше, думалось ей, дети росли долго-долго. Разве припомнишь все то время, которое прошло прежде, чем Хосе Аркадио, старший сын, ушел с цыганами, и все те события, которые случились до того, как он вернулся, узорчатый, как змей, и болтающий про другие миры, как звездочет, и все те вещи, происшедшие в доме, пока Амаранта и Аркадио позабыли язык индейцев и выучили испанский. А сколько восходов и закатов пережил бедный Хосе Аркадио Буэндия под каштаном, и сколько слез пролито после его смерти и до того, как принесли домой умиравшего полковника Аурелиано Буэндию, которому, хотя он уже так много воевал и так много доставил другим страданий, еще не исполнилось и пятидесяти. Когда-то, потратив целый день на своих леденцовых зверушек, Урсула находила время и для присмотра за детьми, по их глазам видела, что пора влить в них касторку. А теперь, когда ей нечего было делать и она с утра до вечера только и нянчилась с Хосе Аркадио, время, сорвавшееся с цепи, заставляло ее бросать дела на полдороге. Надо заметить, что Урсула противилась старости еще с тех пор, когда потеряла счет своим годам, и по-прежнему всюду совалась, вмешивалась во все дела и всякий раз приставала к чужакам с вопросом – не оставил ли кто из них в военные времена гипсового святого Иосифа тут, в доме, пока не пройдет дождь.

Никто точно не мог сказать, когда она стала терять зрение. Даже в последние годы, когда Урсула уже не вставала с постели, думали, что она слегла от дряхлости, но никому и в голову не приходило, что она давно ослепла. Сама же Урсула еще до рождения Хосе Аркадио заметила, что глаза слабеют. Сначала она думала, что это – явление временное, и тайком пила бульон из мозговых костей и капала в глаза пчелиный мед, но вскоре стала убеждаться, что навсегда погружается во мрак; ей так и не пришлось по достоинству оценить электрический свет: когда зажглись электрические лампочки, ей виделся лишь их тусклый отблеск. И никому о том не говорила, потому что все сочли бы ее обузой в доме. Старуха принялась запоминать расстояния между вещами, а также голоса людей, чтобы видеть мир памятью, когда мутные бельма закроют свет. Позже она обнаружила, что ей вдруг на помощь приходят запахи, которые в потемках различаются гораздо резче, чем цвета и объемы, и это спасло ее от постыдного разоблачения. В полной тьме она могла видеть нить и иголку и

связать петлю и ощущала, когда начинает закипать молоко. Она так хорошо знала, где лежит каждая вещь, что иногда сама забывала о своей слепоте. Однажды Фернанда подняла на ноги весь дом в поисках своего обручального кольца, а Урсула пошла и взяла его с полки в детской комнате. Все было проще простого: когда до этого случая члены семьи находились дома, Урсула со своими четырьмя чувствами всегда была начеку, чтобы ее не застали врасплох, и через какое-то время сообразила, что каждый домочадец, сам того не подозревая, ежедневно ходит по одним и тем же местам, делает одно и то же, и даже говорит почти одни и те же слова в одно и то же время. Только когда кто-нибудь нарушает свою привычную круговерть, он рискует что-либо потерять. Услышав, как переполошилась Фернанда из-за потерянного кольца, Урсула вспомнила, что единственным из ряда вон выходящим событием того дня была чистка и сушка детских матрацев, так как Меме ночью нашла в постели клопа. Поскольку при этой процедуре присутствовали дети, Урсула предположила, что Фернанда сунула кольцо туда, где дети не могли его достать: на полку. Фернанда же, напротив, искала его на своих каждодневных путях, не ведая, что поискам потерянных вещей мешают людские неистребимые привычки и потому всегда так трудно найти то, что ищешь.

Воспитывая Хосе Аркадио, Урсула могла, хотя это ей стоило немалого труда, быть в курсе самых незначительных событий, происходивших в доме. Когда она, к примеру, узнала, что Амаранта переодевает святых в спальне, то сделала вид, будто обучает ребенка различать цвета.

– А ну-ка, – говорила она ему, – скажи мне, какого теперь цвета одежда у святого архангела Рафаила?

Таким образом, мальчик доставлял ей те сведения, в которых отказывали глаза, и задолго до того, как он уехал в семинарию, Урсула уже умела определять на ощупь, по ткани, цвет одежды святых. Иногда случалось и непредвиденное. Однажды днем Амаранта сидела на галерее возле бегоний и вышивала, а Урсула сослепу наткнулась на нее.

– Господи Боже, – с раздражением сказала Амаранта, – гляди, куда идешь.

– Ты сама сидишь не там, где надо, – ответила Урсула.

И была совершено права. Но именно в этот день ей пришло в голову то, чего никто не замечал: в течение года солнце то соскальзывало ниже, то поднималось выше по своей дороге, и все, кто сидел в галерее, мало-помалу и без всякого предупреждения передвигались с одного места на другое. С той поры Урсуле стоило лишь вспомнить, какое ныне число, и она уже точно знала, где должна сидеть Амаранта. Хотя руки у старухи дрожали все сильнее, а ноги с каждым днем становились все тяжелее, никогда ее худенькую фигурку не видели так часто сразу в нескольких местах. Она была, кажется, не менее подвижна, чем тогда, когда одна справлялась со всем домашним хозяйством. Однако в непроницаемом одиночестве своей глубокой старости она обрела такой дар ясновидения, что стала понимать истинную суть самых, казалось бы, незначительных семейных событий, впервые в жизни открывавшихся ей во всей своей правде, которую раньше заслоняли постоянные хлопоты и заботы.

В ту пору, когда Хосе Аркадио готовили к отъезду в семинарию, Урсула уже подвергла самому тщательному разбору жизнь домочадцев, начиная с основания Макондо, и полностью изменила мнение о многих своих потомках. Она поняла, что полковник Аурелиано Буэндия разлюбил семью не потому, что очерствел на войне, как ей раньше думалось, а потому, что никогда никого не любил – ни свою супругу Ремедиос, ни бесчисленных женщин одной ночи, прошедших через его жизнь, ни тем более своих сыновей. Ей стало ясней ясного, что

воевал он всю свою жизнь не за высокие идеалы, как все думали, и не усталость заставила его отказаться от верной победы, как все думали, а всего-то обыкновенная греховная чванливость, которая принесла ему и победы, и поражения. Урсула пришла к выводу, что этот ее сын, ради которого она жизнь бы отдала, просто был человеком, не способным любить. Однажды ночью, когда он еще копошился у нее во чреве, она услышала его крик. Ребенок вскрикнул так громко, что Хосе Аркадио Буэндия, лежавший рядом, проснулся и возомнил, что его сын будет чревовещателем. Другие предсказывали, что быть ребенку ясновидцем. Урсула же, напротив, содрогнулась в уверенности, что этот нутряной визг предсказывает появление чудища со свиным хвостиком, и молила Бога, чтобы дитя погибло при родах. Но внутренний, проникновенный взор старости позволил ей теперь распознать – о чем она повторяла не раз, – что плач детей во чреве матери отнюдь не признак их способности чревовещать или предвидеть, а просто говорит об их неспособности любить. И разочарование в сыне пробудило к нему сострадание, которого не было. Амаранта, чье бессердечие ее страшило, чья безысходная тоска ее печалила, напротив, вдруг открылась перед ней женщиной с самой чувствительной и нежной душой на свете, и мать поняла с мучительной ясностью, что незаслуженные страдания, которым дочь подвергала Пьетро Креспи, диктовались не чувством мести, как все думали; что пытка медленным огнем, доконавшая полковника Херинельдо Маркеса, была вызвана не озлоблением и хандрой, как все думали, а в обоих случаях в сердце Амаранты шла борьба не на жизнь, а на смерть между беспредельной любовью и необоримым колебанием, и в конце концов побеждал безотчетный страх, который одолевал ее после всех сердечных терзаний. Именно в эту пору Урсула стала часто вспоминать имя Ребеки, говорить о ней с прежней любовью, которую усиливало запоздалое раскаяние и вдруг родившееся благоговение перед ней, ибо старуха поняла, что только Ребека, которая была вскормлена не ее, Урсулы, молоком и ела землю и стенную известку; у которой в жилах текла не ее кровь, а чужая кровь чужих людей, чьи кости продолжали постукивать даже в могиле, Ребека, женщина с неистовым сердцем, с бешеным лоном, была единственным существом, обладавшим той безумной отвагой, какой Урсула желала бы наградить всех своих потомков.

– Ребека, – шептала она, цепляясь за стены, – как несправедливо мы с тобой обошлись!

Домочадцы полагали, что Урсула, в общем, свихнулась, особенно когда она стала бродить по комнатам, вытянув вперед правую руку, как архангел Гавриил. Фернанда, однако, видела, что сквозь мрак затмения еще пробивается луч разума, ибо Урсула могла не задумываясь сказать, сколько денег израсходовано в доме за истекший год. И Амаранта убедилась в этом, когда мать, стоя на кухне у кастрюли с супом и ни к кому не обращаясь, вдруг сказала, что мельница для маиса, купленная у первых цыган и пропавшая еще до того, как Хосе Аркадио объехал семьдесят пять раз вокруг света, сейчас находится у Пилар Тернеры. Прожившая тоже почти сотню лет, но крепкая и бодрая, несмотря на свою непомерную толщину, которая так же пугала детей, как некогда распугивал голубей ее заливчатый смех, Пилар Тернера не удивилась, что недреманное око старости может видеть острее гадальных карт.

Однако когда Урсула поняла, что ей не хватает времени для того, чтобы упрочить веру Хосе Аркадио в его призвание, она и вправду начала терять голову с горя. Стараясь разглядеть глазами предметы, которые интуиция позволяла видеть гораздо лучше, она стала допускать промахи. Однажды утром вылила мальчику на голову чернила из пузырька, полагая, что это – одеколон. Ошибку за ошибкой делала в своем упорном намерении во все

вмешиваться и, порой впадая в отчаяние, всеми силами старалась разорвать мрак, который уже опутывал ее плотной паутиной. И тут она поняла, что ее несуразные действия вовсе не первая победа немощи и слепоты, а просто какой-то недочет времени. Она подумала, что раньше, когда Господь Бог не укорачивал втихомолку месяцы и годы, как это делали турки, отмеряя куски перкаля, все шло иначе. Теперь же не только дети росли быстрее, но даже люди разучились чувствовать, как надо. Не успела Ремедиос Прекрасная вознестись на небеса душой и телом, как эта бесстыжая Фернанда разворчалась на весь дом, что та унесла ее простыни. Не успели остыть тела убитых братьев Аурелиано в могилах, как Аурелиано Второй снова устраивал дома гулянки, где чужая пьяная братия под визг аккордеона упивалась шампанским, словно бы и не христиане скончались, а собаки сдохли, и словно бы этот сумасшедший дом, который стоил ей, Урсуле, столько сил и стольких леденцовых зверушек, превратился в грязный притон. Предаваясь воспоминаниям, пока укладывали сундук Хосе Аркадио, Урсула спрашивала себя, не лучше ли сразу улечься в могилу, чтобы тебя закопали, и делу конец, и без капли страха выпытывала у Бога, не думает ли он, что люди и в самом деле железные, если могут стерпеть столько бед и горя, а от вопросов и сомнений голова совсем пошла кругом, и ей страстно захотелось выразиться грубо и свободно, как какой-нибудь бродяге, одним духом выплеснуть все, что накопилось на душе, позволить себе закусить удила только раз, единственный раз – к чему она так рвалась, но смиряла свой норов, – один раз окунуть всех в дерьмо, излить из нутра море грязной ругани, в которой молча захлебывалась, вечно подлаживаясь под всех.

– Блядство! – выкрикнула она.

Амаранта, набивавшая одеждой сундук, подумала, что мать наступила на скорпиона.

– Где? – спросила она с испугом.

– Что?

– Да это самое! – пояснила Амаранта. Урсула ткнула себе пальцем в сердце.

– Тут, – сказала она.

В четверг, в два часа дня пополудни, Хосе Аркадио уехал в семинарию. Урсуле он всегда будет казаться, каким виделся при расставании: вялый угрюмый подросток, не проливший ни слезинки, как она его и учила, источившийся от жары в зеленом вельветовом костюме с медными пуговицами и накрахмаленным бантом у ворота. После него в столовой остался резкий запах одеколона, которым Урсула кропила ему голову, чтобы легче находить его в комнатах. Во время прощального обеда домочадцы скрывали волнение за веселыми шутками и слишком громко смеялись над забавными случаями из жизни падре Антонио Исабеля. Но когда подняли на руки большой сундук с серебряными уголками, обитый изнутри бархатом, казалось, что из дома выносят гроб. Единственный, кто отказался принимать участие в проводах, был полковник Аурелиано Буэндия.

– Только этой чуши нам не хватало, – проворчал он. – Его Святейшество Папа!

Три месяца спустя Аурелиано Второй и Фернанда отвезли Меме в монастырскую школу и вернулись с клавикордами, сменившими пианолу. В эту пору Амаранта начала ткать себе саван. Банановая лихорадка поутихла. Старожилы Макондо были заметно потеснены пришельцами и, трудясь по старинке на прежних работах, потом и кровью добывали деньги, но при всем этом утешались мыслью, что после кораблекрушения им удалось спастись. В доме Буэндии все так же принимали гостей к обеду, но, сказать по правде, строгие старые порядки не восстановились, пока, годы спустя, не пришел конец Банановой компании. Однако и былые формы традиционного гостеприимства очень изменились, ибо бразды

домашнего правления перешли к Фернанде. С Урсулой, совсем погрузившейся во мрак, и с Амарантой, увлеченной своей работой над саваном, бывшая претендентка на королевский трон совсем не считалась, составляя списки приглашенных и угощая их более чем скромными блюдами, к чему ее приучили родители. Приверженность Фернанды к суровым порядкам превратила дом Буэндия в цитадель изжитых обычаев в городе, захлестнутом вульгарностью пришлых прожигателей жизни и добытчиков легких денег. Фернанда считала добропорядочными людьми только тех, кто ничем не был связан с Банановой компанией. Даже Хосе Аркадио Второй, ее деверь, пал жертвой пристрастного отбора, ибо в первые же часы банановой заварухи он опять распродал своих прекрасных бойцовых петухов и пошел служить капатасом в компанию.

– На порог его не пущу, – сказала Фернанда, – пока будет знаться с пришлым людом.

В доме теперь все ходили по струнке, и Аурелиано Второй чувствовал себя вольготнее у Петры Котес. Сначала, под предлогом облегчить жизнь супруге, он перенес в дом к Петре свои бурные трапезы. Потом, под предлогом, что скот стал хуже плодиться, понастроил новые хлева и конюшни. Наконец под предлогом того, что в доме сожительницы дышится легче, перевел туда свою небольшую контору, где заключал всякие сделки. Когда Фернанда поняла, что оказалась вдовой при живом муже, было уже поздно. Аурелиано Второй и обедал-то дома уже не всегда, разве что приходил переспать с женой, однако это единственное соблюдение внешних приличий никого ни в чем не убеждало. Однажды он позабыл и о супружеском визите, и утро застало его в постели Петры Котес. Вопреки всем ожиданиям, Фернанда не только не упрекнула его, но даже не вздохнула горестно, однако в тот же день отправила в дом любовницы два сундука с его одеждой. Отправила средь бела дня и велела тащить их по самой середине улицы у всех на виду, полагая, что заблудивший муж не вынесет позора и, как побитый пес, вернется в конуру. Но этот героический поступок был едва ли не еще одним доказательством того, как плохо знала Фернанда не только характер мужа, но и нравы здешнего общества, которое не имело ничего общего с окружением ее родителей, ибо люди, скользнув взглядом по сундукам, говорили себе, что наконец-то завершилась как надо вся эта история, интимные подробности которой ни для кого не были секретом, и Аурелиано Второй, получив в дар свободу, от радости шумно гулял три дня. В довершение всех глупостей покинутая супруга некстати подчеркивала свое увядание, облачаясь в темные платья, навешивая на себя допотопные медальоны и неуместно кичась своими манерами, тогда как любовница, разодевшись в яркие шелка и засветив вечные огни своих тигрово-желтых глаз, казалось, переживает вторую молодость. Аурелиано Второй снова отдался ей со всем пылом юности, как раньше, когда Петра Котес любила не его одного, а обоих братьев-близнецов, путая их в постели и думая, что Господь Бог подарил ей мужчину, который может любить за двоих. Вновь вспыхнувшая страсть была такой нестерпимой, что, случалось, они только сядут за стол обедать, как вдруг, молча взглянув друг другу в глаза, прихлопнут кастрюли крышками и бегут в спальню умирать от голода и от любви. Вдохновленный новшествами, увиденными во время своих кратковременных посещений французских матрон, Аурелиано Второй купил Петре Котес кровать с балдахином из красного бархата, повесил на окна тяжелые гардины и выложил в спальне потолок и стены огромными зеркалами из горного хрусталя. А сам стал еще большим гулякой и кутилой, чем раньше. Поезд, прибывавший ежедневно в одиннадцать утра, доставлял ему ящиками шампанское и бренди. Возвращаясь со станции и выписывая ногами кренделя кумбиямбы, он тащил к себе всех встречных, местных и пришлых, знакомых и еще

незнакомых, кого Бог на пути пошлет, без разбора. Даже необщительный сеньор Браун, который умел лишь каркать на своем непонятном языке, не мог устоять перед заманчивым гостеприимством Аурелиано Второго и не раз его видели мертвецки пьяным в доме Петры Котес, а бывало, сеньор Браун даже заставлял сопровождавших его лютых немецких овчарок подвывать ему в тон, когда он пытался петь под аккордеон техасские песни.

– Плодитесь, коровы, – орал Аурелиано Второй в развеселом угаре. – Плодитесь, жизнь быстротечна!

Никогда он не был так популярен, никогда его так не любили, никогда так безудержно не множилась его скотина. На алтарь нескончаемых пиршеств бросали столько быков, столько свиней и кур, что земля в патио стала черной и топкой от крови. Двор превратился в постоянную свалку костей и кишок, в помойку для объедков, и приходилось все время взрывать динамитные шашки, чтобы стервятники заодно не выклевали глаза и у гостей. Аурелиано Второй сильно растолстел, расплылся, побагровел из-за своего чревоугодия, сравнимого разве что с аппетитом Хосе Аркадио, когда тот вернулся из своих кругосветных прогулок. Слава о его потрясающем обжорстве, о его безудержном транжирстве, о его неслыханном хлебосольстве разнеслась далеко за пределы низины и задела за живое чревоугодников самого высокого класса. Со всех сторон в дом Петры Котес стекались прославленные обжоры, чтобы принять участие в нелепых соревнованиях: кто больше съест и кто дольше ест. Аурелиано Второй слыл непревзойденным едоком до той злосчастной субботы, когда появилась Камила Сагастуме, настоящая женщина-тотем, известная во всей стране под добрым именем Слониха.

Состязание продолжалось до рассвета во вторник. Слопав за первые двадцать четыре часа целого теленка с гарниром из ямса, маниоки и жареных бананов и выпив полтора ящика шампанского, Аурелиано Второй возомнил себя победителем. К тому же он поглощал яства более вдохновенно, более живописно, чем его невозмутимая соперница, которая расправлялась с едой, конечно, более профессионально, но зато являла собой не столь захватывающее зрелище для пестрой публики, заполнившей дом. Аурелиано Второй рвал мясо зубами и глотал кусками, лишь бы скорее добиться победы, а Слониха разрезала жаркое с искусством хирурга и ела без спешки и даже с известным изяществом. Она была женщина огромная и крепко сбитая, но ее невероятная тучность скрашивалась мягкой женственностью, и лицо у нее было очень красивое, руки – точеные и ухоженные, и таким обаянием от нее веяло, что Аурелиано Второй, впервые увидев ее, пробурчал, что предпочел бы вступить с ней в сражение не за столом, а в постели. Позже, когда он увидел, как Слониха уплела телячью ногу, не погрешив против строжайших правил хорошего тона, он совершенно серьезно сказал, что это благовоспитанное, обворожительное и ненасытное создание из семейства хоботных представляет собой в некотором роде идеальную женщину. И он не ошибался. Долетевшие сюда слухи о том, что Слониха – женщина-молох, пожирающая быков, никак не подтвердились. Не была она ни костодробилкой или мясорубкой, ни бородатой бабой из греческого балагана, как говорили, а была она директрисой певческой школы. Красиво есть она научилась, уже будучи почтенной матерью семейства, желая, чтобы ее дети хорошо кушали, и не после нарочитого разжигания аппетита, а в результате абсолютного духовного успокоения. Ее теория, подтвержденная практикой, состояла в том, что человек, которого совершенно не мучит совесть, может есть без остановки до тех пор, пока хватит сил двигать руками и челюстями. Таким образом, именно по причинам морального свойства, а не из-за спортивного интереса забросила она свою школу и

домашние дела, чтобы вступить в единоборство с человеком, который снискал в стране известность беспринципным обжорством. Как только она его увидела, то сразу поняла: Аурелиано Второго погубит не желудок, а характер. К концу первого вечера, когда Слониха как ни в чем не бывало орудовала ножом и вилкой, Аурелиано Второй, нахохотавшись и набравшись сверх меры, свалился с ног. Соперники проспали четыре часа. Проснувшись, каждый выпил по кувшину сока из пятидесяти апельсинов, по восемь литров кофе и съел по три десятка крутых яиц. На следующее утро, почти не спав ночь и разделавшись с двумя поросятами, большой кистью бананов и четырьмя ящиками шампанского, Слониха стала подумывать, что Аурелиано Второй, сам того не ведая, стал действовать ее методом, и дошел до этого непостижимым путем интуиции. Дело принимало опасный оборот. Однако когда Петра Котес подала на стол двух жареных индеек, Аурелиано Второй взялся за них чуть ли не при последнем издыхании.

– Если не можете, не ешьте, – сказала Слониха. – Будем квиты.

Она сказала так от чистого сердца, понимая, что и сама лишнего куска не проглотит, если у нее на совести будет кончина противника. Но Аурелиано Второй воспринял ее слова как вызов и принялся за индюшку, несмотря на явное переполнение своего гигантского брюха. Но тут же потерял сознание. Так и плюхнулся грудью на блюдо с мясом, пуская пену, как бешеный пес, и хрипя, как в агонии. Он ощутил, словно в тумане, что летит вниз с огромной высоты в бездонную пропасть, и при последней вспышке сознания понял, что концом этого бесконечного падения будет смерть.

– Отнесите меня к Фернанде, – только и смог он сказать. Друзья, притащившие его домой, подумали, что он пожелал исполнить данное супруге обещание не умирать в постели любовницы. Петра Котес начистила до блеска лаковые ботинки, в которых он хотел лечь в гроб, и уже искала, с кем бы их отправить, когда ей передали, что Аурелиано Второй пришел в себя. И в самом деле, меньше чем через неделю он был совершенно здоров, а еще через две недели закатил пир на весь мир в честь своего возврата к жизни. Он продолжал жить у Петры Котес, но ежедневно навещал Фернанду, а порой оставался дома обедать, и в его личной жизни все встало с ног на голову: он превратился в мужа своей любовницы и возлюбленного своей жены.

У Фернанды поубавилось забот. Скуку одиноких часов она скрашивала игрой на клавикордах в сиесту и чтением писем от детей. В ее подробных посланиях, которые она отправляла им каждые две недели, не было ни строчки правды. Все ее горести скрывались от Меме и от Хосе Аркадио. Им не надо было знать о тоскливом унынии, охватившем дом, который, несмотря на свет, озарявший бегонии, несмотря на жару в два часа пополудни, несмотря на частые всполохи уличных праздников за окнами, становился все более похожим на мрачное колониальное жилище ее родителей. Фернанда бродила в одиночестве среди трех живых призраков и одного настоящего привидения – Хосе Аркадио Буэндии, который иногда устраивался в темном углу зала и с напряженным вниманием слушал ее упражнения на клавикордах. Полковник Аурелиано Буэндия превратился в тень с того времени, как он в последний раз вышел из дому, чтобы помочиться под каштаном. Из посетителей он принимал одного брадобрея, раз в три недели. Ел только то, что приносила ему Урсула на обед, и хотя продолжал мастерить золотых рыбок с прежним рвением, запретил продавать их, узнав, что люди покупают изделия не для украшения, а в качестве исторических реликвий. Он разжег в патио костер из кукол Ремедиос, оживлявших его спальню со дня свадьбы. Урсула тотчас поняла, что затеял сын, но остановить его не смогла.

– У тебя сердце – каменное, – сказала она.

– Дело не в сердце, – сказал он. – В комнате моль завелась.

Амаранта ткала свой саван. Фернанда никак не могла уяснить себе, почему та порой пишет письма Меме и даже посылает подарки, а о Хосе Аркадио и слышать ничего не хочет. «Умрут, но не разнюхают – почему», – ответила Амаранта, когда Фернанда захотела разузнать об этом через Урсулу, и этот ответ вечной загадкой колол ей сердце. Высокая, прямая, надменная, никогда не расставаясь с многослойными пышными юбками и неизменно сохраняя – несмотря на возраст и пережитые невзгоды – благообразный вид, Амаранта, казалось, несла на челе своем пепельный крест целомудрия. В общем-то, он был у нее на руке под черной повязкой, которую она не снимала даже на ночь, сама стирала и гладила. Жизнь проходила за вышивкой савана. Можно было подумать, что вышитое днем распарывалось ночью, и не для того, чтобы таким способом одолеть одиночество, а, напротив, чтобы сохранить его.

Самую большую тревогу у оставленной мужем Фернанды вызывало то, что Меме приедет домой на первые каникулы и не найдет Аурелиано Второго дома. Хвативший его удар положил конец ее страхам. К приезду Меме родители мирно договорились вести себя так, чтобы девочка не только думала, что Аурелиано Второй продолжает быть домашним мужем, но и не заметила бы унылой пустоты дома. Все последующие годы Аурелиано Второй в течение двух каникулярных месяцев играл роль примерного супруга и устраивал для дочери вечеринки с мороженым и пирожными, а веселая резвая школьница развлекала гостей игрой на клавикордах. Сразу было видно, как мало взяла Меме от матери. Она казалась копией Амаранты, которая в двенадцать – четырнадцать лет порхала по дому и щебетала, не зная тоски и тревоги, пока тайная страсть к Пьетро Креспи не сбила навсегда ее сердце с пути. Но в отличие от Амаранты, в отличие от всех Меме, казалось, не была отмечена родовой печатью одиночества и радовалась жизни даже тогда, когда ровно в два часа дня запиралась в зале и заставляла себя упражняться на клавикордах. Ей, без всякого сомнения, нравилось бывать дома, весь год мечтать о шумной радости, с какой сверстники встречали ее приезд, и, похоже, ей немало передалось от пристрастия отца к веселым забавам и непомерному гостеприимству. Первые признаки плохой наследственности обнаружились к третьим каникулам, когда Меме явилась домой с четырьмя монахинями и всеми своими соученицами – числом шестьдесят восемь, – которых пригласила погостить недельку в семье, никого не спросив и никого не поставив о том в известность.

– Ох, беда, – причитала Фернанда, – эта девчонка такая же непутевая, как ее отец!

Пришлось одолжить гамаки и кровати у соседей, приглашать к столу в девять смен, учитывать очередность мытья в ванной и достать сорок табуретов, чтобы девочки в синих форменных платьях и грубых башмаках не носились целый день по дому как угорелые. Их нашествие было подлинным бедствием, ибо едва орава школьниц кончала с завтраком, как первая смена уже была готова идти к обеду, а там и ужин поспевал, и за всю неделю гостьи сумели только раз вырваться из дома поглядеть на плантации. К вечеру монахини совсем выбивались из сил, не могли пальцем шевельнуть и последнее пастырское слово произнести, а стадо неугомонных овечек продолжало оглашать патио богомерзкими школьными гимнами. Однажды гостьи едва не задавили Урсулу, которая старалась помогать именно там, где больше всего мешала. А было дело, когда монахини не на шутку всполошились, увидев, что полковнику Аурелиано Буэндии вздумалось помочиться под каштаном, хотя в патио толкались школьницы. Амаранта тоже едва не вызвала настоящую панику, когда на кухне в

присутствии одной из монахинь стала солить суп, а та не нашла ничего умнее, как спросить, что это за белый порошок кидают в кастрюлю.

– Мышьяк, – ответила Амаранта.

В первый же вечер, сразу по прибытии, школьницы затеяли невообразимую толкотню возле уборной, стараясь попасть туда перед сном, но последние из них дошли до цели только к часу ночи. Тогда Фернанда купила семьдесят два ночных горшка, но добилась этим лишь того, что вечернюю проблему сменила проблема утренняя, ибо с рассвета перед уборной выстраивалась длинная очередь девиц с горшками, чтобы опорожнить и сполоснуть посудины. Хотя одни из юных визитерок простудились, а других зверски искусали москиты, большинство стоически переносило самые страшные испытания, и даже в часы дикой дневной жары они топтались в саду. Когда дом наконец опустел, все цветы оказались помяты, мебель сломана, стены изукрашены рисунками и надписями, но Фернанда простила бы все безобразия, только бы больше такого не видеть. Она вернула одолженные у соседей кровати и табуреты, а семьдесят два горшка столбцами поставила в комнате Мелькиадеса. Заброшенная комната, бывшая когда-то центром духовной жизни всего дома, стала отныне называться «горшковой кладовой». Полковник Аурелиано Буэндия нашел это название вполне подходящим, ибо если остальные домочадцы все еще верили в то, что обиталище Мелькиадеса неподвластно тлену и пыли, то полковник считал его настоящей помойкой. Во всяком случае, ему, кажется, было все равно, на чьей стороне правда, и узнал он о судьбе комнаты только потому, что Фернанда целый день таскала туда горшки и мешала ему работать.

В эти самые дни в доме снова объявился Хосе Аркадио Второй. Он, ни с кем не здороваясь, проходил по галерее и исчезал в мастерской полковника, где они вели свои разговоры. Глаза Урсулы уже не могли его видеть, но она чутко прислушивалась к грохоту его каблуков, каблуков капатаса, и поражалась тому, как страшно далеки друг от друга он и его родня. Даже с братом-близнецом, с которым он в детстве дурачил всех игрой в перевоплощения, у него теперь не было абсолютно ничего общего. Хосе Аркадио Второй держался прямо, недоступно, имел вид задумчивый и печальный, как у сарацина, а осенне-бледное лицо порой освещалось мрачным блеском глаз. Он больше походил на свою мать, Санта Софию де ла Пьедад. Урсула упрекала себя за то, что забывала о нем, думая о своей семье, но когда снова ощущала его присутствие в доме и убеждалась, что полковник принимает его в своей мастерской во время работы, начинала опять копаться в старых воспоминаниях и все больше утверждалась во мнении, что в детстве братья-близнецы перепутались, ибо именно этот, зовущийся Хосе Аркадио Вторым, а не другой, должен зваться Аурелиано. Никто не ведал, как он живет. Знали, правда, что когда-то у него не было своего угла, что он разводил петухов в доме Пилар Тернеры и что иногда там ночевал, но обычно проводил ночи с французскими матронами. Жил как живется, без привязанностей, без страстей, как блуждающая комета в планетарной системе Урсулы.

В сущности, Хосе Аркадио Второй не был членом ни этой своей и никакой другой семьи с того далекого утра, когда полковник Херинельдо Маркес отправил его в казарму, – не для того, чтобы он увидел расстрел человека, а чтобы на всю свою жизнь запомнил грустную и чуть недоуменную усмешку расстрелянного. Это стало не только его первым ярким, а, пожалуй, единственным воспоминанием детства. Другим воспоминанием, врезавшимся в память, но неизвестно когда, был старик в допотопном жилете и в шляпе с широкими, черными, как вороново крыло, полями, рассказывавший о всяких чудесах возле озаренного

солнцем окна. Эта давняя картина была неясной, не вызывала ни ностальгии, ни мыслей, не то что воспоминание о расстрелянном, которое, в общем, определило ход его жизни и с возрастом все чаще и рельефнее возникало в памяти, будто с течением времени подходило все ближе и ближе. Урсула старалась использовать визиты Хосе Аркадио Второго, чтобы вызволить полковника Аурелиано Буэндию из добровольного заключения. «Уговори ты его сходить в кино, – просила она. – Если картины и не понравятся, подышит свежим воздухом». Но вскоре до нее дошло, что Хосе Аркадио Второй так же глух к ее мольбам, как сам полковник, и что оба они носят кирасу, непроницаемую для человеческих чувств. Хотя Урсула так и не узнала, о чем они говорили, закрывшись на долгие часы в мастерской, она поняла что оба – единственные члены семьи, связанные какой-то общностью душ.

Говоря по правде, даже Хосе Аркадио Второй не смог бы вытащить полковника из логова. Вторжение школьниц переполнило чашу его терпения. Под тем предлогом, что в спальне была тьма-тьмущая моли, жравшей куклы Ремедиос до их сожжения, полковник повесил у себя в мастерской гамак и выбирался наружу, в патио, только по нужде. Он не вступал с Урсулой даже в обычный разговор. Она знала, что он и не взглянет на принесенную еду, а отодвинет на край стола, пока не закончит золотую рыбку, вовсе не заботясь о том, подернется ли суп жирной пленкой и остынет ли мясо. Он все больше и больше ожесточался с тех пор, как полковник Херинельдо Маркес отказался начать вместе с ним стариковскую войну, закрыл на засов свою душу, и семья стала в конце концов вспоминать о нем, как о покойнике. Он никак не проявлял себя до того дня, одиннадцатого октября, когда добрался до дверей на улицу посмотреть на проходящий мимо цирк. День этот для полковника Аурелиано Буэндии не отличался от всех прочих дней последних лет. В пять часов на рассвете его разбудило кваканье лягушек и трескотня сверчков за оградой. Дождь не переставал моросить с субботы, и если бы полковник даже не прислушивался к его монотонному шуршанию в садовой листве, он ощутил бы его по холодку, пробиравшему до костей. Как всегда, он кутался в шерстяное одеяло и был в удобных груботканых кальсонах, которые никто не носил со времен Колумба, а потому сам он называл их «испанскими подштанниками». Поверх них натянул, не застегивая, узкие штаны, надел рубашку, но не скрепил воротник золотой запонкой, поскольку собирался мыться. Затем натянул одеяло на голову наподобие капюшона, пригладил пальцами отвислые усы и пошел в патио помочиться. Солнце еще не взошло, и Хосе Аркадио Буэндия дремал под навесом из прогнивших от сырости листьев. Полковник его не увидел, как никогда не видел и раньше, и не услышал непонятную фразу, сказанную ему призраком отца, когда тот проснулся от струи горячей мочи, обдавшей ему ботинки. Полковник отложил купание на потом, – не из-за холода и сырости, а из-за тяжелого октябрьского тумана.

Возвращаясь в мастерскую, он почуял дымок, вырывавшийся из печей, которые разжигала Санта София де ла Пьедад, и задержался на кухне в ожидании кипятка, чтобы взять свою кружку кофе без сахара. Санта София де ла Пьедад спросила его, как спрашивала каждое утро, какой сегодня день недели, и он ответил: вторник, одиннадцатое октября. Глядя на эту хлопочущую у печи, позолоченную пылающим огнем женщину, которая ни теперь и ни в какой иной миг в ее жизни, казалось, никогда не была до конца реальным созданием, он вдруг вспомнил, что именно одиннадцатого октября, в разгар войны, проснулся в жуткой уверенности, что женщина, лежащая с ним рядом, мертва. Так оно и было, и теперь ему припомнилась дата, потому что та женщина тоже спросила у него за час до смерти – какой был день. Всплывший в памяти факт отнюдь не помог ему разобраться – было ли это

предчувствие или только воспоминание, и, пока закипал кофе, он думал просто от нечего делать, не боясь предаться ностальгии, думал о мертвой женщине, имени которой не знал и лица которой при жизни не видел, потому что она добралась до его гамака на ощупь, в густом мраке. Из массы безликих женщин, добиравшихся до него тем же способом, он так и не сумел выделить ту, что в безумстве первой встречи едва не утонула в собственных слезах и за час до своей смерти поклялась, что будет любить его до конца жизни. Войдя в мастерскую с чашкой дымящегося кофе, полковник Аурелиано Буэндия уже не вспоминал ни о ней, ни о других женщинах и зажег свет, чтобы сосчитать золотых рыбок, которые хранились в жестяной банке. Там их было семнадцать. С тех пор как он решил не продавать их, он делал по две рыбки в день, а когда число готовых доходило до двадцати пяти, плавил их в тигле и начинал все сначала. Он работал целое утро, машинально шевеля руками, ни о чем не думая, не замечая, что с десяти дождь льет как из ведра, и не слыша, что какой-то прохожий крикнул, чтобы закрыли двери, иначе затопит дом, работал, забыв о всех и себе, пока не вошла Урсула с обедом и не потушила свет.

– Ну и льет! – сказала Урсула.

– Октябрь, – сказал он.

При этом он не оторвал взгляд от своей первой рыбки за этот день, потому что обтачивал рубины для глаз. Только покончив с ней и кинув в банку к остальным, принялся за суп. Затем придвинул вторую тарелку и съел не спеша кусок тушенного с луком мяса, немного отварного риса и пару ломтиков жареного банана. Ел он размеренно и сосредоточенно при любых обстоятельствах – при обычных и чрезвычайных. После обеда появилась потребность отдохнуть. Из-за, так сказать, научно обоснованного суеверия он никогда не работал, не читал, не мылся, не занимался любовью, пока не пройдут отведенные на пищеварение два часа, и этот обычай пустил в нем такие корни, что не раз полковник откладывал боевые операции, дабы уберечь солдат от возможного заворота кишок. И теперь он тоже растянулся в гамаке, поковырял в ушах перочинным ножиком и через несколько минут уснул. Ему снилось, что он входит в пустой дом с белыми стенами и его мучит тяжкая мысль, будто он – первое человеческое существо, переступившее этот порог. Во сне ему вспомнилось, что тот же сон он видел прошлой ночью и многими ночами за последние годы, и знал, что, когда он проснется, все виденное сотрется из памяти, потому что этот возвратный сон обладает свойством видеться тоже только во сне. И верно, когда через минуту брадобрей постучал в дверь мастерской, полковник Аурелиано Буэндия протер глаза с ощущением, будто его невольно бросило в сон на пару секунд и он не успел ничего увидеть.

– Сегодня не надо, – сказал он брадобрею. – Приходи в пятницу.

За три дня лицо у него заросло серо-белой щетиной, но он не считал сейчас нужным бриться, поскольку в пятницу собирался постричь космы, а заодно и поскоблить щеки. Липкий пот тяжелого забытья разъел под мышками шрамы от волдырей. Небо прояснилось, но солнце еще не выглянуло. Полковник Аурелиано Буэндия звучно рыгнул, пряный суп обжег горло, и это стало своего рода приказом накинуть на плечи одеяло и тащиться в уборную. Там он больше, чем положено, сидел скорчившись над густыми смердящими испарениями, плывшими из деревянного корыта, пока привычка не подтолкнула его встать и идти работать в мастерскую. Предаваясь раздумью в нужнике, он снова вспомнил, что сегодня вторник и что Хосе Аркадио Второй не зашел к нему, так как в этот день получал жалованье в конторе Банановой компании. Любое воспоминание, как и все, что приходило на ум в последние годы, невольно возвращало к думам о войне. Припомнилось, что

полковник Херинельдо Маркес когда-то пообещал ему раздобыть коня с белой звездочкой во лбу, а потом ни разу и словом о том не обмолвился. Затем мысли стали перескакивать на другие эпизоды, но думалось сразу обо всем и без всяких эмоций, ибо, не имея сил не размышлять о военном времени, он приучил себя относиться к прошлому равнодушно, чтобы незваные воспоминания не тревожили душу. Возвращаясь в мастерскую, он почувствовал, что воздух стал суше, и решил, что можно помыться, но Амаранта его опередила. И полковник принялся за свою вторую каждодневную рыбку. Он шлифовал ей хвост, когда солнце так мощно отбросило тучи, что свет, рухнувший наземь, скрипнул, как старый баркас. Воздух, омытый трехдневным дождем, наполнился летучими муравьями. Тут полковнику вроде бы снова захотелось помочиться, но он решил потерпеть, пока не закончит всю рыбку. Наконец, в четыре десять, выбрался в патио и вдруг услышал вдали трубный глас, грохот барабанов и веселые крики детей, и впервые со времен своей молодости сознательно шагнул в западню тоски по прошлому и призвал тот чудесный день, когда отец водил его к цыганам смотреть на лед. Санта София де ла Пьедад бросила свои кухонные дела и подбежала к дверям.

– Цирк едет! – закричала она.

Полковник Аурелиано Буэндия не пошел к каштану, а тоже направился к двери на улицу и смешался с толпой прохожих, глазевших на циркачей. Он увидел женщину в золотых одеждах, сидевшую на шее у слона. Увидел грустного одногорбого верблюда. Увидел медведя, одетого голландкой и стучавшего ложкой по кастрюле в такт музыке. Увидел паяцев, кувыркавшихся в конце процессии, и, когда все прошли, опять столкнулся лицом к лицу со своим презренным одиночеством, и не осталось больше ничего, кроме пустой солнечной улицы, и воздуха, полного летучих муравьев, и нескольких до жути нерешительных зевак, не знающих, куда податься. И он пошел к каштану, размышляя о цирке, и когда мочился, старался думать о цирке, но видение уже исчезло. Он втянул голову в плечи, как птенец, и застыл, уткнувшись лбом в ствол каштана. Семья ничего не ведала до следующего дня, когда в одиннадцать утра Санта София де ла Пьедад пошла выбрасывать мусор на задний двор и заметила, что над патио кружат стервятники.

Последние каникулы Меме совпали с днями траура по умершему полковнику Аурелиано Буэндии. В доме был наложен запрет на веселые сборища. Разговаривали вполголоса, ели молча, молились по три раза в день, и даже упражнения на клавикордах в жаркие дни сиесты звучали похоронной музыкой. Вопреки своей скрытой антипатии к полковнику именно Фернанда, под впечатлением почестей, возданных правительством усопшему врагу, велела соблюдать глубокий траур. Аурелиано Второй на время каникул дочери оставался по своему обыкновению ночевать дома, и Фернанда, видимо, приняла некоторые меры для своего утверждения в роли законной супруги, ибо на следующий год Меме увидела дома новорожденную сестренку, которую при крещении, не посчитавшись с волей матери, нарекли Амарантой Урсулой.

Меме закончила учение. И доказала, что на вполне законных основаниях получила диплом исполнительницы пьес на клавикордах, виртуозно сыграв вариации на темы народных песен XVII века во время семейного торжества в честь окончания школы и по случаю завершения траура. Больше, чем игра Меме, гостей удивила двойственность ее характера. Бойкая, даже проказливая, она, казалось, не была создана для серьезных дел, но, когда садилась за клавикорды, на глазах у всех вдруг превращалась в совсем взрослую

девушку. Так бывало всегда. Сказать по правде, Меме не имела никаких особых пристрастий, но добилась огромных успехов в музыке, не щадя ни сил своих, ни здоровья, по единственной причине – боялась вступать в пререкания с матерью. Ее могли заставить обучаться чему угодно, и результат был бы налицо. С детства ее подавляла суровость Фернанды, привычка матери решать за других, и девочка готова была идти на жертвы гораздо большие, чем занятия музыкой, зная материнскую непреклонность. На выпускном вечере ей представилось, что диплом, этот плотный лист бумаги, выписанный по старинке – остроконечным почерком с раскрашенными заглавными буквами, – освобождает ее от обязательства, наложенного на себя не столько из-за мягкости натуры, сколько ради собственного спокойствия, и поверилось, что отныне строптивая Фернанда забудет про клавикорды, которые даже монахини считали допотопным инструментом. Но в ближайшие годы Меме увидела, что ошиблась в расчетах, ибо и после того, как под ее музыку выспалось полгорода – не только в домашних гостиных, но и на всякого рода благотворительных вечерах, школьных праздниках и патриотических торжествах, состоявшихся в Макондо, – ее мать продолжала приглашать в дом любого заезжего человека, способного, по ее мнению, оценить талант дочери. Только после смерти Амаранты, когда семья снова на какое-то время погрузилась в траур, Меме смогла запереть клавикорды и забросить ключ подальше в шкаф, не боясь, что Фернанда станет доискиваться – кто и куда его задевал. До этой поры Меме выставляла себя напоказ с тем же стоическим терпением, с каким раньше предавалась музыкальным упражнениям. Это была плата за свободу. Фернанда, сверх меры довольная послушанием дочери и гордая похвальными отзывами о ее искусной игре, смотрела сквозь пальцы на то, что дом кишмя кишит ее бесчисленными подругами, что она гуляет по вечерам на плантациях и ходит в кино с Аурелиано Вторым или со знакомыми благонадежными дамами, если, конечно, фильм благословил с амвона падре Антонио Исабель. В минуты, когда Меме давала себе волю, выявлялись ее истинные наклонности. Счастье для нее состояло отнюдь не в послушании и благонравии, а в шумных гуляньях, в нескончаемой болтовне «кто с кем и как», в тайных посиделках с приятельницами, когда девицы учились курить, говорили о мужчинах и однажды распили три бутылки крепкого рома, а потом, раздевшись донага, принялись измерять и сравнивать разные части своего тела. Меме никогда не забудет тот вечер, когда она пришла домой, продолжая жевать кусочки лакричного корня, и уселась за стол, где молча ужинали Фернанда и Амаранта, не замечая в ней никаких перемен. Она же до того целых два часа рыдала в спальне своей подруги, трясясь от страха и от смеха, а потом истерику сменил внезапный приступ отваги, которой ей недоставало, чтобы удрать из монастырской школы и заявить матери самыми простыми словами, что та может засунуть эти самые клавикорды себе в задницу вместо клистира. Сидя в конце стола, глотая куриный бульон, лившийся в желудок животворным эликсиром, Меме вдруг увидела Фернанду и Амаранту в свете беспощадной действительности. Она с трудом сдержалась, чтобы не швырнуть им в физиономию все их ханжество, убожество, манию величия. Уже во время вторых каникул она догадалась, что отец бывает дома только для видимости, и, зная Фернанду как свои пять пальцев, а потом, умудрившись ближе познакомиться с Петрой Котес, признала, что отец прав. И сама предпочла бы быть дочерью его любовницы. На этот раз Меме под воздействием винных паров с наслаждением размышляла о том, какой разразился бы скандал, выскажи она сейчас вслух то, что было на уме, и злорадство такой довольной улыбкой осветило ее лицо, что Фернанда с удивлением спросила:

– Чему ты улыбаешься?

– Да так, – отвечала Меме. – Я только теперь поняла, до чего я вас обеих люблю.

Амаранта похолодела, распознав ненависть в тяжело прозвучавших словах. Но Фернанда была явно тронута и очень переживала, когда Меме проснулась ночью от страшной головной боли и рвоты желчью. Мать влила дочери в горло стакан касторки, положила ей на живот горячую грелку, а на лоб – пузырь со льдом, заставила соблюдать диету и пять дней лежать в постели, как посоветовал новый модный врач-француз, который после двухчасового осмотра пришел к не слишком твердому заключению: обычное женское недомогание. Растеряв всякую смелость, совершенно пав духом, бедная Меме решила терпеть и молчать. Урсула, уже совсем слепая, но еще сохранившая бодрость и здравомыслие, единственная из всех невольно поставила верный диагноз. «А ведь, – думалось ей, – именно так бывает у людей с перепоя». Однако она не только отогнала эту мысль, но даже упрекнула себя за дурость. Аурелиано Второго совсем замучила совесть при виде того, как хандрит Меме, и он дал себе слово в будущем уделять ей больше внимания. Так родились между отцом и дочерью отношения добрых веселых друзей, и он на время отделался от горького одиночества пьяных пирушек, а она освободилась от надзора Фернанды, избежав назревавшего домашнего скандала. Аурелиано Второй откладывал все дела, чтобы побыть с Меме, пойти с ней в кино или в цирк, и посвящал ей большую часть своего свободного времени. Отрастив за последние годы немыслимое брюхо, мешавшее ему завязывать шнурки на ботинках, и неумеренно удовлетворяя иные свои аппетиты, Аурелиано Второй становился брюзгливым и раздражительным. Обретя дочь, он вспомнил о прежней бесшабашной удали; ее общество так его радовало, что мало-помалу он отходил от своих беспутных собутыльников. Меме вступала в счастливый возраст, цветок распускался. Ее не считали красивой, как не считали красавицей и Амаранту, но она была очень мила, проста в общении и умела привлекать сердца с первого взгляда. Это типичное дитя своего времени восставало против старомодной строгости и чопорности Фернанды, но зато прекрасно ладило с Аурелиано Вторым и пользовалось его покровительством. Это он постарался, чтобы она сменила свою детскую спальню, где настороженные глаза святых смущали душу девушки, на другую комнату, где поставил для нее кровать с балдахином, массивный туалетный столик и повесил бархатные портьеры, не думая о том, что воссоздает копию апартаментов Петры Котес. Он не жалел денег для Меме и не ведал, сколько тратит на нее, потому что она без спроса опустошала его карманы, и доставлял ей все новейшие чудо-средства для наведения красоты, какие только находил в магазинах Банановой компании. Комната Меме ломилась от пемзы для полировки ногтей, от щипцов для завивки волос, эликсиров для блеска зубов, флаконов глазных капель для придания томности взгляду и всяких других косметических чудес и полезных приспособлений, а Фернанда всякий раз, входя в комнату дочери, краснела при мысли, что такой же туалетный стол, наверное, украшает спальни французских шлюх в домах свиданий. Однако в эту пору Фернанда делила все свое время между маленькой Амарантой Урсулой, плаксивой и болезненной, и перепиской с заочными целителями. Поэтому, когда она узнала о дружеских отношениях отца с дочерью, ей удалось сделать только одно: вырвать у Аурелиано Второго обещание, что он никогда не поведет Меме к Петре Котес. Впрочем, ее опасения были напрасны, ибо его пассия была недовольна дружбой своего любовника с дочерью и знать ничего не хотела о Меме. Петру мучила до того неведомая ей тревога, инстинкт говорил, что стоит Меме шевельнуть пальцем, и случится то, чего не смогла добиться Фернанда: она, Петра Котес, лишится любви, которая, как ей верилось, сопроводит ее до гроба. Впервые в жизни Аурелиано Второго поразили надутый вид и злые замечания

своей любимой, и он даже испугался, что его кочевым сундукам придется вернуться в дом супруги. Этого не случилось. Никто не знал мужчин, тем более своего возлюбленного, лучше, чем Петра Котес. Она не сомневалась, что сундуки будут стоять там, где стоят, ибо если Аурелиано Второго и воротило от чего-либо, так это от всяких переездов и перемен, усложняющих жизнь. И верно, сундуки остались стоять там, куда их поставили, а Петра Котес принялась отвоевывать своего мужчину оружием, какого не было в арсенале дочери. Это тоже оказалось напрасной тратой сил, поскольку Меме не имела никакого намерения вмешиваться в жизнь отца, а если бы и вмешалась, то не во вред любовнице. У нее и в мыслях не было досаждать кому-либо. Меме сама убирала спальню и стелила постель, как ее научили монахини. По утрам приводила в порядок платья: вышивала в галерее или строчила на старой швейной машинке Амаранты. Пока остальные отдыхали в часы сиесты, она два часа упражнялась на клавикордах, зная, что такое ежедневное жертвоприношение смягчает душу Фернанды. По этой же самой причине Меме продолжала давать концерты на церковных благотворительных базарах и школьных вечерах, хотя приглашения поступали все реже. К вечеру Меме прихорашивалась, надевала одно из своих скромных платьев и ботинки на шнурках и, если у них с отцом ничего не намечалось, шла к подругам, где и сидела до ужина. Почти не было случая, чтобы Аурелиано Второй не заходил туда за ней и они не шли бы вместе в кино. Среди приятельниц Меме были три юные североамериканки, которые вырвались из электрифицированного курятника на свободу и завели дружбу с девушками из Макондо. Одной из этих американок была Патриция Браун. В благодарность за радушие Аурелиано Второго сеньор Браун распахнул перед Меме двери своего дома и пригласил ее приходить на танцы в субботу – единственный день, когда гринго общались с аборигенами. Фернанда, узнав об этом, на миг забыла и об Амаранте Урсуле, и о заочных целителях и разыграла настоящую мелодраму. «Подумай, несчастная, – говорила она Меме, – полковник Аурелиано в гробу перевернется!» И конечно, обратилась за помощью к Урсуле. Но слепая старуха вопреки всем ожиданиям не нашла ничего предосудительного в том, что Меме пойдет на танцы и завяжет дружбу со своими сверстницами-североамериканками, если, понятно, не изменит своим принципам и не позволит обратить себя в протестантство. Меме намотала на ус слова прабабушки и после субботних танцев вставала по воскресеньям раньше обычного и отправлялась к мессе. Всякое сопротивление Фернанды было подавлено в тот день, когда Меме обезоружила мать сообщением, что американки хотят послушать ее игру на клавикордах. Инструмент снова вытащили из дому и доставили к сеньору Брауну, где юная исполнительница действительно удостоилась самых громких аплодисментов и самых горячих поздравлений. С тех пор ее приглашали не только на танцы по субботам, но и в плавательный бассейн по воскресеньям, а также к обеду один раз в неделю. Меме научилась плавать, как настоящая пловчиха, играть в теннис и есть виргинскую ветчину с ананасом. На танцах, в бассейне и на кортах она быстренько овладела английским. Аурелиано Второй был так восхищен успехами дочери, что купил ей у бродячего книготорговца английскую энциклопедию в шести томах с многочисленными цветными иллюстрациями, и свободные часы Меме посвящала чтению. Книги отвлекли ее от сплетен «кто с кем и как» и от общения со сведущими подружками не потому, что она приучала себя к полезному времяпрепровождению, а потому, что потеряла всякий интерес к секретам, известным всему свету. О том, как однажды напилась, она вспомнила как о детской шалости, и ей становилось так смешно, что она не утерпела и рассказала обо всем Аурелиано, и отец хохотал до упаду. «Если бы мать знала», – приговаривал он, захлебываясь от смеха, как всегда, когда дочь

сообщала ему что-нибудь на ухо. Он взял с нее слово так же честно рассказать ему о ее первом увлечении, и Меме созналась, что ей нравится один рыжий североамериканец, приезжающий к родителям на каникулы. «Черт побери! – хохотал Аурелиано Второй. – Если бы мать знала!» Но Меме добавила, что парень уже вернулся на родину и не подает признаков жизни. Зрелость ее суждений способствовала воцарению в доме мирной атмосферы. Аурелиано Второй мог теперь уделять больше времени Петре Котес и, хотя не предавался, как бывало, кутежам телом и душой, не упускал случая погулять и расчехлить аккордеон, некоторые клавиши которого уже были подвязаны шнурками от ботинок. Дома Амаранта вышивала свой нескончаемый саван, а Урсула уже не противилась дряхлости, тащившей ее на самое дно мрака, где она могла ясно видеть только призрак Хосе Аркадио Буэндии под каштаном. Фернанда всецело утвердилась в своей власти. Ежемесячные письма к сыну Хосе Аркадио уже не содержали ни строчки лжи, но в них не было и намека о переписке с заочными целителями, которые обнаружили у нее доброкачественную опухоль в толстой кишке и готовили ее к телепатическому медицинскому вмешательству. Можно было бы сказать, что в жилище Буэндия, много повидавшем на своем веку, настали мир и нудное благоденствие на многие годы, если бы внезапная кончина Амаранты снова не наделала бы много шуму. Такого хода событий никто не ждал. Хотя Амаранта сильно постарела и совсем замкнулась в себе, здоровьем она, как всегда, отличалась отменным, походка ее была твердой, осанка – не хуже, чем у молодой. Никто не знал, о чем думается ей с того самого дня, когда Амаранта окончательно рассталась с полковником Херинельдо Маркенсом, а потом долго плакала навзрыд в своей комнате. Когда она вышла оттуда, все слезы были выплаканы навсегда. Никто не видел, чтобы ее глаза увлажнились, ни когда Ремедиос Прекрасная взлетела на небо, ни когда порешили всех Аурелиано, ни когда умер полковник Аурелиано Буэндия, которого она любила больше всех на свете, хотя это выяснилось только после его смерти у каштана. Она помогла внести покойного в дом. Облачила в военную форму, побрила, причесала и подкрутила усы лучше, чем это делал он сам в зените своей славы. Никому и в голову не приходило усмотреть любовь в этих ее стараниях, поскольку домочадцы привыкли к всегдашнему участию Амаранты в похоронных делах. Фернанду, однако, возмущало то, что Амаранта не видит никакой связи католицизма с жизнью и усматривает в нем лишь связь со смертью, словно бы это не религия, а некий свод правил погребения. Амаранта же была слишком захвачена водоворотом воспоминаний, чтобы заниматься такими деталями вероисповедания. Она вошла в старость с неумершей тоской по прошлому. Когда ей доводилось слышать вальсы Пьетро Креспи, то хотелось плакать так же, как в молодости, словно ни время, ни переживания ничего не изменили. Музыкальные валики от пианолы, выброшенные ею на помойку под предлогом того, что картон начал гнить от сырости, продолжали крутиться и стучать клавишами в ее памяти. Она старалась утопить эту музыку в вязком болоте любовной игры, на которую когда-то отважилась со своим племянником Аурелиано Хосе, старалась отгородиться от этих звуков надежды, мужественным чувством полковника Херинельдо Маркеса, но и не могла их заглушить даже отчаянными всплесками старческой похоти, когда, купая маленького Хосе Аркадио за три года до отправки в семинарию, нежно растирала его мыльной губкой – совсем не так, как должна была бы растирать бабушка своего внука, а так, как, по ее представлениям, это делали французские дамы и как хотелось это проделать с Пьетро Креспи, когда ей было двенадцать или четырнадцать лет и когда она смотрела, как он танцует в тонких облегающих лосинах с волшебной палочкой в руке, кивающей в такт метроному. Иногда она страдала от

того, что дала промчаться потоку малых и больших переживаний, а иногда так злилась на себя, что колола пальцы иглой, но больше всего ей доставлял страданий, навевал грусть и приводил в ярость тот роскошный и уже источенный червями сад любви, по которому она плелась к смерти. Как полковник Аурелиано Буэндия не мог не думать о войне, так Амаранта не могла не думать о Ребеке. Но если брат сумел унять боль воспоминаний, то Амаранта с годами все больше расходилась. И не переставала молить Бога о том, чтобы он не наказывал ее, призвав к себе раньше, чем Ребеку. Всякий раз, проходя мимо жилища своей названной сестры и замечая, как дом ветшает, Амаранта тешила себя мыслью, что Бог слышит ее мольбы. Однажды, сидя за шитьем в галерее, она вдруг прониклась уверенностью, что будет сидеть на этом самом кресле и при этом дневном освещении, когда получит весть о смерти Ребеки. И стала сидеть и ждать, как ждут письма, и было время, когда приходилось отрывать пуговицы и снова их пришивать, чтобы ожидание не было таким долгим и тягостным. Никто в доме тогда не мог и думать, что Амаранта шьет такой роскошный саван для Ребеки. Позже, когда Аурелиано Хмурый сообщил, что был у Ребеки и что стала она ходячим призраком с дряблой кожей и желтоватым пушком на черепе, Амаранта не удивилась, ибо описанное привидение стояло у нее перед глазами уже с давних пор. Она решила, что сделает покойную Ребеку совсем как новенькую, разгладит парафином складки на лице и смастерит для нее парик из волос святых фигур. Труп будет великолепно выглядеть в льняном саване и в гробу, обитом плюшем, выстланном красным бархатом, и вся эта роскошь после похорон будет отдана червям на потребу. Ярая ненависть заставляла Амаранту предусмотреть все до мельчайших подробностей, и вдруг она подумала с ужасом, что любовь тоже могла бы побудить ее так же скрупулезно готовить это погребение, но она отогнала никчемную мысль и предусмотрела такие детали ритуала, что не грех ей было бы прослыть не специалистом, а подлинным мастером по устройству встреч со смертью. Не учла она в своем ужасающе точном распорядке лишь того, что, несмотря на мольбы, обращенные к Богу, могла умереть раньше Ребеки. Так оно и случилось. Но перед концом Амаранта не чувствовала, что проиграла, а, напротив, испытывала ощущение легкости, избавления от всяких горестей, ибо смерть послала ей благую весть о своем пришествии за несколько лет вперед. Она увидела ее одним жарким полднем, вскоре после того, как Меме ушла в школу. Смерть сидела совсем рядом в галерее и шила. Амаранта ее сразу узнала и ничуть не испугалась, потому что это была женщина в синем платье, с пучком волос на затылке, немного старомодная и чем-то похожая на Пилар Тернеру, когда та в былые времена помогала Урсуле на кухне. Фернанда не раз появлялась в галерее, но посторонних там не замечала, ибо смерть была очень обыденной, очень житейской и даже иногда просила Амаранту вдеть нитку в иголку. Смерть не сказала ей, когда она умрет и что ее час настанет раньше, чем кончина Ребеки, но приказала начинать работу над собственным саваном с шестого апреля. И позволила украсить саван такой узорчатой и тонкой вышивкой, какой Амаранте заблагорассудится, но велела трудиться для себя не менее усердно, чем для Ребеки, и предсказала, что умрет Амаранта без страха, без мучений, без печали, на исходе того дня, когда кончит шитье. Стараясь подольше протянуть время, Амаранта заказала пряжу для сурового полотна и принялась сама ткать холст. Она делала это так тщательно, что работа заняла целых четыре года. Затем принялась за вышивание. По мере приближения неотвратимого срока она стала понимать, что лишь чудом ей удастся продолжить работу после смерти Ребеки, но полнейшая самоотдача приносила покой, который был ей необходим, чтобы смириться с мыслью о поражении. Теперь она уловила истинный смысл замкнутого круга, который

проплывали золотые рыбки полковника Аурелиано Буэндии. Внешний мир скользил мимо, едва касаясь тебя, а мир внутренний ничем не омрачался. Ей стало обидно, что это не открылось ей много раньше, когда еще можно было отмыть будущие воспоминания, сотворить вселенную при новом свете, и без трепета снова вдыхать в сумерках лавандовый запах Пьетро Креспи, и вызволить Ребеку из трясины ее бедствий – не со зла и не по любви, а просто из чувства глубокого сопереживания одиноких людей. Ненависть, которую тем вечером она расслышала в словах Меме, больно отозвалась у нее в душе не обидой, а чувством досады, потому что именно так сказала бы и она сама, хотя эта, другая молодость поначалу выглядела такой чистой, какой должна была бы быть в этом возрасте и юная Амаранта, но уже тогда она была отравлена злобой. Теперь же Амаранта успела так сжиться со своей судьбой, что ее не тревожила убежденность в том, что ни к чему нет возврата. Единственной целью жизни стало для нее завершение савана. Вместо того чтобы украшать вещь замысловатыми узорами, как она поступала вначале, ей захотелось ускорить и упростить работу. На последней неделе она рассчитала, что самый последний стежок сделает в ночь на четвертое февраля, и без видимой причины попросила Меме отложить вечерний концерт на клавикордах, но та и не подумала. Тогда Амаранта стала искать способ как-нибудь продержаться еще сорок восемь часов и даже решила, что смерть тоже ничего не имеет против, так как в ночь на четвертое февраля ураган вывел из строя электростанцию. Но на следующий день, в восемь утра, Амаранта сделала последний стежок на самой прекрасной вещи, когда-либо выходившей из-под женских рук, и во всеуслышание, без всякого драматизма объявила, что к вечеру умрет. Она оповестила об этом не только семью, но и весь город, ибо ей пришло в голову, что еще не поздно обогатить свою скудную жизнь, сделав доброе дело людям, и что наилучшим таким делом будет доставка писем усопшим. Весть о том, что Амаранта Буэндия отходит и берет с собой на тот свет почту, распространилась по Макондо еще до полудня, и в три часа дня ящик в гостиной уже ломился от писем. Те, кому было не до писания, давали Амаранте устные поручения, которые она помечала в книжечке вместе с именами и датами смерти адресатов. «Не беспокойтесь, – успокаивала она просителей, – первое, что я сделаю по прибытии, разыщу их и все передам». Это походило на фарс. Амаранта не проявляла никакого волнения, ни малейшего уныния и даже помолодела от благотворения. Она держалась так же прямо и с таким же достоинством, как всегда. Если бы не обтянутые кожей острые скулы и не отсутствие нескольких зубов, ей можно было бы дать меньше лет. Она сама распорядилась, чтобы письма уложили в просмоленный ящик, и велела поставить его в могиле так, чтобы уберечь от сырости. Утром позвала столяра и, когда он снимал с нее мерки для гроба, стояла перед ним навытяжку посреди гостиной, как перед портным. У нее в последние часы проявилось столько энергии, что Фернанде подумалось, будто Амаранта насмехается над окружающими. Урсула, по опыту зная о предрасположении всех Буэндия к гибели не от болезней, была уверена, что смерть подала знак Амаранте, но все-таки ее мучил страх, как бы из-за этой затеи с письмами, из-за безудержного желания поскорее отправить их по назначению потерявшие голову горожане не похоронили бы ее дочь заживо. И старуха рьяно принялась очищать дом от посетителей, с криком и шумом выгоняя упрямцев, и к четырем часам выпроводила последнего. К этому времени Амаранта раздала свои вещи бедным и положила на простой гроб из нетесаных досок только белье и бархатные ночные туфли, которые должны были ей надеть после смерти. Она предусмотрела и эту мелочь, памятуя о том, что, когда умер полковник Аурелиано Буэндия, пришлось покупать пару новых ботинок,

так как у него были только старые шлепанцы, в которых он сидел в мастерской. Около пяти часов Аурелиано Второй зашел за Меме, отправляясь в концерт, и был страшно удивлен, застав домашних за приготовлениями к похоронам. Если кто и выглядел живым в этом доме, так это была Амаранта, которая как ни в чем не бывало срезала себе мозоли, Аурелиано Второй и Меме шутливо распрощались с ней навеки и пообещали в следующую субботу устроить пир в честь ее воскрешения из мертвых. Встревоженный слухами о том, что Амаранта Буэндия принимает письма для передачи усопшим, отец Антонио Исабель пришел к пяти часам причастить ее, но прождал более пятнадцати минут, пока умирающая не приняла ванну. Когда она явилась наконец в длинной рубашке из мадаполама и с распущенными волосами, дряхлый священнослужитель подумал, что над ним подшутили, и отослал мальчика-служку обратно. Однако он решил воспользоваться моментом и отпустить грехи Амаранте, которая почти двадцать лет не была на исповеди. Амаранта же ответила без лишних слов, что не нуждается ни в чьей духовной помощи, потому как совесть у нее чиста. Фернанда возмутилась. И невзирая на многолюдье, громко спросила, какой такой страшный грех совершила Амаранта, если считает, что лучше умереть нечестивицей, нежели претерпеть срам на исповеди. Тогда Амаранта улеглась на постель и заставила Урсулу публично засвидетельствовать свою девственность.

– Пусть никто не сомневается! – кричала она, чтобы слышала Фернанда. – Амаранта Буэндия уходит из этого мира такой, какой пришла!

С кровати она уже не встала. Опершись спиной на подушки, словно вправду была лишь больна, заплела волосы в длинные косы и наложила их витками на уши, как подсказала ей смерть, для пущего удобства в гробу. Потом попросила Урсулу принести зеркало и в первый раз за более чем сорок лет увидела свое лицо, иссушенное возрастом и горем и поразилась, до чего же она оказалась похожа на ту себя, которую мысленно видела. По воцарившейся в спальне тишине Урсула догадалась, что стало вечереть.

– Проститесь с Фернандой, – попросила она. – Минута примирения стоит больше закадычной дружбы.

– Уже не имеет значения, – отозвалась Амаранта.

Меме не могла отогнать мысль об Амаранте, когда зажглись огни импровизированной сцены и началось второе отделение концерта. Во время игры кто-то шепнул ей о чем-то на ухо, и выступление прервалось. Когда она с отцом вернулась домой, Аурелиано Второй с трудом пробился сквозь толпу к телу старой девственницы, некрасивой, землисто-бледной, одетой в роскошный саван и с черной повязкой на руке. Гроб стоял в гостиной рядом с ящиком, полным писем.

По прошествии десяти поминальных дней Урсула слегла и больше не вставала с постели. Все заботы о ней взяла на себя Санта София де ла Пьедад. Она приносила старухе обед в спальню, воду для умывания и держала ее в курсе всех городских событий. Аурелиано Второй часто навещал Урсулу и приносил разную одежду, которую она складывала возле кровати, рядом с самыми необходимыми в обиходе вещами, и скоро на расстоянии протянутой руки возле нее возник свой мир. Урсулу очень полюбила маленькая Амаранта Урсула, во всем на нее походившая. Старуха учила девочку читать. Хотя все знали, что она едва видит, никто не догадывался о ее абсолютной слепоте. Светлая голова и умение обходиться собственными силами заставляли домочадцев думать, что вся беда в тяжком грузе ее ста лет. У нее было теперь столько свободного времени и такая внутри тишина, позволявшая слышать жизнь всего дома, что она первой заметила молчаливые терзания

Меме.

– Поди-ка сюда, – сказала ей Урсула. – Мы тут одни, расскажи бедной старухе, что у тебя не ладится.

Меме, хмыкнув, уклонилась от разговора. Урсула не приставала, но утвердилась в своих подозрениях, потому что Меме перестала навещать ее. А еще она знала, что девушка утром вскакивает раньше обычного, что мечется в ожидании часа, когда можно улизнуть из дому, что все ночи напролет ворочается за стеной на кровати и что ночные бабочки никак не дают ей заснуть. Иной раз Меме говорила, что идет проведать отца, и Урсула поражалась близорукости Фернанды, которая ничего не подозревала даже тогда, когда в это же время ее супруг являлся домой проведать дочь. Любой поинтересовался бы, какие такие у Меме срочные свидания, секретные дела, тайные заботы, гораздо раньше, чем Фернанда, которая подняла страшный шум, вдруг увидев, что ее дочь целуется в кино с мужчиной. Сама Меме, жившая, как в пьяном угаре, была уверена, что на нее наговорила Урсула. В действительности и наговаривать-то было незачем. Она сама выдавала себя с головой, и если Фернанда так долго ничего не замечала, то лишь потому, что сама тоже совсем потеряла голову от своих тайных сношений с заочными целителями. И все же матери наконец бросилось в глаза, что дочь то впадает в глубокое раздумье, то взрывается дерзостями, то становится капризной и раздражительной. Фернанда установила за Меме скрытую, но круглосуточную слежку. Она, как всегда, отпускала дочь к подругам, помогала принарядиться к субботним вечеринкам и не задавала лишних вопросов, которые могли бы испортить дело. У Фернанды уже было много доказательств, что поступки Меме идут вразрез со словами, но мать решила выждать и поймать ту на месте преступления. Однажды вечером Меме сказала ей, что идет с отцом в кино. Через некоторое время Фернанда услышала взрывы хлопушек и ни с чем не сравнимый хрип аккордеона Аурелиано Второго, доносившийся из дома Петры Котес. Тогда она оделась, пошла в кино и в полумраке зала высмотрела дочь. Потрясенная увиденной картиной, Фернанда не запечатлела в памяти лицо мужчины, с которым та целовалась, но навсегда запомнила его дрогнувший голос, свист и гогот публики. «Чертовски жаль, дорогая», – сказал он, а мать молча выволокла Меме из зала, протащила за руку на потеху людям по шумной Турецкой улице и заперла ее на ключ в спальне. На следующий день, в шесть вечера, Фернанда узнала голос мужчины, пришедшего к ним с визитом. Он был молод, лимонно бледен, его темные меланхоличные глаза не так впечатлили бы ее, если бы она видела цыган, а его томность подсказала бы ей, не будь она такой неодушевленной, отчего дочь не находит себе места. На нем был старый полотняный костюм и парусиновые туфли, тщетно скрывавшие свою потрепанность под очередным слоем высохших белил, в руках застыло канотье, купленное прошлой субботой. В жизни он не испытывал и никогда не испытает большего страха, чем в тот момент, но гордое достоинство и невозмутимость оберегали его от унижения, и выглядел бы гость вполне светским человеком, если бы не смуглые руки с разбитыми тяжелой работой ногтями. Фернанде, однако, стоило взглянуть на него, чтобы распознать в нем обычного мастерового. Она сразу поняла, что одет он в свой единственный выходной костюм, а тело под рубашкой растравлено чесоткой Банановой компании. Она не дала ему и слова сказать. Не дала даже порог переступить, захлопнув через секунду дверь, ибо дом уже кишел желтыми бабочками.

– Уходите, – сказала она. – Вам нечего делать в порядочных семьях.

Его звали Маурисио Вавилонья. Он родился и вырос в Макондо, был учеником механика в гаражах Банановой компании. Меме случайно с ним познакомилась, когда однажды

вечером пришла с Патрисией Браун в гараж за автомобилем, чтобы поехать покататься на плантации. Шофер оказался болен, и везти их поручили Маурисио, а Меме смогла наконец сесть впереди и познакомиться поближе с хитростями вождения автомобиля. Не в пример обычному шоферу Маурисио Вавилонья все показывал ей и разъяснял. Это было в ту пору, когда Меме стала посещать дом сеньора Брауна и когда водить автомобиль считалось занятием неприличным для дам. Так что пришлось довольствоваться теоретическими объяснениями Маурисио Вавилоньи и на несколько месяцев потерять его из виду. Позже она вспомнила, что во время первой прогулки ее внимание привлекла его мужественная красота, разве что руки показались изуверски грубыми, но с Патрисией Браун Меме поделилась лишь нелестным впечатлением, которое произвела на нее его самоуверенность с немалой долей чванливости. Отправившись в одну из суббот в кино с отцом, она увидела там Маурисио Вавилонью в его полотняном костюме. Он сидел неподалеку от них и, как видно, не очень интересовался фильмом, потому что то и дело поворачивал голову в ее сторону, не столько стараясь увидеть ее, сколько показать, что он на нее смотрит. Меме покоробила пошлость таких ухваток. После сеанса Маурисио Вавилонья подошел и поздоровался с Аурелиано Вторым, и тогда Меме узнала, что они знакомы еще с той поры, когда Маурисио работал на стародедовской электростанции Аурелиано Хмурого, и потому приветствовал ее отца с уважительностью подчиненного. Это обстоятельство избавило Меме от неприятного чувства, вызванного его бесцеремонностью. Они не виделись наедине, не обмолвились ни словом, кроме «здравствуйте-прощайте», но как-то ночью ей приснилось, что он спасает ее при кораблекрушении, а она не только не испытывает никакой к нему благодарности, но даже впадает в ярость. Словно бы она позволила ему сделать по-своему, а ей самой хотелось на дно, и не только с Маурисио Вавилоньей, но и с любым другим мужчиной, которому бы она приглянулась. Поэтому-то, проснувшись, Меме на себя разозлилась: ей бы его возненавидеть, а ее страшно к нему потянуло. Желание росло день ото дня в течение недели, в субботу же стало неодолимым, и ей пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы Маурисио Вавилонья не заметил, здороваясь с нею в кино, что она готова кинуться ему на шею. Совсем смешавшись от непонятного чувства радости и недовольства собой, Меме впервые протянула руку, и только теперь Маурисио Вавилонья позволил себе сжать ее пальцы. На какую-то долю секунды она раскаялась в своем порыве, но раскаяние тут же перешло в жесточайшее удовлетворение: его ладонь была так же влажна и холодна, как ее собственная. Ночью она решила, что не успокоится, пока не докажет Маурисио Вавилонье, что все его старания тщетны, и целую неделю ломала голову, как это лучше сделать. Сначала пыталась побудить Патрисию Браун пойти вместе за автомобилем. Наконец ей удалось улестить рыжего американца, проводившего каникулы в Макондо, и заставить его взять ее с собой в гараж, якобы посмотреть на новые автомобили. Как только Меме увидела Маурисио Вавилонью, самообман улетучился в один миг: она поняла, что просто-напросто не в состоянии справиться с желанием побыть с ним наедине, но ей стало не по себе, когда она увидела, что и он, оглянувшись на нее, это понял.

– Я пришла посмотреть на новые модели, – сказала Меме.

– Отличный предлог, – сказал он.

Меме ощутила, что жарится на медленном огне его кичливости, и отчаянно стала соображать, как его осадить. Но ничего не могла придумать.

– Не волнуйтесь, – тихо сказал он. – Не впервые женщина сходит с ума по мужчине.

Она так растерялась, что ушла из гаража, не взглянув на новые автомобили, и всю ночь

до утра ворочалась в постели, рыдая от унижения. Рыжий американец, который было начал ее интересовать, теперь казался ей грудным младенцем. Именно тогда она уразумела, что желтые бабочки возвещают появление Маурисио Вавилоньи. Раньше она их тоже видела, чаще всего в гараже, и полагала, что они слетаются на запах краски. Иногда замечала, как они порхают над ее головой в полумраке зрительного зала. Но когда Маурисио Вавилонья стал ее преследовать, как призрак, который только ею различался в толпе, она поняла, что желтые бабочки почему-то всегда при нем. Маурисио Вавилонья мог быть среди публики в концертах, в кино, в церкви, и ей не надо было искать его взглядом, потому что над ним всегда кружились бабочки. Когда однажды их надоедливое трепыхание вывело из себя Аурелиано Второго, она чуть было не доверила ему свою тайну, как обещала, но вовремя удержалась, инстинктивно почувствовав, что на этот раз он не повторит, смеясь как обычно: «Что сказала бы твоя мать, если б знала!» Как-то утром Фернанда с дочерью подрезали розы в саду, и вдруг мать, страшно вскрикнув, оттолкнула Меме с места, где та стояла, а было это место тем самым, с которого уплыла в небо Ремедиос Прекрасная. На мгновение Фернанде показалось, что то же чудо повторится с ее дочерью, ибо воздух снова вдруг будто затрепетал. Но это были бабочки. Меме почудилось, что они внезапно выпорхнули из солнечного света, и сердце у нее дрогнуло. В этот миг вошел Маурисио Вавилонья с коробкой в руках – подарком от Патрисии Браун, как он сказал. Меме постаралась не краснеть до слез, поборола страшное смущение и даже с вполне естественной улыбкой попросила оказать ей любезность и положить коробку на перила в галерее, так как руки у нее в грязи. Фернанда мельком взглянула на человека, которого через несколько месяцев выгонит из дому, даже не вспомнив, что когда-то видела его, и отметила лишь желтушный цвет его щек.

– Странный какой-то, – сказала она. – По лицу видно, скоро умрет.

Меме подумала, что у матери перед глазами все еще мельтешат желтые бабочки. Когда работа в розарии была окончена, она помыла руки, унесла коробку в спальню и открыла. Там была китайская игрушка – пять ящичков, вставленных один в другой, а в самом маленьком лежала открытка с аккуратно нарисованными словно каким-то школяром буквами: «В субботу увидимся в кино». Меме оторопела от ужаса: коробка столько времени стояла на виду у всех, и, хотя она оценила смелость и изобретательность Маурисио Вавилоньи, ее поразила его наивная уверенность в том, что их свидание состоится. Меме уже знала, что Аурелиано Второй в субботу вечером занят. Однако всю неделю терзалась таким жутким нетерпением, что в субботу уговорила отца всего лишь проводить ее в кинотеатр, а потом после сеанса зайти за ней. Огни в зале еще горели, а над головой у нее уже металась ночная бабочка. Дальше было так. Огни погасли, и Маурисио Вавилонья сел рядом с ней. Меме чувствовала, как погружается в пучину жгучего волнения, и спасти ее, как было во сне, может только этот человек, пропахший машинным маслом и едва различимый в полутьме.

– Если бы вы не пришли, – сказал он, – меня бы больше не увидели.

Меме ощутила на своей коленке тяжесть его пятерни и уже знала: с этой минуты они оба перешли границы запретного.

– Ты меня забавляешь, – усмехнулась она. – Всегда говоришь то, чего не следует.

Она сошла с ума от любви. Потеряла сон и аппетит и впала в такое глубокое одиночество, что даже отец стал не нужен. Сочинила длиннейший и сложнейший список якобы неотложных визитов и дел, чтобы сбить с толку Фернанду, забросила подруг, чихала на все условности, лишь бы встречаться с Маурисио Вавилоньей в любое время и в любом месте. Сначала ей был не по нраву его грубый натиск. В первый же раз, как только они

остались одни в открытом поле за гаражами, он безжалостно довел ее до зверского исступления, лишившего всяких сил. Должно было пройти некоторое время, прежде чем она поняла, что это тоже одна из форм ласки, и тогда совсем потеряла разум и жила только им одним, обуреваемая неистовым желанием тонуть в пьянящем запахе жавеля, растертого в машинном масле. Незадолго до смерти Амаранты в безумии Меме наступил вдруг светлый промежуток, и она похолодела от мысли о своем будущем. Ей доводилось слышать о женщине, которая гадает на картах, и она пошла к ней, никому ничего не сказав. Это была Пилар Тернера. Как только старуха увидела Меме, она сразу догадалась, в чем дело. «Садись, – сказала Пилар Тернера. – Мне не нужны карты, чтобы предсказать будущее кого-то из Буэндия». Меме не знала и никогда не узнает, что эта столетняя гадалка была ее прабабушкой. Да она этому никогда бы и не поверила, услышав, с какой жестокой простотой та поведала ей, что любовное пекло становится раем только в постели. Такова же была точка зрения и Маурисио Вавилоньи, но Меме отказывалась ему верить, невольно полагая, что простой человек вполне может и ошибиться. Она тогда думала что, любовь так или иначе убивает любовь, ибо в природе людей отказываться от еды, утолив голод. Пилар Тернера не только вывела ее из заблуждения, но и предложила ей старую койку, на которой сама зачала Аркадио, деда Меме, а потом и Аурелиано Хосе. Кроме того, обучила ее, как с помощью горчичных припарок предохранить себя от нежелательных последствий, и снабдила рецептом питья, которое в крайнем случае поможет избавиться «даже от угрызений совести». Этот визит вселил в Меме такое же чувство бесшабашной отваги, какое она ощутила, когда впервые хлебнула с подругами крепкого рома. Смерть Амаранты заставила ее, однако, отсрочить исполнение замысла. Все десять поминальных дней она не отходила от Маурисио Вавилоньи, когда он бывал в их доме, смешиваясь с толпой посетителей. Потом наступил долгий период траура с непременным затворничеством, и на некоторое время им пришлось разлучиться. Это были дни таких волнений, такой неодолимой любовной тяги и стольких подавляемых желаний, что в первый же день, когда Меме смогла выйти из дому, она прямехонько направилась к Пилар Тернере. И отдалась Маурисио Вавилонье без сопротивления, без стыда, без жеманства, так легко и просто, так умело и понятливо, что более ревнивый мужчина мог бы принять это за чистейшей воды распутство. Они посвящали любви два дня в неделю в течение более трех месяцев, пользуясь невольным сводничеством Аурелиано Второго, который легковерно подтверждал алиби дочери, лишь бы избавлять ее от материнского ига. Тем вечером, когда Фернанда накрыла их в кино, Аурелиано Второй вдруг ощутил укор совести и зашел к Меме в спальню, куда ее заперла Фернанда. Отец не сомневался, что дочь облегчит свою душу признаниями, которые он явно заслужил. Но Меме ничего не сказала. Она была так уверена в самой себе, так крепка душой в своем одиночестве, что Аурелиано Второй подумал о том, что между ними оборвалась всякая связь, что их товарищество и сообщничество не более чем иллюзии прошлого. Он хотел было поговорить с Маурисио Вавилоньей, полагаясь на свой авторитет бывшего хозяина, чтобы покончить с его притязаниями, но Петра Котес убедила его, что это дела женские и нечего соваться к дочери, и он продолжал барахтаться в своих колебаниях, лелея скромную надежду на то, что домашнее заключение положит конец страданиям дочери. Меме отнюдь не выглядела страждущей. Напротив, из соседней спальни до Урсулы долетало по ночам ее ровное дыхание, днем было слышно, как она спокойно делает все, что ей положено, с аппетитом ест и не жалуется на плохое пищеварение. Лишь одно занимало Урсулу в течение двух месяцев домашнего ареста Меме: почему та ходит в купальню не утром, как все, а в семь

вечера. Иной раз старухе хотелось предостеречь Меме от скорпионов, но девушка избегала ее, подозревая в предательстве, и Урсула предпочитала не лезть со своими прабабкиными советами. Желтые бабочки заполняли дом, едва начинало вечереть. Возвращаясь из купальни, Меме всякий раз видела, как Фернанда в полном отчаянии окатывает тучи бабочек жидкостью от вредных насекомых. «Просто беда, – причитала мать. – Все говорят, что ночные бабочки приносят несчастье». Однажды вечером, когда Меме была в купальне, Фернанда случайно вошла в ее спальню и попала в такую толщу бабочек, что чуть не задохнулась. Она схватила тряпку, чтобы их распугать, и застыла от ужаса, сообразив, что между поздними купаниями дочери и горчичным пластырем, выпавшим у нее из рук, прямая связь. Теперь Фернанда не стала долго ждать, как раньше. На следующий же день она пригласила к обеду нового алькальда, который был ее земляком, уроженцем высокогорья, и попросила его устроить ночью засаду на заднем дворе, ибо ей кажется, что у нее воруют кур. Той же ночью страж пальнул из ружья по Маурисио Вавилонье, когда тот разбирал черепицу на купальне, где его ожидала Меме, раздетая догола и дрожащая от страсти среди полчищ бабочек и скорпионов, как это было почти каждый вечер за последние месяцы. Пуля, застрявшая в позвоночнике, приковала его к постели на всю оставшуюся жизнь. Маурисио Вавилонья умер от старости в полном одиночестве, прожив свои годы не жалуясь, не возмущаясь, никого не виня, страдая от воспоминаний и от желтых бабочек, не дававших ему ни минуты покоя, и публично ославленный как куриный вор.

События, которые в конечном итоге нанесли смертельный удар Макондо, уже назревали тогда, когда домой привезли сына Меме Буэндии. Обстановка в городе была такой тревожной, что никому не было дела до семейных передряг, и потому Фернанда без труда прятала ребенка от чужих глаз, словно его на свете не было. Она не могла не взять младенца, ибо он попал к ней таким странным образом, что отказаться от него было невозможно. Она должна была терпеть, сжав зубы, до конца своей жизни, ибо в решающий моменту нее не достало храбрости исполнить свое тайное намерение – утопить его в купальне. Фернанда заперла этот дар Божий в мастерской полковника Аурелиано Буэндии. Ей удалось убедить Санта Софию де ла Пьедад, что ребенка в корзине она выловила из реки. Урсуле предстояло умереть в неведении. Маленькая Амаранта Урсула, которая однажды застала Фернанду в мастерской, когда мать кормила ребенка, тоже поверила в сказку о корзине с реки. Аурелиано Второй, окончательно порвавший с женой из-за чудовищной жестокости, с какой та обошлась с бедной Меме, прознал о существовании внука только через три года после его появления в доме, когда малыш удрал из заключения по недосмотру Фернанды и вмиг оказался в галерее, голышом, с длинными лохмами, впечатляющим гуликом с индюшиный нос, – живое воплощение не человеческого детеныша, а людоеда с картинки из энциклопедии.

Фернанда не ожидала такого подвоха со стороны своей немилосердной судьбы. Ребенок словно бы олицетворил собой разврат, который, как ей верилось, она сумеет навсегда изничтожить в этом доме. Не успели отсюда убрать Маурисио Вавилонью с пробитым позвоночником, а она уже прекрасно знала, что надо делать, чтобы замести все следы скандального происшествия. Не сказав мужу ни слова, Фернанда собралась на следующий день в дорогу, сунула в чемоданчик три смены белья для дочери и зашла в ее спальню за полчаса до отхода поезда.

– Пошли, Рената, – сказала она.

Никаких объяснений не последовало. Меме тоже не желала ни говорить, ни слушать. Она даже не спросила, куда ее ведут, ей было все равно – хоть на бойню. Она не проронила ни слова с той минуты – и умолкла на всю жизнь, – как услышала выстрел на заднем дворе, а затем страшный вопль Маурисио Вавилоньи. Когда мать велела ей выйти из спальни, она не причесалась, не умылась и, как лунатик, поднялась в вагон, даже не заметив желтых бабочек, которые продолжали роиться над ее головой. Фернанда так и не поняла, да и не старалась понять, было ли каменное молчание дочери намеренным или она онемела от горя. Меме почти не соображала, что едет в поезде по древней зачарованной земле. Не видела бескрайних густых банановых плантаций по обе стороны железной дороги. Не видела ни белых домиков гринго, ни их иссохших от пыли и жары садов, ни женщин в коротких штанах и сине-полосатых блузах, играющих в карты на террасах. Не видела девушек, которые плескались в прозрачных речках, как рыбы-бешенки, вгоняя в тоску пассажиров проходящего поезда видом своих пышных грудей; не видела убогих и жалких бараков рабочих, где тучами вились желтые бабочки Маурисио Вавилоньи и где у порогов сидели на горшках зеленоватые хилые дети, а брюхатые женщины обливали бранью проходящий поезд. Все эти мимолетные картины, праздничными видениями скользившие перед взором Меме, когда она ехала домой из школы, теперь не задевали ее сердца. Не глядела она в окно и тогда, когда осталась позади знойная влажность плантаций и поезд пошел сквозь необозримые поля красных маков, где еще высился обугленный остов испанского галиона, а потом вырвался к тому самому прозрачному воздуху и к тому самому пенному и грязному морю, где почти век назад были похоронены мечты Хосе Аркадио Буэндии.

В пять вечера, по прибытии на конечную станцию низины, Меме вышла из вагона, потому что вышла Фернанда. Обе сели в пролетку, напоминавшую большую летучую мышь, и астматически хрипящая лошадь потащила их по безлюдному городку, над бесконечными, изъеденными селитрой мостовыми которого неслись унылые звуки фортепьяно, подобно тем, что давным-давно слышала юная Фернанда в часы сиесты. Они взошли на речной пароход, деревянное колесо которого грохотало, как артиллерийская канонада, а ржавая железная обшивка дышала печным жаром. Меме не выходила из каюты. Дважды в день Фернанда ставила тарелку с едой возле ее кровати и дважды в день уносила еду нетронутой, и не потому, что Меме решила уморить себя голодом, а потому, что ее тошнило от одного запаха пищи и выворачивало наизнанку даже от воды. В то время она и сама еще не знала, что горчичные припарки не помеха ее плодовитости, как не знала еще почти год и Фернанда, пока ей не вручили младенца. В душной каюте, сходя с ума от дребезжания железных переборок и невыносимой вони гнилой воды, взбаламученной колесом парохода, Меме потеряла счет дням. Много времени прошло с тех пор, как последняя желтая бабочка была сражена лопастями вентилятора, и она сочла это неоспоримым доказательством того, что Маурисио Вавилонья умер и всему конец. Тем не менее она не зачахла и не пала духом. Она продолжала думать о нем и во время мучительного переезда на мулах через равнину, ошеломляющую миражами, где плутал Аурелиано Второй, когда искал самую красивую женщину на земле, и во время перехода через горы по козьим тропам, и во время поездки по мрачному городу, каменные улочки которого разносили эхо погребального трезвона тридцати двух колоколен. Переночевали они в большом заброшенном доме колониальных времен, спали на голых досках, которые Фернанда кинула на пол в огромной спальне, поросшей мхом, и укрывались обрывками истлевших оконных занавесей, которые крошились при всяком движении. Меме знала, где они находятся, потому что в кошмаре бессонницы видела

бродящего неподалеку того самого кабальеро в черном, которого когда-то в канун Рождества привезли к ним домой в свинцовом гробу. На следующий день после мессы Фернанда отвела ее в одно темное хмурое здание, которое Меме тотчас узнала по часто слышанным воспоминаниям матери о монастыре, где ее готовили в королевы, и поняла, что путешествие окончено. Пока Фернанда с кем-то разговаривала в соседней комнате, она стояла в зале, где шахматными квадратами ее обступили большие портреты испанских епископов, и дрожала от холода, потому что еще не рассталась с шерстяным платьем в черных цветочках и своими грубыми ботинками, хранившими мертвящий холод высокогорья. Она стояла в центре зала, думая о Маурисио Вавилонье в желтой сени витражей, когда из комнаты вышла очень красивая послушница с ее чемоданчиком, где были три смены белья. Проходя мимо, послушница, не останавливаясь, взяла Меме за руку.

– Пойдем, Рената, – сказала она.

Меме не отняла руки и покорно пошла с ней рядом. В последний раз Фернанда видела дочь, которая семенила, стараясь попасть в ногу с послушницей, когда за ней захлопнулась железная решетка монастырской обители. А Меме еще думала о Маурисио Вавилонье, о его запахе машинного масла и его окружении из желтых бабочек, и не перестанет думать о нем каждый Божий день до того далекого осеннего рассвета, когда умрет от старости под чужим именем, не вымолвив ни единого слова, в какой-то мрачной больнице Кракова.

Фернанда вернулась в Макондо поездом, который охраняли вооруженные полицейские. В пути она обратила внимание на скрытое беспокойство пассажиров, на военные патрули в деревнях вдоль железной дороги, уловила витающее в воздухе ожидание того, что грядет нечто страшное, но до приезда в Макондо узнать ничего не удалось, а там ей сообщили, что Хосе Аркадио Второй подбивает рабочих Банановой компании на забастовку. «Только этого нам не хватало, – сказала себе Фернанда. – Анархист в семействе». Забастовка вспыхнула двумя неделями позже и не вызвала тех драматических последствий, которых боялись. Рабочие требовали, чтобы их не принуждали срезать и грузить бананы по воскресным дням, и их петиция выглядела такой справедливой, что даже падре Антонио Исабель выступил в ее поддержку, ибо не счел ее нарушающей законы Божьи. Удачное выступление бастующих, а также успехи других забастовок в последующие месяцы извлекли из забвения поблекшую фигуру Хосе Аркадио Второго, о котором теперь вспоминали только как о человеке, который наводнил город французскими шлюхами. С такой же импульсивной поспешностью, с какой он отделался от своих бойцовых петухов ради идиотской затеи – пустить суда по несудоходной речке, – он отказался от должности надсмотрщика на одной из плантаций Банановой компании и встал на сторону рабочих. Очень скоро его объявили агентом международных тайных обществ, подрывающих социальные устои. Однажды ночью, в одну из недель, полную зловещих слухов, он чудом избежал смерти от четырех пуль, которые послал в него какой-то незнакомец по окончании подпольного собрания. В следующие месяцы атмосфера так сгустилась, что даже Урсула ощущала ее тяжесть в своем темном углу и думала, мол, снова приходится переживать то тревожное время, когда ее сын Аурелиано носил в кармане гомеопатические пилюли восстания. Ей хотелось поговорить с Хосе Аркадио Вторым и рассказать ему о прошлом, но Аурелиано Второй сообщил ей, что с ночи покушения никто не знает, где тот находится.

– Точно так же было с Аурелиано, – воскликнула Урсула. – Не иначе все повторяется в мире.

Фернанду не трогали волнения этих дней. Она порвала все связи с внешним миром

после страшной ссоры с мужем из-за того, что распорядилась судьбой Меме, ничего ему не сказав. Аурелиано Второй готов был вернуть дочь с помощью полиции, если потребуется, но Фернанда предъявила ему бумаги, в которых подтверждалось, что та приняла монашество по доброй воле. Меме действительно подписала их, уже будучи по ту сторону железной решетки, и сделала это с тем же холодным равнодушием, с каким дала себя увезти. Аурелиано Второй не слишком верил в законность подписанных Меме документов, как никогда не верил и в то, что Маурисио Вавилонья лазил во двор воровать кур, но эти личные свидетельства позволили ему успокоить свою совесть и без всех душевных терзаний вернуться под крылышко Петры Котес, в доме которой он стал снова устраивать шумные пирушки и состязания в обжорстве. Далекая от всех городских треволнений, глухая к страшным пророчествам Урсулы, Фернанда подвела последнюю черту под своим приведенным в исполнение приговором. Она написала длинное письмо своему сыну Хосе Аркадио, который уже готовился получить первый духовный сан, и сообщила ему, что его сестра Рената заболела холерой и почила в бозе. Тем временем Амаранта Урсула была поручена заботам Санта Софии де ла Пьедад, и Фернанда полностью отдалась своей переписке с заочными целителями, прерванной по вине незадачливой Меме. Первое, что она сделала, – назначила точную дату отложенного телепатического вмешательства. Но невидимые медики ответили, что спешить нельзя до поры, пока не улягутся социальные волнения в Макондо. Ей так не терпелось вылечиться и она так плохо разбиралась в обстановке, что в другом письме объясняла им, мол, нет тут никаких социальных волнений, а все дело в диких выходках ее деверя, который сейчас помешался на профсоюзах, как до того был помешан на петухах и пароходах. Вопрос оставался открытым и тогда, в ту знойную среду, когда в дверь дома постучала старая монашенка с корзинкой в руке. Впустив ее, Санта София де ла Пьедад подумала, что кто-то прислал подарок, и хотела взять корзинку, прикрытую красивым кружевным платком. Но монахиня не отдала ей ношу, поскольку ей было велено вручить корзинку лично и под большим секретом донье Фернанде дель Карпио де Буэндия. Это был сын Меме. Бывший духовный пастырь Фернанды писал ей, что младенец родился два месяца тому назад и что они позволили себе окрестить его именем Аурелиано в честь деда, ибо его мать рта не раскрыла, чтобы выразить свою волю. Вся душа у Фернанды перевернулась от такого издевательства судьбы, но ей удалось справиться со своими чувствами и даже улыбнуться монахине:

– Мы скажем, что нашли его в корзине на реке.

– Никто не поверит, – ответила старуха.

– Если о подобном говорится в Священном писании и люди этому верят, – возразила Фернанда, – то почему бы им не поверить и мне.

Монашенка отобедала у них в ожидании обратного поезда и проявила достаточно благоразумия, чтобы ни разу не упомянуть о ребенке, но Фернанда видела в ней нежелательного свидетеля своего позора и пожалела, что канул в Лету средневековый обычай посылать на виселицу гонца, явившегося с дурными вестями. Именно тогда она решила утопить младенца в купальне, как только уедет монахиня, но духу все-таки не хватило, и она предпочла терпеливо ждать, пока Господь милостью своей безмерной не избавит ее от обузы.

Новому Аурелиано минул год, когда напряженная обстановка в городе вдруг разрядилась. Хосе Аркадио Второй и другие профсоюзные вожаки, находившиеся до той поры в подполье, к концу недели ни с того, ни с сего объявились в поселках на банановых плантациях и стали

подбивать людей на демонстрацию. Полиция, не вмешиваясь, наблюдала за общественным порядком. Однако в ночь на понедельник всех вожаков схватили в их домах, навесили на ноги пятикилограммовые кандалы и отправили в тюрьму главного города провинции. Вместе с другими увели Хосе Аркадио Второго и полковника Лоренсо Гавилана, участника Мексиканской революции, сосланного в Макондо и бывшего, по его словам, свидетелем подвигов своего собрата Артемио Круса. Однако не прошло и трех месяцев, как они снова оказались на свободе, ибо правительство и Банановая компания не смогли договориться, кому из них кормить арестантов. В следующий раз рабочие выразили недовольство антисанитарными условиями своих жилищ, липовым медицинским обслуживанием и несправедливой оплатой труда. Кроме того, утверждалось, что компания платит не наличными деньгами, а бонами, на которые можно купить только виргинскую ветчину в лавках компании. Хосе Аркадио Второй был арестован за то, что разъяснял, как система оплаты бонами помогает компании дешево фрахтовать суда, которые, выгрузив бананы в Новом Орлеане, возвращаются не порожняком, а с товарами для торговли в здешних лавках на боны. Остальные нарекания были общебытового характера. Врачи компании не обследовали больных, а велели вставать в длинную очередь к медпунктам, где сестра кидала всем подряд на язык пилюлю цвета медного купороса, будь у пациента малярия, триппер или запор. Медикамент был до того универсален, что дети по нескольку раз становились в очередь и, не глотая, несли пилюли домой и использовали их вместо фишек при игре в лото. Рабочие ютились в жалких бараках. Строители, вместо того чтобы сконструировать отдельные нужники, привозили в поселки под каждое Рождество по одному передвижному сортиру на пятьдесят посадочных мест и принародно показывали, как надо этим сооружением пользоваться, чтобы оно служило подольше. Престарелые законники в черных сюртуках, некогда осаждавшие полковника Аурелиано Буэндию, а позже завербованные Банановой компанией, разрешали спорные вопросы с непостижимой легкостью. Когда рабочие подали общую, всеми подписанную жалобу, прошло немало времени, прежде чем она была от них официально принята. Как только сеньор Браун узнал о документе, он тут же прицепил к поезду свой фешенебельный стеклянный вагон и смылся из Макондо вместе с видными деятелями своей фирмы. Однако на следующей неделе несколько рабочих накрыли одного деятеля в борделе и заставили подписать копию петиции прямо нагишом, в постели с женщиной, которая согласилась устроить ему западню. Панихидного вида законники доказали в суде, что этот тип никакого отношения к компании не имеет, а чтобы никто не усомнился в их правоте, препроводили его в тюрьму как мелкого мошенника. Позже изловили и сеньора Брауна, который ехал инкогнито в вагоне третьего класса, и вынудили его подписать вторую копию общей петиции. На следующий день он предстал перед судьями с шевелюрой черного цвета и шпарил по-испански без запинки. Адвокаты доказали, что это не сеньор Джек Браун, управляющий Банановой компании, рожденный в Праттвилле, штат Алабама, а безобидный торговец лечебными травами из Макондо, где и получил при крещении имя Дагоберто Фонсеки. Немного погодя, пресекая новые попытки рабочих разыскать сеньора Брауна, адвокаты развесили в общественных местах копии свидетельства о его смерти, удостоверенной консулами и советниками посольства и происшедшей девятого июня в Чикаго в результате наезда на него пожарной машины. Устав от иезуитских трюков, рабочие плюнули на власти Макондо и полезли со своими жалобами в высшие судебные инстанции. Тут-то иллюзионисты-правоведы и показали, что все обжалования истцов вообще лишены основания просто-напросто потому, что Банановая компания не имеет,

никогда не имела и не будет иметь своих работников, а нанимает людей от случая к случаю и на короткий срок. Таким образом было покончено с россказнями о навязанной виргинской ветчине, о чудотворных пилюлях и рождественских сортирах, и высший суд постановил, и постановление доведено до сведения всех граждан, что никаких рабочих вообще не существует в природе.

Размах забастовки был огромен. Работы на плантациях заглохли, бананы гнили на кустах, и составы по сто двадцать вагонов томились в тупиках. Из поселков в город повалили праздные забастовщики. Турецкая улица переживала семь суббот на неделе, бильярдная отеля «Хакоб» не закрывалась по двадцать четыре часа в сутки. Там был Хосе Аркадио Второй как раз в тот день, когда сообщили, что армия получила приказ восстановить порядок. Хотя у него не было дара предвидения, это известие он воспринял как свой смертный приговор, которого ждал с того далекого утра, когда полковник Херинельдо Маркес разрешил ему поглядеть на расстрел. Тем не менее дурное предчувствие не нарушило его невозмутимость игрока. Какой удар задумал, такой и сделал и вогнал шар карамболем в лузу. Через какое-то время барабанная дробь, визг кларнетов, крики, бегущая толпа подсказали ему, что не только партия в бильярд, но и молчаливая, одинокая игра с самим собой с той казни на рассвете наконец закончена. Тогда он вышел на улицу и увидел их. Это были три полка, чей мерный топот под бой барабанов сотрясал землю. Дыхание многоголового дракона застилало смрадными испарениями лучезарный полдень. Они были приземисты, крепки, свирепы. Они потели лошадиным потом и пахли мездрой, подсушенной на солнце, и была в них молчаливая и каменная неустрашимость людей высокогорья. Хотя они проходили мимо уже более часа, можно было подумать, что перед глазами кружат одни и те же роты, ибо все были на одно лицо, сыны одной матери. И все с одинаковой тупостью сносили и тяжесть ранцев и фляжек, и позор ружей с примкнутыми штыками, и ноющую боль слепого повиновения, и долг чести. Урсула слышала их марш на своем ложе во тьме и со страхом подняла руку, сложив два пальца крестом. Санта София де ла Пьедад замерла на мгновение, склонившись над вышитой скатертью, которую гладила, и подумала о своем сыне, Хосе Аркадио Втором, а тот, застыв, стоял в дверях отеля «Хакоб» и смотрел вслед последнему солдату.

Закон о чрезвычайном положении отводил армии роль посредника в споре, но никакой попытки примирить стороны сделано не было. После того как солдаты покрасовались в Макондо, они отставили винтовки в сторону и принялись срезать и грузить бананы, отправлять поезда. Рабочие, готовые было выжидать, отступили в горы со своими мачете и повели борьбу око за око, зуб за зуб. Они поджигали усадьбы и конторы, разрушали железнодорожное полотно, чтобы мешать движению составов, которые стали пролагать себе путь пулеметными очередями, срезали телефонные и телеграфные провода. Оросительные каналы окрасились кровью. Сеньор Браун, который был жив и здоров и отсиживался в электрифицированном курятнике, был вывезен из Макондо со всей своей семьей и с домочадцами своих соотечественников под охраной военных в более надежное место. Конфликт грозил перерасти в кровавую гражданскую войну, скорее – бойню, когда власти обратились к рабочим с призывом всем вернуться в Макондо. Из призыва люди поняли, что глава гражданской и военной власти провинции прибудет сюда в следующую пятницу и уладит конфликт.

Хосе Аркадио Второй находился в толпе на привокзальной площади, где народ собрался еще в пятницу утром. Он пришел сюда с собрания профсоюзных вожаков, где ему и

полковнику Гавилану поручили влиться в людской поток и руководить людьми по ходу дела. Хосе Аркадио Второму было не по себе, язык прилип к солоноватому нёбу, когда он узнал, что военные окружили площадь пулеметными гнездами, а городок-курятник Банановой компании находится под защитой артиллерийских орудий. Около полудня, в ожидании никак не приходящего поезда, более трех тысяч человек, среди которых были рабочие, женщины и дети, стали, потоптавшись на тесной привокзальной площади, протискиваться в прилегающие улочки, перекрытые рядами пулеметов. И казалось, что это не официальное сборище, а нечто вроде праздничного гулянья. С Турецкой улицы притащили столы с фритангой и ящики со спиртным, и народ чуть ли не с удовольствием терпел и нудное ожидание, и палящее солнце. Около трех часов прошел слух, что поезд с властями прибудет не раньше завтрашнего дня. Уставшая толпа испустила вздох разочарования. Тогда один армейский лейтенант поднялся на крышу вокзальчика, откуда на толпу были нацелены четыре пулемета, и призвал всех к тишине. Рядом с Хосе Аркадио Вторым стояла босая толстенная женщина с двумя детьми – четырех и семи лет. Она взяла на руки младшего сына и попросила Хосе Аркадио Второго, совсем ей незнакомого, приподнять старшего, чтобы и он слышал, о чем пойдет речь. Хосе Аркадио Второй водрузил мальчика себе на закорки. Много лет спустя этот самый мальчик станет рассказывать, хотя никто не будет ему верить, что сам видел и слышал, как лейтенант в граммофонную трубу читает Декрет Номер Четыре гражданского и военного главы провинции. Декрет был подписан генералом Карлосом Кортесом Варгасом и его секретарем, майором Энрике Гарсия Исасой, и в трех пунктах из восьмидесяти слов объявлял забастовщиков «бандой преступников» и давал военным право расстреливать их в упор.

Прочитав декрет, вызвавший оглушительный свист и крики протеста, лейтенант уступил место на крыше капитану, и тот, махнув граммофонной трубой, дал понять, что желает говорить. Толпа снова притихла.

– Сеньоры, – сказал капитан тихо, медленно и чуть устало, – вам дается пять минут, чтобы разойтись.

Свист и дикие вопли заглушили горн, подавший знак отсчета времени. Никто не тронулся с места.

– Пять минут истекли, – сказал капитан так же ровно. – Еще минута, и будет открыт огонь.

Хосе Аркадио Второй, обливаясь ледяным потом, спустил мальчика с плеч и подтолкнул к матери. «Эти паразиты могут выстрелить», – прошептала она. Хосе Аркадио Второй не успел ответить, потому что в этот же миг хриплый голос полковника Гавилана громким эхом повторил слова женщины. Опьяненный общей напряженностью, звоном глубочайшей тишины и, кроме всего прочего, зная, что не в силах эта застывшая толпа, объятая дыханием смерти, сдвинуться с места, Хосе Аркадио Второй встал на цыпочки и, поверх людских голов, впервые за всю свою жизнь напряг голос до крика.

– Гады! – завопил он. – Подавитесь вы вашей минутой!

Вопль оборвался, и тут же его поразил не ужас, а какое-то совсем нереальное видение. Капитан скомандовал «огонь», и четырнадцать пулеметов заверещали в ответ. Но словно бы разыгрывался спектакль. Пулеметы выглядели пиротехническими игрушками: слышался их надрывный стрекот, виделись их огненные плевки, но не улавливалось ни малейшего движения, ни звука, ни даже вздоха в густой толпе, казавшейся каменной и потому неуязвимой. Но вот со стороны вокзала раздался предсмертный стон, и колдовство

разрушилось: «Ох! Мама!» Подземные клокочущие силы, гул вулкана, рев водопада вырвались из центра толпы и вмиг бешено раскрутили людскую массу. Хосе Аркадио Второй едва успел схватить мальчишку, а его мать с младшим уже была вовлечена в паническую круговерть.

Много-много лет спустя мальчик не перестанет рассказывать, хотя соседи будут считать его придурковатым стариком, как Хосе Аркадио Второй поднял его над головой и он будто поплыл по воздуху, по волнам людского ужаса к ближайшей улочке. Сверху мальчик мог заметить, как толпа, устремленная туда же, едва успела достигнуть угла, как была встречена пулеметным огнем. Одновременно раздались крики:

– На землю! Ложись!

Первые ряды уже полегли, сраженные пулеметными очередями. Те, кто бежал позади, вместо того чтобы броситься наземь, хотели повернуть обратно, на площадь, и тогда паника ударила их драконьим хвостом и швырнула одну плотную людскую лавину против другой плотной лавины, которая неслась навстречу первой, подстегнутая другим ударом драконьего хвоста, от противоположной улицы, где тоже не переставая строчили пулеметы. Люди оказались в загоне, кружась по площади гигантским вихрем, который мало-помалу суживался к эпицентру, ибо его края отсекались по кругу, как при чистке луковицы, ненасытным и методичным ножом пулеметного огня. Мальчик увидел женщину на коленях с молитвенно сложенными руками посреди чистого клочка земли, почему-то не тронутого пулями. Там и оставил его Хосе Аркадио Второй, рухнув наземь с залитым кровью лицом, до того как людской поток залил и этот свободный клочок земли, и коленопреклоненную женщину, и свет высокого знойного неба, и весь этот непотребный мир, где Урсула Игуаран продала столько леденцовых зверушек.

Когда Хосе Аркадио Второй очнулся, он лежал на спине в потемках. И понял, что едет в каком-то бесконечном и тихом поезде, и что его волосы топорщатся от запекшейся крови, и что ноют у него все кости. Ему хотелось спать, только спать, несмотря на все страхи и ужасы, и, повернувшись на тот бок, который меньше болел, он только тогда сообразил, что лежит на трупах. Вагон был ими битком набит, и оставался свободным только проход посередине. Наверно, прошло немало часов после бойни, ибо трупы были холодны, как гипс осенью, и так же гипсово тверды, а те, кто притащил их в вагон, имели достаточно времени и профессионального опыта, чтобы уложить их так, как укладывают ветви бананов для транспортировки. Избавляясь от этого кошмара, Хосе Аркадио Второй перебирался из вагона в вагон по ходу поезда, и в мелькавших струйках света, пробивавшихся в щели вагона, когда поезд ехал мимо полуспящих поселков, он видел мертвых мужчин, мертвых женщин, мертвых детей, которых выбросят в море, как гнилые бананы. Он узнал только женщину, продававшую спиртное на площади, и полковника Гавилана, который сжимал в руке пояс с пряжкой из морелийского серебра, словно все еще хотел одолеть панику. Оказавшись наконец в первом вагоне, Хосе Аркадио Второй спрыгнул в темноту и затаился под откосом, пока мимо не прошел весь состав. Это был самый длинный состав, который он когда-либо видел, – почти двести товарных вагонов с двумя локомотивами, спереди и сзади, и еще один в середине. Поезд шел без огней, даже без обычных красных и зеленых фонарей; вагоны скользили крадучись, быстро и тихо. На крышах чернели силуэты солдат с пулеметами.

После полуночи на землю обрушился ливень. Хосе Аркадио Второй не знал, где он находится, но понимал, что, если идти в обратном направлении, можно попасть в Макондо. К концу трех часов пути, промокнув до мозга костей, изнемогая от страшной головной боли,

он увидел в рассветном мареве первые дома. Уловив запах кофе, вошел в чью-то кухню, где женщина с ребенком на руках склонилась над печкой.

– Здравствуй, – сказал он, едва шевельнув губами. – Я Хосе Аркадио Второй Буэндия.

Он произнес свое имя полностью, буква за буквой, чтобы убедиться, что жив. И правильно сделал, так как женщина сочла его за призрак, увидев в дверях замызганное страшилище с залитыми кровью головой и рубахой, входившее тяжелой поступью смерти. Женщина его узнала. Принесла одеяло, в которое он завернулся, пока сохла одежда на печи, согрела воду, чтобы промыть рану, которая оказалась рваной царапиной, и протянула ему чистую детскую пеленку перевязать голову. Потом подала кружку кофе без сахара, что, как она слышала, было любимым питьем всех Буэндия, и придвинула мокрую одежду ближе к огню.

Хосе Аркадио Буэндия ничего не говорил, пока не допил кофе.

– Наверное, тысячи три, не меньше, – пробормотал он.

– Чего?

– Убитых, – сказал он. – Наверное, все, кто был у вокзала.

Женщина оглядела его с жалостью. «Тут не было никаких убитых, – сказала она. – Со времен твоего дяди, полковника, в Макондо ничего не случалось». В трех кухнях, куда заходил Хосе Аркадио Буэндия, пока добрался до дома, ему говорили одно и то же: «Убитых не было». Он забрел на привокзальную площадь и увидел гору столов для фританги, но никаких следов кровавой бойни. Улицы были пустынны под нудным дождем, дома заперты – без всяких признаков жизни. Единственным живым звуком стал первый удар колокола, звавший к мессе. Хосе Аркадио Второй постучал в дом полковника Гавилана. Женщина на сносях, которую он видел много раз, захлопнула дверь у него перед носом. «Его нет, – испуганно шепнула она. – Он вернулся на родину». Главный вход в зарешеченный курятник охранялся, как всегда, двумя местными полицейскими, которые каменными столбами торчали под дождем в плащах и клеенчатых шлемах. На своей глухой улочке антильские негры тянули субботние псалмы. Хосе Аркадио Второй перелез через изгородь в патио и вошел в дом через кухню. Санта София де ла Пьедад выдохнула едва слышно: «Чтобы Фернанда тебя не увидела, – сказала она. – Ей уже вставать пора». Словно по тайному взаимному соглашению она отвела сына в «горшковую кладовую», застелила полусгнившую койку Мелькиадеса и в два часа дня, когда Фернанда предавалась отдыху в час сиесты, сунула ему в окно тарелку с едой.

Аурелиано Второй ночевал дома, где его застал дождь, и до трех часов дня все еще ждал, когда разгуляется погода. Санта София де ла Пьедад сообщила ему по секрету о брате, и он тут же пошел в комнату Мелькиадеса. Ему тоже не поверилось ни в россказни о бойне, ни в кошмарный сон о составе, груженном трупами и направляющемся к морю. Накануне вечером было оглашено чрезвычайное правительственное сообщение о том, что рабочие подчинились приказу очистить вокзал и мирными колоннами разошлись по домам. В сообщении также говорилось, что профсоюзные лидеры, движимые высоким патриотическим сознанием, довольствовались выполнением двух пунктов петиции: проведением реформы медицинского обслуживания и устройством уборных в каждом доме. Позже стало известно, что, как только военные власти получили согласие рабочих, об этом было сообщено сеньору Брауну и он не только принял новые условия, но и предложил оплатить трехдневное народное гулянье в честь благоприятного исхода конфликта. Однако когда власти спросили его, на какой день назначить подписание соглашения и праздник, он,

взглянув в окно на небо, рассекаемое молниями, развел руками в полнейшей растерянности.

– Вот установится погода… – сказал он. – А пока идет дождь, мы вообще ничего не будем делать.

Дождей не было около трех месяцев, и стояла засуха. Но едва сеньор Браун вынес свое решение, как вся банановая зона оказалась под проливным дождем, который накрыл Хосе Аркадио Второго на обратном пути в Макондо. Ливень не прекращался целую неделю. Официальная версия, тысячу раз повторенная и навязанная стране всеми подвластными правительству средствами массовой информации, взяла верх: убитых не было, довольные рабочие разошлись по домам, а Банановая компания приостанавливает работы до окончания дождей. Осадное положение сохранялось в целях принятия чрезвычайных мер для помощи населению, если затяжные дожди вызовут стихийное бедствие, но войска были отведены в казармы. Днем солдаты шлепали, засучив штаны до колен, по уличным потокам и, забавляясь, спасали игравших в кораблекрушение детей. Ночью, после наступления комендантского часа, они вышибали прикладами двери, поднимали подозреваемых с постелей и отправляли в безвозвратное путешествие. Все еще продолжались розыски и ликвидация злоумышленников, преступников, поджигателей и нарушителей Декрета Номер Четыре, но военные власти врали в лицо родным своих жертв, осаждавшим комендатуру в поисках пропавших без вести. «Да вам просто приснилось, – твердили офицеры. – В Макондо ничего не происходило, не происходит и никогда не произойдет. Это счастливый город». Так покончили с профсоюзными вожаками.

Уцелел один лишь Хосе Аркадио Второй. Однажды ночью в феврале дверь загромыхала от привычных ударов прикладами. Аурелиано Второй, который все еще ждал прояснения неба и не выходил из дому, впустил шестерых солдат и офицера. Насквозь промокшие, не проронившие ни слова, они обыскали весь дом – комнату за комнатой, шкаф за шкафом, начиная с гостиных, кончая кладовками. Урсула проснулась, когда зажгли свет в спальне, и не дышала, пока шел обыск, но скрестила два пальца и тыкала ими вслед солдатам. Санта София де ла Пьедад успела предупредить Хосе Аркадио Второго, спавшего в комнате Мелькиадеса, но он понял, что пытаться бежать уже поздно. И Санта София де ла Пьедад снова заперла дверь, а он надел рубашку и башмаки и сел на койку в ожидании гостей. А в эту минуту солдаты обыскивали ювелирную мастерскую. Офицер велел снять висячий замок и острым лучом фонарика чиркнул по рабочему столу, стеклянному шкафу с кислотами в флакончиках и по инструментам, лежавшим там, куда их положил хозяин, и, кажется, понял, что в этой комнате никто не живет. Однако не преминул спросить Аурелиано Второго, не золотых ли он дел мастер, но тот ему объяснил, что это рабочая комната полковника Аурелиано Буэндии. «Угу», – произнес офицер, зажег свети приказал тут все столь тщательно обыскать, что от солдат не укрылись и семнадцать золотых рыбок, так и не расплавленных и оставшихся лежать в жестяной банке за рядами флаконов. Офицер внимательно рассматривал рыбок – одну за другой – на рабочем столе и совсем размяк, до человечности. «Мне бы очень хотелось взять одну, если вы позволите, – сказал он. – Когда-то эта вещица вселяла мятежный дух, но теперь она просто реликвия». Офицер был молод, почти подросток, отнюдь не робкого десятка и довольно славный малый, чего в нем до сего момента не замечалось. Аурелиано Второй подарил ему рыбку. Офицер спрятал ее в карман форменной куртки, по-детски радостно блеснув глазами, а остальных положил в банку и поставил на место.

– Это неоценимый подарок, – сказал он. – Полковник Аурелиано Буэндия был одним из

наших самых великих людей.

Тем не менее приступ человечности не повлиял на его профессиональную выучку. Перед комнатой Мелькиадеса, снова запертой на замок, Санта София де ла Пьедад сделала последнюю попытку. «Уже почти целый век никто не живет в этом помещении», – сказала она. Офицер попросил открыть комнату, хлестнул по ней тонким бичом света, и Аурелиано Второй и Санта София де ла Пьедад увидели жгучие глаза Хосе Аркадио Второго, когда его лицо на миг было выхвачено из тьмы, и поняли – наступил конец одному волнению и началось другое, которому нет иного конца, кроме покорности судьбе. Но офицер продолжал шарить по комнате лучом фонарика и ни к чему не проявлял видимого интереса, пока не наткнулся на семьдесят два горшка, стоявших столбиками в шкафу. Тогда он зажег в комнате свет. Хосе Аркадио Второй сидел на краю койки, готовый к выходу, торжественный и отрешенный от всех и вся. В глубине комнаты громоздились полки с потрепанными книгами, рулонами пергаментов и стоял рабочий стол, чистый и прибранный, с еще не высохшими чернилами в чернильницах. Воздух светился той же чистотой, той же прозрачностью, той же неподвластностью пыли и тлену, как это виделось в детстве Аурелиано Второму, но не дано было видеть полковнику Аурелиано Буэндии. И офицера интересовали только горшки.

– Сколько человек живет в этом доме? – спросил он.

– Пять.

Офицер был явно озадачен. Он задержал взгляд на том месте, где Аурелиано Второй и Санта София де ла Пьедад видели Хосе Аркадио Второго, который понял, что офицер смотрит на него, но не видит. Затем офицер погасил свет и закрыл за собой дверь. Когда он обратился к солдатам, до Аурелиано Второго дошло, что юный вояка смотрел на содержимое комнаты Мелькиадеса глазами полковника Аурелиано Буэндии.

– Действительно, в этой комнате лет сто никого не было, – говорил офицер солдатам. – Наверно, тут и змеи уже завелись.

Когда дверь за ними затворилась, Хосе Аркадио Второй с уверенностью мог сказать, что отвоевался он навсегда. Много лет назад полковник Аурелиано Буэндия убеждал его, будто война затягивает и увлекает, и старался доказать это бесчисленными примерами из собственной жизни. Хосе Аркадио Второй ему верил. Нынешней же ночью, когда военные смотрели на него, не видя его, а он в это самое время думал о драматизме последних месяцев, об ужасах тюрьмы, о панике у вокзала и о поезде, набитом трупами, ему подумалось, что полковник Аурелиано Буэндия либо дурачил его, либо сам был дураком. Зачем тратить столько слов, чтобы объяснить то, что чувствует человек на войне, если достаточно одного слова: страх. В комнате же Мелькиадеса, укрытый ее неземным светом, шумом дождя, ощущением своей незримости, он нашел успокоение, какого не испытывал ни разу в своей прежней жизни, и в сердце осталось одно-единственное опасение – как бы его не похоронили заживо. Он рассказал об этом Санта Софии де ла Пьедад, которая каждый день приносила сыну еду, и она обещала ему жить подольше, даже через силу, дабы непременно самой убедиться, что его похоронили мертвым. Избавившись от всех страхов, Хосе Аркадио Второй стал копаться в пергаментах Мелькиадеса, и чем глубже он в них зарывался, ничего не понимая, тем больше это ему нравилось. Привыкнув к шуму дождя, который за два месяца стал новой формой тишины, он начал тяготиться посещениями Санта Софии де ла Пьедад, нарушавшей его одиночество. Поэтому он попросил ее оставлять еду на подоконнике, а на дверь опять навесить замок. Остальные домочадцы забыли о нем, даже

Фернанда, которая ничего не имела против его пребывания в доме, когда услыхала, что военные смотрели на него, но не видели. После того как Хосе Аркадио Второй просидел шесть месяцев взаперти, а военные ушли из Макондо, Аурелиано Второй снял замок с двери, ища, с кем бы перемолвиться словом, пока пройдет дождь. Как только дверь распахнулась, ему стало дурно от зловония, плывшего над горшками, которыми был уставлен весь пол и которые были заполнены почти до отказа. Хосе Аркадио Второй, оплешивевший, не замечающий омерзительных испарений, пропитавших воздух, все читал и перечитывал непостижимые пергаменты. Вокруг него разливалось ангельское сияние. Он едва взглянул на открывшуюся дверь, но брату было достаточно увидеть его взгляд, чтобы прочитать в нем повторение роковой судьбы прадеда.

– Их было больше трех тысяч, – только и сказал Хосе Аркадио Второй. – Теперь я точно знаю, что там были все, кто пришел к вокзалу.

Дождь шел четыре года, одиннадцать месяцев и два дня. Бывало, он затихал, и тогда люди принаряжались, их лица в ожидании погожего дня сияли радостью выздоравливающих, однако скоро все привыкли видеть в послаблениях природы предвестие еще более сильных испытаний. Небо раскалывалось со страшным грохотом, север без конца посылал ураганы, сносившие крыши и рушившие стены, вырывавшие с корнем последние кусты на плантациях. Как во времена эпидемии бессонницы, о которой Урсула вспоминала в те дни, стихия сама заставляла людей избавляться от скуки. Аурелиано Второй был одним из тех, кто упорно не желал подчиняться хандре. Он случайно зашел в свой дом тем вечером, когда сеньор Браун накликал грозу, и Фернанда хотела снабдить мужа зонтиком с поломанной ручкой, отыскавшимся в шкафу. «Не надо, – сказал он. – Я останусь здесь, пока не кончится дождь». Это, понятно, не было нерушимой клятвой, но он вознамерился не изменять сказанному слову. Вся его одежда находилась в доме Петры Котес, и потому каждые три дня он скидывал с себя все, что на нем было, и в одних кальсонах ждал, пока закончится стирка и глаженье. Чтобы не скучать, он начал наводить порядок в доме, где скопилось немало мелких дел. Подтягивал дверные петли, смазывал замки, подвинчивал щеколды и выравнивал шпингалеты. Многие месяцы возился он с ящиком для инструментов, забытым тут, наверно, цыганами во времена Хосе Аркадио Буэндии, и никто не мог понять – из-за постоянных ли физических упражнений, или из-за зимней тоски, или из-за вынужденного воздержания его брюхо стало мало-помалу опадать, как пустеющий бурдюк, а его морда большой блаженной черепахи выглядела менее сангвинической, двойной подбородок спустил жиры, пока наконец он сам не перестал походить не представителя семейства слоновых и снова смог завязывать шнурки на своих башмаках. Видя, как он налаживает запоры и разбирает часы, Фернанда спрашивала себя, не впадает ли он в грех созидания во имя разрушения, как некогда полковник Аурелиано Буэндия со своими золотыми рыбками, Амаранта со своим саваном и пуговицами, Хосе Аркадио Второй с пергаментами и Урсула с ее воспоминаниями. Но она ошибалась. Беда была в том, что дождь все вокруг переиначил и даже из ходовых механизмов лезли цветочки, если шестеренкам случалось простаивать дня три, в золотом шитье зеленели нити, а замоченное белье мигом затягивалось шафранными водорослями. Кругом было столько влаги, что рыбы могли бы вплывать в двери и выплывать в окна, скользя по сырому воздуху комнат. Однажды утром Урсула проснулась, чувствуя, что навсегда впадает в безмятежный сон, и попросила, чтобы ее отнесли к падре Антонио Исабелю, хотя бы на носилках, когда Санта София де ла Пьедад вдруг обнаружила, что у старухи вся спина облеплена пиявками. Их прижгли головешками и оторвали, прежде чем

они успели высосать из нее последнюю кровь. В доме пришлось проложить осушительные желоба, чтобы покончить с жабами и улитками, подсушить полы, убрать кирпичи из-под ножек кроватей и снова надеть обувь. Занимаясь всякими мелочами, требовавшими забот, Аурелиано Второй не замечал, что стареет, до того самого вечера, когда, сидя в качалке и глядя на быстрое сгущение сумерек, подумал о Петре Котес без всякого волнения. Он даже ничего не имел против того, чтобы вернуться к постной любви Фернанды, чья красота с годами не убывала, – ливни прибили всю его страстность и пропитали равнодушием отсыревшей губки. Аурелиано Второго позабавила мысль о том, чего бы только он не натворил раньше, если бы дождь не переставая лил целый год. Он один из первых привез в Макондо оцинкованное железо, гораздо раньше, чем Банановая компания, и только для того, чтобы покрыть железными листами спальню Петры Котес и наслаждаться чувством глубочайшей интимности, которое вызывало у него тарахтение дождя на крыше. Но даже шальные воспоминания из времен разудалой молодости не волновали, словно бы он, Аурелиано Второй, исчерпал в своей последней оргии весь запас похотливости и осталась ему только дивная награда думать о своей былой мощи без горести и без сожаления. Можно было бы предположить, что дождливая погода дала ему возможность посидеть и поразмышлять, а мыканье с масленками и плоскогубцами разбудило в нем запоздалую тоску по мужской полезной работе, которой он никогда не занимался, но ни то, ни другое не отвечало действительности, ибо тяга к спокойной жизни и семейному быту, ныне его одолевавшая, не была плодом воспоминаний или горького опыта. Эта тяга, разбуженная дождем, зародилась много раньше, в ту пору, когда он в комнате Мелькиадеса читал чудесные сказки о коврах-самолетах, о китах, глотающих корабли с судовой командой. Именно в дни таких раздумий по недосмотру Фернанды в галерее появился маленький Аурелиано, и дед, Аурелиано Второй, сразу постиг тайну их схожести. Он окорнал ему лохмы, одел, научил не бояться людей, и вскоре всем стало ясно, что мальчик – вылитый Аурелиано Буэндия, скуластый, настороженный, склонный к одиночеству. Фернанда обрела душевный покой. Она издавна знала меру своей гордыни, но никак не могла с ней справиться, и, чем больше думала, как поступить с внуком, тем меньше верила в возможность верного решения. Если бы ей заранее было известно, что Аурелиано Второй отнесется ко всему этому так, как он отнесся, с добрым благоволением деда, ей не пришлось бы прибегать к уловкам и тратить на ребенка столько времени, а годом раньше можно было бы прекратить самоистязание. Для Амаранты Урсулы, которая уже рассталась с молочными зубами, племянник стал непоседливой куклой, развлекавшей ее в дождливые дни. Аурелиано Второй вспомнил вдруг об английской энциклопедии, которую так никто и не трогал в прежней спальне Меме. Он стал показывать детям картинки, сначала животных, а потом карты, изображения дальних стран и великих людей. Английского языка он не изучал, и поскольку мог узнавать только самые известные города и самых популярных деятелей, то ему самому приходилось придумывать имена и сочинять истории, чтобы удовлетворять жадное любопытство детей.

Фернанда искренне верила, что ее супруг только и ждет окончания дождей, чтобы вернуться к сожительнице. В первые мокрые месяцы она боялась, что он попытается пробраться к ней в спальню и ей придется пережить стыд признания в том, что после рождения Амаранты Урсулы ей противопоказана близость с мужем. Именно это обстоятельство стало предметом ее оживленной переписки с заочными целителями, прерванной никуда не годным почтовым сообщением. В начальную пору ливней, когда стало известно, что ураганы опрокидывают поезда, из письма невидимых медиков она узнала, что

ее посланий они не получили. Позднее, когда связь с неизвестными целителями совсем прервалась, она всерьез подумывала о том, чтобы, прикрыв лицо маской тигра, которую напяливал на себя ее муж на кровавом карнавале, и назвавшись чужим именем, пойти на осмотр к врачам Банановой компании. Но от одной из многочисленных особ, которые частенько бывали у них в доме с дурными вестями о потопе, она узнала, что компания свернула свои амбулатории и увезла туда, где нет дождей. Фернанда потеряла всякую надежду. Ничего не оставалось делать, как ждать, когда опорожнятся тучи и наладится работа почты, а пока справлялась с недомоганиями своим долготерпением, ибо предпочла бы умереть, чем отдаться в руки единственного оставшегося в Макондо медика, экстравагантного француза, который, подобно ослу, любил жевать жвачку. Она было пошла к Урсуле, веря, что та знает средство от ее недуга. Но проклятая привычка не называть вещи своими именами заставила Фернанду изобразить болезнь шиворот-навыворот, вместо рождения говорить об избавлении, а кровотечения заменять словом «жар», чтобы не так стыдно было рассказывать, и Урсула, понятное дело, решила, что расстройства у нее не женские, а кишечные, и посоветовала принимать натощак порошок каломеля. Если бы не эта немочь, в которой не было ничего постыдного для того, кто не страдал бы также и стыдливостью, и если бы не пропадали письма, Фернанда чихать хотела бы на дождь, ибо в конечном итоге вся ее жизнь была непогодой. Все шло своим чередом, своим обычным ходом. Когда стол еще приходилось ставить на кирпичи, а кресла на доски, чтобы не промочить ноги, она все так же стелила льняные скатерти, расставляла китайские сервизы и зажигала перед ужином свечи в канделябрах, ибо считала, что катаклизмы не причина для изменения обычаев. Никто не совал носа на улицу. Если бы это зависело от Фернанды, туда вообще никто никогда бы не вылезал не только с начала дождей, а гораздо раньше, ибо она считала, что двери служат для того, чтобы их запирали, а то, что творится вне дома, интересно только уличным девкам. Однако она первой бросилась к окну, когда услышала про смерть и похороны полковника Херинельдо Маркеса, но картина, увиденная в дверную щелку повергла ее в такую печаль, что долгое время она не могла простить себе эту минутную слабость.

Трудно представить себе более скорбное зрелище. Гроб трясся на повозке, запряженной быками, а над ним высился шалаш из банановых листьев, но дождь лил как из ведра, колеса с трудом месили грязь, дергались на каждом шагу, и шалаш ежеминутно грозил развалиться. Струи воды, грустно стучавшие в гроб, пропитали накрывший его флаг, тот самый, темный от крови и пороха флаг, который презирали самые уважаемые ветераны. На гробе лежала и сабля с кистями из шелковых и золотистых нитей, та, что полковник Херинельдо Маркес оставлял на вешалке перед гостиной, чтобы безоружным явиться в девичью комнату Амаранты. За повозкой – иные босиком, но все засучив штаны – шлепали по грязи последние старики времен Неерландской капитуляции, одной рукой опираясь на посох, а другой волоча венок из бумажных цветов, посеревших от дождя. Ни дать ни взять – шествие призраков по улице, еще носившей имя полковника Аурелиано Буэндии, и все они молча оборачивались на его дом, проходя мимо, а зайдя за угол площади, стали громко взывать о помощи, чтобы вытащить из колдобины застрявшую повозку. Урсула попросила Санта Софию де ла Пьедад поднести ее к дверям. Старуха с таким вниманием смотрела вслед процессии, да еще покачивала поднятой рукой, как ангел Господень, в такт дергающейся повозке, что все были убеждены – она видит.

– Прощай, Херинельдо, сынок, – крикнула Урсула. – Передай привет всем моим и скажи

им, что увидимся, как только небо очистится.

Аурелиано Второй положил ее снова в постель и, как обычно, без всяких стеснений спросил, что означают ее слова.

– Правду, – сказала она. – Дождусь конца дождей и умру.

Затопленные улицы вселили тревогу в Аурелиано Второго: мог погибнуть скот. Спохватившись, хотя и поздновато, он накинул на плечи брезент и пошел к дому Петры Котес. Она встретила его в патио, по пояс в воде, пытаясь сдвинуть с места дохлую лошадь. Аурелиано Второй помог ей, отпихнув бревном огромную вздувшуюся тушу, которая, качнувшись колоколом, была подхвачена грязевым потоком. С самого начала дождей Петра Котес только и делала, что выносила со двора павшую скотину. В первые недели она теребила Аурелиано Второго просьбами принять какие-нибудь меры, но он отвечал, что дело терпит, обстановка не так плоха и незачем беспокоиться до наступления хорошей погоды. Она велела сообщить ему, что выгоны заболочены, что скот уходит на высокогорье, где нет корма, и становится жертвой ягуаров и болезней. «Ничего не поделаешь, – отвечал Аурелиано Второй. – Расплодится при хорошей погоде». На глазах у Петры Котес гибло все поголовье, она едва успевала забивать коров, увязших в грязи. В немой ярости смотрела, как ливни безжалостно расправляются с богатством, которое некогда считалось самым большим и надежным в Макондо, а теперь превращается в прах и дохлятину. Когда Аурелиано Второй решил пойти посмотреть, что у нее творится, он, кроме лошадиного трупа, нашел лишь одного полуживого мула в развалинах конюшен. Петра Котес встретила его безучастно, безрадостно, беззлобно и лишь криво усмехнулась.

– Добро пожаловать, – сказала Петра Котес.

Она постарела, иссохла, а ее прищуренные глаза дикой кошки стали грустными и кроткими от столь долгого смотрения на дождь. Аурелиано Второй пробыл у нее более трех месяцев, и не потому, что в эту пору ему тут было лучше, чем у себя дома, а потому, что ему потребовалось как раз столько времени чтобы решиться опять накинуть на себя кусок брезента. «Некуда спешить, – говорил он, как говаривал в своем доме. – Час-другой, и небо прояснится». Всю первую неделю он свыкался с ущербом, нанесенным его цветущей сожительнице дождем и временем, и мало-помалу начинал смотреть на нее прежними глазами, вспоминая ее необузданную любовь и ту бешеную плодовитость, которую ее страстность вызывала у скота, и – отчасти из похоти, отчасти из корысти – как-то ночью на второй неделе разбудил ее бурными ласками. Петра Котес не вдохновилась. «Спи, не мешай, – пробормотала она. – Теперь не время для баловства». Аурелиано Второй увидел себя в зеркале на потолке, поглядел на позвоночник Петры Котес – точь-в-точь цепь катушек, нанизанных на жгут из высохших жил, – и понял, что она права, но дело не во времени, а в них самих, уже малопригодных для таких забав.

Аурелиано Второй вернулся домой со своими сундуками, уверенный в том, что не только Урсула, а все обитатели Макондо ждут прекращения дождей, чтобы умереть. Он мимоходом видел людей, которые сидели в комнатах, вперив в окна отсутствующий взор и опустив руки, и чувствовали, как проходит время, целиком, никому не подчиняясь, ибо незачем его рубить на месяцы и годы, на дни и часы, если больше нечего делать, как только созерцать дождь. Дети с шумной радостью встретили Аурелиано Второго, который снова стал играть для них на своем астматическом аккордеоне. Но концерты их интересовали меньше, чем энциклопедические экскурсы, и снова все они стали собираться в спальне Меме, где воображение Аурелиано Второго превращало дирижабль в летающего слона,

который ищет местечко, где бы прикорнуть среди туч. А однажды он показал детям всадника, в котором, несмотря на экзотические одежды, было что-то родное, и, как следует рассмотрев картинку, пришел к выводу, что это портрет полковника Аурелиано Буэндии. Дал поглядеть Фернанде, и она тоже нашла сходство всадника не только с полковником, но и со всеми членами семьи Буэндия, хотя в действительности это был монгольский воин. Так и коротал время Аурелиано Второй в компании заклинателей змей или Колосса Родосского, пока его супруга не сообщила ему, что в кладовой осталось не более шести килограммов солонины и один мешок риса.

– Ну и чего ты от меня хочешь? – спросил Аурелиано Второй.

– Не знаю, – ответила Фернанда. – Это мужские заботы.

– Ладно, – сказал он, – что-нибудь сделаем, когда распогодится.

И продолжал предпочитать энциклопедию всем домашним делам даже тогда, когда на обед подавались кости с тощим мясцом и по горсти риса. «Сейчас все равно ничего не поделаешь, – говорил он. – Когда-нибудь да кончится дождь». Чем меньше он думал о хлебе насущном, тем больше возмущалась Фернанда, пока однажды ее обычные нудные нарекания, время от времени украшаемые гневными вспышками, не слились в безудержный звуковой поток, который начинался поутру низким монотонным гудением струн гитары, а с разгаром дня, набрав высоту тона, поднимался до безупречной колоратуры, до вершин певческого мастерства. Аурелиано Второй поначалу не заметил этот кошачий вокализ, но на следующее утро после завтрака почувствовал, что и его уши сверлит какое-то жужжание, более переливчатое и пискливое, чем дробь дождя, а это, оказывается, Фернанда бродила по дому, громко причитая – для того, мол, ее воспитывали, как королеву, чтобы стать ей прислугой в сумасшедшем доме, жить с мужем – лодырем, безбожником, развратником, который только и знает что валяется на кровати брюхом кверху и ждет не дождется манны небесной, а она работает-надрывается, везет на себе хозяйство, которое на глазах рушится, где столько всего надо сделать, столько на своем горбу вывезти, столько дыр залатать каждый Божий день с утра и до вечера, что, как ляжет она в постель, так в глазах рябит и мутится, и никто ведь потом не скажет: доброе утро, Фернанда, хорошо ли ты отдохнула, Фернанда, никто не спросит, хотя бы из вежливости, почему, мол, ты со сна такая бледная, с черными кругами под глазами, хотя, конечно, она и не ждет таких слов от этой семьи, где в общем-то всегда всем она была в тягость, чуть ли не ноги об нее вытирали, как на пугало огородное на нее глядели, по углам шушукались и злословили, называя ее ханжой, называя ее лицемеркой, называя ее хитрой бестией, и даже Амаранта – царствие ей небесное – не постеснялась громко сказать, что она, Фернанда, из тех, кто посты соблюдает не для духа, а для брюха, – Господи, что за выражение, – а она все это покорно сносила по воле Божьей, но больше терпеть не будет, после того как этот мерзавец Хосе Аркадио Второй сказал, что семья стала гибнуть из-за того, что впустила в дом самодурку, – только послушать! – своевольную самодурку, прости, Господи, чуть ли не изуверку из породы тех гнусных изуверов, которых правительство посылает убивать рабочих, и – скажите на милость – он при этом имел в виду не кого-нибудь, а ее, крестницу герцога Альбы, даму такого знатного происхождения, что жены президентов зеленели от зависти, дочь такого древнего рода, что имеет право подписываться одиннадцатью испанскими фамилиями в ряд, и вообще она единственная смертная в этом нечестивом городишке, которая не опростоволосится, если надо накрыть стол на шестнадцать персон, хотя бы потом этот забулдыга, ее муж, и говорил, корчась от смеха, что столько ложек и вилок, ножей и чайных ложечек нормальным людям не требуется,

разве что сороконожкам, а ведь она тут одна-единственная, кто во сне может ответить, когда положено белое вино подавать, и с какой стороны, и в какой бокал наливать, а когда – красное, и с какой стороны, и в какой бокал, не то что эта недоучка Амаранта, царствие ей небесное, которая думала, что белое вино пьют днем, а красное вечером, и она, Фернанда, единственная на всем побережье может похвастаться тем, что пользуется ночью не чем иным, как золотым горшком, хотя полковник Аурелиано Буэндия, царствие ему небесное, имел наглость спросить, ехидный франкмасон, уж не за то ли ей такая привилегия, что из нее не говно, а хризантемы лезут, подумать только, так и сказал, а Рената, ее родная дочь, которая не постеснялась подглядеть, как она в спальне по-большому делает, поддакивает, что горшок и вправду из золота и весь в гербах, но внутри – говно как говно, дерьмо человечье, да еще и похуже, потому как это – дерьмо изуверское – подумайте, родная-то дочь! – вот почему и знает она, Фернанда, цену истинную членам этой семьи, но в любом случае имеет право ожидать от мужа большего уважения, ибо, худо-бедно, он ей муж, Богом посланный, сам ее взявший в дом, законный насильник, который по своей и Божьей воле возложил на себя ответственность за то, что лишил ее родительского крова, где жила она без забот и хлопот, плела венки погребальные ради собственного удовольствия, ибо ее крестный отец прислал письмо за собственной подписью и скрепленное сургучной печатью своего перстня, дабы предупредить, что ручки его крестницы не предназначены для дел мира сего, разве только для игры на клавикордах, но тем не менее ее муж-болван увез ее из дому, невзирая на все предупреждения и предостережения, и бросил в этот адский котел, где от жары задохнуться впору, и, не дождавшись конца Великого поста, уже отправился из дому со своими бродячими сундуками и со своим дурацким аккордеоном прелюбодействовать с потаскухой, у которой достаточно посмотреть на задищу – ладно, слово уже сказано, – достаточно посмотреть, как она вертит своим кобыльим крупом, чтобы узнать, кто она такая: полная противоположность ей, Фернанде, которая всегда остается дамой – во дворце или в свинарнике, за столом или в постели, прирожденной дамой, почитающей Господа своего, послушной его законам и покорной его предначертаниям, и с которой, конечно, нельзя вытворять всякие гнусные штучки, привычные для той, другой, готовой на все мерзости, как французские шлюхи, да она похуже и этих, ведь, если подумать, они все же имеют совесть вешать красный фонарик на двери, а подобные гадости, будьте уверены, не проделаешь с единственной возлюбленной дочерью доньи Ренаты Арготе и дона Фернандо дель Карпио, и прежде всего этого гранда, этого, без сомнения, святого человека, истинного христианина, кавалера ордена Гроба Господня, из тех, кто Божьей милостью не подвержен тлену могильному и чья кожа сохраняет свежесть и лоск атласного платья невесты, а глаза – живость и чистоту изумрудов…

– Вот уж враки, – прервал ее Аурелиано Второй. – Его притащили уже с гнильцой.

У него хватило терпения слушать ее целый день, однако неправды он не стерпел. Фернанда сделала вид, что не слышит, но голос понизила. Вечером, за ужином, назойливые переливы кошачьего вокализа разбивали монотонность дождя. Аурелиано Второй поковырял в тарелке, опустив голову, и немедля отправился спать. На следующее утро за завтраком Фернанда то и дело вздрагивала – видимо, плохо спала и, казалось, совсем обессилела от собственных стенаний. Однако когда муж спросил, нельзя ли съесть яйцо всмятку, она не ответила коротко и ясно, мол, яйца кончились на прошлой неделе, а тут же стала поливать ядовитыми речами мужчин, которые весь день любуются своим пупом средь жирного пуза, а потом еще имеют наглость требовать печень жаворонка на обед. Аурелиано Второй, как

всегда, увел детей смотреть энциклопедию, а Фернанда тоже отправилась в спальню Меме, будто бы навести там порядок, но на самом деле только для того, чтобы он понял из ее причитаний, что только бесстыжие люди могут внушать бедным невинным созданиям, будто в энциклопедии красуется полковник Аурелиано Буэндия. Днем, когда дети уснули в час сиесты, Аурелиано Второй расположился в галерее, но и там его настигла Фернанда, стараясь вывести из себя и доконать. Она кружилась вокруг него с жужжанием настырного овода, талдычила о том, что, пока на стол не подать вареные камни, ее муж будет тут рассиживаться, как персидский султан, и разглядывать дождь, потому что таким уж он уродился – лодырем, прихлебателем, ничтожеством, размазней, который привык жить за счет женщин и думать, что женился на супруге Ионы, поверившей сказке о ките. Аурелиано Второй терпел ее битых два часа, оставаясь и глух и нем. Он не прерывал ее до наступления вечера и наконец осатанел от барабанной дроби, тарахтевшей в его голове.

– Да замолчи ты, будь добра, – взмолился он.

Фернанда в ответ лишь усилила громкость. «Нечего мне молчать, – сказала она. – Кто не хочет меня слушать, пусть выметается». Тут Аурелиано Второй потерял всякое самообладание. Медленно встал, словно затем, чтобы размять кости, и с неспешной расчетливой яростью стал бить об пол – один за другим – вазоны с бегониями, горшки с папоротниками и душицей. Фернанду взял страх, ибо, в сущности, до этого момента она не представляла себе всю страшную силу, заключенную в ее вокализах, но было уже поздно пытаться что-либо исправить. Захлестнутый безудержной волной свободы, Аурелиано Второй разбил стеклянные дверцы буфета и все так же, не торопясь, вытаскивал оттуда – один за другим – сервизы и бил вдребезги об пол. Методично, размеренно, с тем же тщанием, с каким когда-то оклеивал дом бумажными деньгами, он хлопал о стены богемское стекло, вазы ручной работы, картины с изображением девиц на лодках с розами, зеркала в золоченых рамах и все остальное, что было в доме, начиная с гостиной и кончая кладовкой, и завершил погром глиняной бадьей для воды в патио, которая разлетелась на куски с неимоверным грохотом. Потом он сполоснул руки, накинул на себя брезент и к полуночи вернулся домой с кусками тощей солонины, парой мешков риса и кукурузы, черной от долгоносиков, а также с кистью неприглядных бананов. С этой поры дома всегда было что поесть.

Амаранта Урсула и маленький Аурелиано будут потом вспоминать годы потопа как самое счастливое время. Несмотря на строгости Фернанды, они вязли в топях патио, ловили и кромсали ящериц, понарошку отравляли суп, подбрасывая тайком от Санта Софии де ла Пьедад в кастрюли вместо яда пыльцу с крыльев бабочек. Урсула была их любимой игрушкой. Для них она стала большой старой куклой, которую они таскали по всем углам, обряжали в цветное тряпье, мазали щеки сажей и красной мякотью плодов, а однажды чуть не выкололи глаза садовыми ножницами, как это они проделывали с жабами. Ничто их так не веселило, как ее бред наяву. И верно, на третьем году ливней у нее стали случаться заскоки, постепенно она утрачивала чувство реальности и путала настоящее с далекими годами своей молодости до такой степени, что был случай, когда она три дня безудержно оплакивала кончину Петронилы Игуаран, своей прабабки, умершей более века тому назад. В голове Урсулы все так перемешалось, что она принимала маленького Аурелиано за своего сына, полковника Аурелиано, когда тот был таких же лет и его водили смотреть на лед, а правнука Хосе Аркадио, который еще не вернулся из семинарии, – за своего первенца, когда-то сбежавшего с цыганами. Она так много рассказывала о своих родных, что дети надумали

«приводить ее в гости», устраивая ей свидания не только с давно умершими, но и с теми, кто жил в самые разные времена. Сидя в постели с посыпанной пеплом головой и с красной повязкой на глазах, Урсула была счастлива в компании оживших родственников, которых дети так подробно описывали, будто и вправду их знали. Урсула беседовала со своими предками о событиях, имевших место еще до ее рождения, радовалась их сообщениям и оплакивала вместе с ними людей, скончавшихся много позже ее мнимых собеседников. Дети заприметили, что своим гостям с того света Урсула всегда задавала один и тот же вопрос: что за человек принес к ним в дом во время войны гипсового святого Иосифа в полный рост и попросил сохранить его, пока не пройдет дождь. И тут Аурелиано Второй вспомнил о кладе, местонахождение которого знала одна Урсула, но все его расспросы и подходы ничего не дали, потому что она, плутавшая в лабиринте видений, казалось, еще сохранила каплю разума, чтобы уберечь эту тайну, которую должна была открыть тому, кто докажет, что он настоящий хозяин погребенного золота. В таких случаях старуха становилась сообразительной и непреклонной, и, когда Аурелиано Второй подучил одного из своих сотрапезников выдать себя за собственника сокровища, она быстро его раскусила, подвергнув обстоятельному допросу с хитроумными ловушками на каждом шагу.

Убедившись, что Урсула унесет секрет с собой в могилу, Аурелиано Второй нанял землекопов под тем предлогом, что надо вырыть дренажные канавы в патио и на заднем дворе, и сам истыкал всю землю железными прутьями и обшарил ее металлоискателем, но за три месяца изнурительных поисков так и не нашел ничего похожего на золото. Тогда он направился к Пилар Тернере, уповая на то, что карты окажутся ухватистее землекопов, но она сразу же заявила, что всякое гадание бесполезно, если Урсула собственной рукой не снимет колоду. Однако подтвердила наличие сокровища, спрятанного в трех холщовых мешках, обмотанных медной проволокой, да еще точно назвала сумму: семь тысяч двести четырнадцать золотых монет, которые находятся в круге радиусом сто двадцать два метра от центра, то есть от кровати Урсулы, но предупредила, что клад не будет найден, пока не кончится дождь и пока июньское солнце в течение трех лет подряд не иссушит болота в пыль. Масса мелких подробностей и расплывчатость дат и сведений показались Аурелиано Второму столь похожими на сюжеты спиритических сеансов, что он решил продолжать поиски, хотя был только август и следовало бы ждать по крайней мере еще три года, чтобы смогло исполниться предсказание. Первое, что его поразило, хотя одновременно и смутило, было то, что ограда заднего двора отстояла от кровати Урсулы ровно на сто двадцать два метра. Фернанда испугалась, что он помешается, подобно своему брату-близнецу, когда увидела, как исступленно муж занимается всякими измерениями, да еще велит землекопам на метр углубить все канавы. Охваченный кладоискательским зудом, сравнимым разве с тем, что испытывал его прадед, когда разыскивал путь великих открытий, Аурелиано Второй израсходовал последние жировые отложения и вновь обрел сходство с братом-близнецом, которое теперь проявлялось не только во внешней сухопарости, но и в отстраненности от людей, полном уходе в свои дела. Он перестал возиться с детьми. Ел когда придется, не отмываясь от грязи и глины, устроившись где-то в кухонном углу, невнятно отзывался на случайные обращения Санта Софии де ла Пьедад. Глядя, как он неистово трудится – она такого и представить себе не могла, – Фернанда стала видеть в его безрассудстве искреннее старание, в его корысти – самоотречение, а в его упрямстве – упорство в достижении цели, и ее совсем загрызла совесть при воспоминании о том, как нещадно она бичевала его безалаберность. Но Аурелиано Второму было не до благостных примирений. Провалившись

по шею в месиво из прелых веток и сгнивших цветов, он раскидывал грязь направо и налево, пока не добрался наконец из патио и заднего двора до сада, и так глубоко подкопал фундамент восточной галереи дома, что однажды ночью все в ужасе проснулись от чего-то похожего на конец света: дом дрогнул, раздался страшный грохот, и три комнаты рухнули в преисподнюю, а между галереей и спальней Фернанды щелью разверзлась земля. Аурелиано Второй, однако, не отказался от раскопок. Даже когда исчезла последняя надежда и осталось уповать лишь на то, что скажут карты, он восстановил провалившийся фундамент, залил трещину в земле цементом и продолжал копать с западной стороны дома. Шла тогда только вторая неделя второго напророченного июня, но дождь стал утихать, тучи понемногу рассеивались, и было видно, что небо вот-вот очистится. Так и случилось. В пятницу к двум часам дня выглянуло солнце – глупое, красное, колючее, как кирпичная пыль, и почти такое же прохладное, как вода, а дождь прекратился на целых десять лет.

От Макондо остались одни руины. Из уличных болот торчали обломки мебели, скелеты животных, увитые красными лилиями – последние воспоминания об ордах пришельцев, бежавших из Макондо так же сломя голову, как они катили сюда. Дома, росшие с поразительной быстротой во время банановой лихорадки, были покинуты – Банановая компания убрала все свои постройки. От прежнего городка-курятника за металлической решеткой остались груды хлама. Деревянные коттеджи, тенистые террасы, где тихими вечерами играли в карты, были, казалось, заранее снесены тем предреченным ураганом, который годы спустя сотрет Макондо с лица земли. Единственным следом человеческой жизни, сохраненным прожорливой водой, стала перчатка Патрисии Браун в автомобиле, который позже был задушен анютиными глазками. Зачарованные земли, где бродил Хосе Аркадио Буэндия во времена основания Макондо и где затем зеленели роскошные банановые плантации, превратились в трясину, забитую гнилыми корневищами, а на открывшемся далеком горизонте в иные годы можно было увидеть тихие пенные взлеты моря. Аурелиано Второго охватило величайшее уныние, когда в первое же воскресенье, облачившись в сухую одежду, он вышел посмотреть на город. Те, кто пережил катастрофу, те самые, кто жил в Макондо до того, как на город налетела буря Банановой компании, сидели посреди улицы, наслаждаясь солнцем. Их кожа еще была зелена, как плесень, и пахла затхлостью сырых чуланов, не просохших после дождя, но в глубине души они были рады, что остались в своем родном городе. Турецкая улица стала такой, какой была раньше, в те времена, когда арабы в своих шлепанцах и с серьгами в ушах, колесившие по свету и менявшие мишуру на попугаев, нашли в Макондо тихую пристань, где наконец можно отдохнуть кочевому народу от его тысячелетних скитаний. По прошествии дождей товары на базарах истлели, вещи в открытых лавках поросли мхом, лотки оказались источены термитами, а стены покоробились от сырости, но арабы третьего поколения сидели там же и занимались тем же делом, что и их отцы и деды, молчаливые, невозмутимые, неподвластные временам и бедам, такие же живые или такие же мертвые, как после эпидемии бессонницы или после тридцати двух войн полковника Аурелиано Буэндии. Их душевная стойкость так поражала на фоне обломков игорных столов, лотков для фританги, стрелковых тиров и шатра, где толковали сны и предсказывали будущее, что Аурелиано Второй спросил арабов со своей обычной прямотой, какого черта они не утонули и каким таким способом живыми выбрались из потопа, и все, один за другим, у той двери и у этой, ему загадочно улыбались, вперив в него мечтательный взгляд, и не сговариваясь одинаково отвечали:

– Вплавь.

Петра Котес была, наверное, единственной уроженкой здешних мест, у которой было сердце араба. На ее глазах ливни и бури разметывали ее конюшни и хлева, но дом ей удалось сохранить. В последний дождливый год она упрямо звала к себе Аурелиано Второго, но он отвечал, что не знает, когда вернется, хотя в любом случае принесет с собой ящик золотых монет, чтобы выложить ими ее спальню. Тогда она стала терзать свою душу, стараясь, найти в себе силу, которая помогла бы перенести ей несчастье, и из нее выплеснулась ярость, здравая и справедливая, в которой она поклялась возродить богатство, промотанное любовником и вконец истребленное потопом. Решение было таким непоколебимым, что, когда Аурелиано Второй вернулся к ней спустя восемь месяцев после ее последнего зова, она, зеленая, лохматая, с черными глазницами и шершавой от чесотки кожей, сидела и писала на клочках бумаги номера, чтобы опять продавать лотерейные билеты. Аурелиано Второй остолбенел и стоял в дверях такой изнуренный и такой тихий, что Петре Котес почудилось, будто к ней пришел не буйный возлюбленный всей ее жизни, а его брат-близнец.

– Ты сума сошла, – сказал он. – Скелеты станешь разыгрывать, что ли?

Тогда она сказала, чтобы он заглянул в спальню, и Аурелиано Второй увидел там мула. Такого же худого, как хозяйка – кожа да кости, – но такого же бодрого и упрямого, как она. Петра Котес поила его своей яростью, а когда не осталось ни сена, ни маиса, ни кореньев, привела к себе в спальню и кормила перкалевыми простынями, персидскими коврами, плюшевыми одеялами, бархатными портьерами, а также покрывалом, шитым золотыми нитками, и даже не поскупилась на шелковые кисти с епископской кровати.

Урсула очень старалась выполнить свое обещание и не умереть раньше, чем очистится небо. Проблески разумной мысли, редкие во время дождя, заметно участились у нее с августа, когда налетел горячий ветер, который душил розы и каменил болота и в конце концов раскаленной пылью засыпал весь Макондо с его заржавевшими железными крышами и столетними миндальными деревьями. Урсула плакала от обиды, узнав, что больше трех лет служила детям игрушкой. Она умыла свое размалеванное лицо, сняла с себя цветные лохмотья, сухих ящериц и жаб, приколотых к одежде, а также четки и старинные арабские бусы и впервые после смерти Амаранты без посторонней помощи встала с постели, чтобы снова включиться в жизнь семьи. Отвага ее непобедимого сердца прокладывала ей путь во мгле. Те, кто видел, как ее пошатывает, или натыкался на ее протянутую и по-архангельски приподнятую руку, полагали, что она с великим трудом держится на ногах, но и думать не думали, что она слепа. Ей не нужны были глаза, чтобы понять, что цветочные клумбы, за которыми так любовно ухаживали после первой перестройки дома, смыты дождем и перекопаны Аурелиано Вторым, и что стены и полы растрескались, мебель расшаталась и облупилась, двери готовы сорваться с петель, а семья вот-вот впадет в полное уныние и забросит хозяйство, чего просто не могло случиться в ее время. Передвигаясь на ощупь по пустым спальням, она слышала неуемную возню термитов, точивших дерево, и шелест моли в шкафах, и грозную возню гигантских рыжих муравьев, расплодившихся за годы потопа и подрывавших фундамент дома. Однажды Урсула открыла баул с одеждой для святых и стала криком звать на помощь Санта Софию де ла Пьедад, потому что оттуда хлынули тараканы, которые попортили все вещи. «Нельзя так жить, так запускать дом, – сказала она. – Дождемся, что эта нечисть сгрызет и нас». С этой поры она не знала ни минуты отдыха. Вставала задолго до рассвета, заставляла работать всех попавшихся под руку, даже детей. Выносила на солнце уцелевшие предметы одежды, еще могущие сослужить службу,

распугивала тараканов нежданной струей инсектицидов, перекрывала ходы термитов в дверях и окнах и обжигала негашеной известью муравьиные скопища. Зуд восстановления заставил ее долезть и до заброшенных комнат. Урсула вынесла грязь и паутину из обиталища Хосе Аркадио Буэндии, где он ломал и сломал голову над философским камнем, навела порядок в ювелирной мастерской, где похозяйничали солдаты, и, наконец, попросила ключи от комнаты Мелькиадеса посмотреть, что там делается. Верная воле Хосе Аркадио Второго, который запретил всякое туда вторжение до непреложных признаков его смерти, Санта София де ла Пьедад всячески старалась отвлечь и сбить Урсулу с толку. Но решимость старухи не оставить в живых ни одного паразита ни в одной дыре дома была так тверда, что любое препятствие было ей нипочем, и через три дня упорных приставаний она добилась, чтобы открыли комнату. Урсуле пришлось схватиться за дверной косяк, чтобы жуткая вонь не сбила ее с ног, но ей хватило двух секунд, чтобы вспомнить о хранящихся там семидесяти двух ночных горшках для подружек Меме и о том, что однажды ночью в начале дождя солдатский патруль обыскал весь дом в поисках Хосе Аркадио Второго, но так и не нашел его.

– Боже милостивый! – воскликнула она, будто воочию увидела всю картину. – Сколько сил на тебя положено, а ты живешь тут свинья свиньей!

Хосе Аркадио Второй сидел, уткнувшись в пергаменты. Сквозь гущу нечесаных волос просвечивали только зеленовато-серые зубы и упершиеся в одну точку глаза. Узнав голос прабабки, он качнул головой к двери, выдавил подобие улыбки и, не зная того, повторил давние слова Урсулы.

– Чего ты хочешь, – пробурчал он. – Время-то идет.

– Так-то оно так, – сказала Урсула, – да не совсем.

И тут она сообразила, что сама повторила слова полковника Аурелиано Буэндии, произнесенные им в камере смертников, и снова содрогнулась от лишнего подтверждения того, что время не идет вперед, как она только что сама подметила, а движется по кругу. Но и такая возможность ее не сломила. Урсула отчитала Хосе Аркадио Второго как мальчишку и пыталась заставить его умыться, побриться и принять посильное участие в возрождении дома. Одна только мысль о том, чтобы выйти из комнаты, давшей ему покой, ужаснула Хосе Аркадио Второго. Он закричал, что бесчеловечно заставлять его выходить отсюда, так как ему не хочется видеть состав из двухсот вагонов с трупами, каждый вечер выходящий из Макондо к морю. «Там все, кто был у вокзала, – кричал он. – Три тысячи четыреста восемь». И тогда Урсула поняла, что он живет в мире мрака еще более густого, чем тьма, ее окружавшая, в таком же замкнутом и одиноком мире, в каком жил его прадед. Она оставила его сидеть в этой комнате, но настояла на том, чтобы сняли замок, ежедневно там наводили порядок, выкинули бы все горшки на помойку, оставив только один, и чтобы Хосе Аркадио Второго содержали в такой же чистоте и опрятности, как его прадеда, отбывавшего свое долгое заключение под каштаном. Вначале Фернанда принимала суету Урсулы за старческие капризы и едва сдерживала раздражение. Но тут Хосе Аркадио сообщил ей из Рима, что думает заехать в Макондо до того, как принять навеки обет послушания, и радостная весть влила в нее столько сил, что с утра до вечера она только и знала что поливала цветы – по четыре раза на день, – чтобы у сына не сложилось плохого впечатления о доме. Письмо стало побудительным мотивом и для спешного возобновления переписки с заочными целителями, и для украшения галереи новыми горшками с папоротниками и душицей и вазонами с бегониями – еще задолго до того, как Урсула узнает, что все это было уничтожено

разрушительной силой Аурелиано Второго. Позже Фернанда продала дорогой серебряный сервиз и купила керамическую посуду, никелированные супницы, и разливательные ложки, и мельхиоровые приборы, унизив этой утварью шкафы, привыкшие к фаянсу от Индийской компании и к стеклу из Богемии. А Урсула никак не желала остановиться. «Распахните двери и окна, – кричала она. – Жарьте мясо и рыбу, покупайте самых больших черепах, пусть приходят к нам чужестранцы, пусть спят на своих циновках где хотят и мочатся в розарии, пусть садятся за стол и обедают по три раза, пусть рыгают и сквернословят, и таскают грязь своими сапогами, и творят тут всякое непотребство, потому что только так мы отпугнем разорение». Но это была пустая болтовня. Урсула стала уже слишком стара и слишком долго жила на этом свете, чтобы повторить чудо с леденцовыми зверушками, а из потомков никто не унаследовал ее жизненных сил. По распоряжению Фернанды окна и двери остались на запоре.

У Аурелиано Второго, который опять переправил свои сундуки к Петре Котес, денег с трудом хватало на то, чтобы не дать семье умереть с голоду. Разыграв в лотерею мула, они с Петрой Котес купили других домашних животных и несколько упрочили свое шаткое лотерейное дело. Аурелиано Второй ходил по домам, предлагая билетики, которые сам же разрисовывал цветными чернилами, чтобы они выглядели значительнее и завлекательнее, и вроде бы не замечал, что многие покупали их из чувства благодарности, а большинство просто из жалости. Однако даже самые жалостливые покупатели получали возможность выиграть за двадцать сентаво свинью, а за тридцать два – телку и так воспламенялись надеждой на выигрыш, что вечерами по вторникам заполоняли патио Петры Котес и ждали минуты, когда первого попавшегося ребенка заставляли вытащить из сумы выигрышный номер. Вскоре все это стало выливаться в еженедельное веселое гулянье, ибо к вечеру в патио приносили столы для фританги и стойки с напитками, а многие из счастливцев немедля жертвовали выигранную скотину на общую потребу при условии, что другие обеспечат спиртное и музыку, и вышло так, что сам того не желая, Аурелиано Второй снова взялся за аккордеон и стал участвовать в скромных состязаниях по обжорству. Эти жалкие воссоздания былых роскошных пиршеств заставили самого Аурелиано Второго призадуматься, куда девались его удальство и задор первого танцора кумбиямбы. Он стал другим человеком. Сто двадцать килограммов, которые он набрал к тому времени, когда Слониха бросила ему вызов, спустились до семидесяти восьми; его добродушная одутловатая морда большой черепахи превратилась в мордочку игуаны, и всегда-то ему неможилось и ничто не веселило. Для Петры Котес он тем не менее стал теперь самым дорогим человеком; быть может, она принимала за любовь жалость, которую он у нее вызывал, и чувство сопереживания, которое обоим внушала бедность. Почти голая кровать перестала быть местом любовных баталий и превратилась в прибежище для доверительных бесед. Убрав с потолка и стен спальни бодрящие зеркала, которые были проданы, чтобы купить скотину для лотереи, лишившись возбуждавших похоть бархатных и шелковых покрывал, которые жевал мул, они тихо лежали до поздней ночи с безмятежностью двух стариков, мучимых бессонницей, а порой, не теряя даром времени, которое раньше расходовалось, чтобы пустить добро в расход, подсчитывали каждое сентаво и делали расклад доходов.

Иногда они засиживались до первых петухов, строя и рассыпая столбики монет и снова возводя их – теперь этот выше, а тот ниже, – чтобы хватило и Фернанде, и на башмаки для Амаранты Урсулы, и еще для Санта Софии де ла Пьедад, у которой не было нового платья со времен военных заварух, а еще чтобы гроб сколотить, если умрет Урсула, а еще – на кофе,

который каждые три месяца дорожает на сентаво за фунт, а вот это – на сахар, который становится все менее сладким, а это – на дрова, потому что свои еще не просохли после дождя, это – на чернила и бумагу для лотерейных билетов, а то, что останется – для возмещения потерь в лотерее от павшей в апреле телки, которая, когда почти все билеты уже были проданы, вдруг пошла язвами, и шкуру ее удалось спасти просто чудом. Так бескорыстны были эти мессы бедности, что всегда большая часть денег доставалась Фернанде, и не из-за жалости или угрызений совести – ее благополучие для них было важнее их собственного. Дело в том, что они оба, хотя себе и не признавались, как бы видели в Фернанде свою дочь, которую хотели иметь и не имели, и доходили до того, что, бывало, по три дня питались одной маисовой болтушкой, лишь бы она могла купить себе скатерть из голландского полотна. Однако, сколько бы ни морили они себя работой, сколько бы монет ни добывали и чего только ни придумывали, их ангелы-хранители засыпали от усталости, когда строились и перестраивались монетные столбики, чтобы как-нибудь свести концы с концами. Бессонными от тяжких дум ночами оба спрашивали себя, что стряслось в этом мире, почему скотина не плодится так же неуемно, как прежде, почему деньги тают в руках и почему люди, которые недавно жгли пачками банкноты, отплясывая кумбиямбу, теперь считают грабежом средь бела дня, если у них просят двенадцать сентаво на лотерею, где можно выиграть шесть кур. Аурелиано Второй стал думать про себя, что зло таится не в мире, а в каком-то темном уголке непознаваемой души Петры Котес, где что-то случилось во время потопа и скот сделался яловым, а деньги текучими. Терзаясь этой загадкой, он так пылко лез ей в душу, что, ища для себя выгоду, нашел любовь, так старался овладеть ее сердцем, что полюбил сам. Петра Котес, со своей стороны, любила его все больше, по мере того как росла его нежность, и вышло так, что в свою наступившую осень она словно поверила пословице юных лет: с милым рай и в шалаше. И теперь оба с досадой вспоминали дни разгульных пирушек, непомерное богатство и безудержные соития белых дней и ночей и горевали о том, скольких лет жизни стоило им обрести счастье разделенного одиночества. Без ума влюбленные друг в друга после долгой поры пустого сожительства, они наслаждались чудесным открытием: за обеденным столом можно любить так же, как в постели, – и стали такими счастливыми, что, будучи измотанными стариками еще резвились, как крольчата, и огрызались как собаки.

На лотереях трудно было разжиться. Сначала Аурелиано Второй три дня в неделю сидел в своей старой конторе скотовода, разрисовывая билет за билетом, довольно удачно изображая красную коровенку, зеленых поросят или синих кур, смотря какая тварь разыгрывалась, и аккуратно подписывал печатными буквами название, которое Петра Котес сочла самым привлекательным для своего дела: «Лотерея Божественного Провидения». Но со временем Аурелиано Второй выдохся и не мог разрисовывать до двух тысяч билетов в неделю, а потому заказал каучуковые штампы с рисунками животных, названием и номерами, и вся работа свелась к тому, чтобы прижимать штампы к разноцветным влажным подушечкам и бумаге. В последние годы Аурелиано Второй надумал заменить номера загадками, чтобы выигрыш делить между всеми угадавшими, но эта процедура оказалась такой сложной и приводила к таким неприятностям, что после первой попытки от затеи пришлось отказаться. Аурелиано Второй был так занят, стараясь привлечь всеобщий интерес к своей лотерее, что у него почти не оставалось времени на детей. Фернанда определила Амаранту Урсулу в частное учебное заведение, куда принимали не более шести учеников, но наотрез отказалась разрешать Аурелиано посещать городскую школу. Она считала, что и так

пошла на большую уступку, позволив ему выбраться из комнаты. Кроме всего прочего, в школы тех лет принимали детей, рожденных только родителями-католиками, состоящими в законном браке, а в свидетельстве о рождении, которое вместе с соской было прикреплено к распашонке Аурелиано, когда он попал в дом Буэндия, значилось, что он подкидыш. Таким образом, ему пришлось жить дома за семью замками под нестрогим присмотром Санта Софии де ла Пьедад и Урсулы с ее расшатанными мозгами, воспринимая тесный домашний мирок так, как его себе представляли старухи. Он был вежливый, тщеславный и такой дотошный мальчик, что доводил взрослых до белого каления, но в отличие от сверлящих, словно видящих насквозь глаз полковника Аурелиано в детстве этот Аурелиано, казалось, ни на чем не останавливал свой рассеянный взгляд и часто-часто моргал. Пока Амаранта Урсула пребывала в учебном заведении, он искал червей и мучил насекомых в саду. Но однажды Фернанда поглядела, как он начиняет коробку скорпионами, чтобы подбросить в постель Урсулы, и снова заперла его в старой спальне Меме, где ему пришлось скрашивать свои одинокие часы все той же энциклопедией. Там невзначай и нашла его Урсула, ковыляя по дому с пучком крапивы и обрызгивая комнаты чистой водой, и, хотя она не раз на него натыкалась, спросила, кто он такой.

– Я Аурелиано Буэндия, – ответил он.

– Верно, – заметила она. – Настало время изучать тебе ювелирное дело.

Она снова стала принимать его за своего сына, ибо горячий ветер, сменивший дожди и раздувавший в голове Урсулы искру мысли, утих. Она совсем выжила из ума. В спальне ее ждали Петронила Игуаран в пышнейшем кринолине и в жакете, расшитом стеклярусом, готовая нанести очередной визит, и Транкилина Мария Миньята Алакоке Буэндия, ее парализованная бабушка, которая восседала в кресле-качалке и обмахивалась павлиньим пером, и был там ее прадед Аурелиано Аркадио Буэндия в маскарадном мундире гвардейца вице-короля, и были там Аурелиано Игуаран, ее отец, сочинивший молитву, чтобы личинки оводов высыхали и падали с коров, и ее запуганная мать, и двоюродный брат с поросячьим хвостиком, и Хосе Аркадио Буэндия, и его покойные сыновья, и все они сидели на стульях, расставленных вдоль стен, будто не в гости пришли, а на похороны. Урсула оживленно беседовала с ними, очень подробно обсуждая события, происходящие вне всякой связи с каким-либо временем и пространством, и, когда Амаранта Урсула возвращалась из школы, а Аурелиано отрывался от энциклопедии, они видели, как старуха сидит на кровати и разговаривает сама с собой, окружив себя толпой усопших. «Горим!» – как-то закричала она в ужасе, и на миг все ударились в панику, но, оказалось, ей привиделся пожар на конюшне, пережитый ею в четырнадцатилетнем возрасте. Урсула до того стала путать настоящее с прошлым, что в минуты двух-трех светлых промежутков перед самой ее кончиной никто не мог толком понять, говорит ли она о том, что чувствует теперь, или о том, что было раньше. Мало-помалу Урсула сжималась, усыхала, как чернослив, при жизни превращаясь в крохотную мумию, а в последние, предсмертные месяцы совсем затерялась в ночной рубашке, ее всегда приподнятая рука стала похожа на лапку мартышки. По нескольку дней она не подавала признаков жизни, и Санта Софии де ла Пьедад приходилось встряхивать ее, чтобы убедиться, что она еще жива, и сажать себе на колени, чтобы с ложечки поить сладкой водой. Она выглядела новорожденной старушкой. Амаранта Урсула и Аурелиано брали и носили ее по спальне, клали на домашний алтарь и сравнивали, кто больше, она или младенец Иисус, а однажды запрятали в кладовой с зерном, где ее вполне могли съесть крысы. В предпасхальное воскресенье, когда Фернанда отправилась к мессе, дети вошли в

спальню и взяли Урсулу за голову и за щиколотки.

– Бедная прапрабабушка, – сказала Амаранта Урсула. – Скончалась от старости.

Урсула дернулась.

– Я жива! – сказала она.

– Вот видишь, – сказала Амаранта Урсула, сдерживая смех. – Даже не дышит.

– Я говорю! – выкрикнула Урсула.

– Даже не говорит, – сказал Аурелиано. – Умерла, как сверчок.

И Урсула покорилась явности. «Господи, – тихо-тихо воскликнула она. – Значит, это и есть смерть». И начала шептать молитву, не прерываясь ни на миг, поспешно, прочувствованно, более двух дней подряд, а во вторник молитва перешла в бессвязный поток просьб к Господу Богу и практических наставлений близким – чтобы они избавились от рыжих муравьев, хоронящих дом, чтобы никогда не тушили лампаду перед дагерротипом Ремедиос и чтобы, упаси Господи, ни один Буэндия не женился бы на женщине, близкой по крови, ибо тогда родятся дети с поросячьим хвостиком. Аурелиано Второй попытался было использовать удобный случай и выведать у бредившей старухи, где находится спрятанное золото, но и на этот раз его попытки были безуспешны. «Когда придет хозяин, – сказала Урсула, – Бог просветит его и укажет». Санта София де ла Пьедад была уверена, что смерть явится с минуты на минуту, ибо в последние дни природа вела себя довольно странно: розы пахли мятой, тыквенный сосуд ни с того ни с сего упал, а рассыпавшиеся зерна сложились на полу в геометрически правильный рисунок – точь-в-точь морская звезда, а недавней ночью она видела, как по небу вереницей пронеслись светоносные оранжевые плошки.

Урсула умерла на рассвете в страстной четверг. Когда в последний раз, во времена Банановой компании, вместе с ней произвели подсчет ее лет, получилось нечто среднее между ста пятнадцатью и ста двадцатью двумя годами. Ее похоронили в гробике чуть больше корзинки, в которой принесли Аурелиано, а народу на похоронах было очень мало, частично потому, что лишь немногие помнили ее, а частично потому, что к полудню стало нещадно палить солнце, и птицы вдруг заметались меж домов, разбиваясь вдребезги о стены, а иные прорывали металлические сетки на окнах и гибли в спальнях.

Сначала думали, что птиц поразила чума. Хозяйки валились с ног, выгребая кучи мертвых птиц, особенно в часы сиесты, а мужчины повозками сбрасывали в реку пернатую падаль. В светлое Христово воскресенье столетний падре Антонио Исабель возвестил с амвона, что птичий мор вызван заклятием Вечного Жида, которого он сам видел прошлой ночью. Выглядело это бесовское отродье, как если бы его уродили еретичка с козлом, – настоящее исчадие ада, чье дыхание сжигает воздух и чье присутствие ведет к зачатию выродка в семьях молодоженов. Не слишком многие внимали его апокалипсическим страданиям – люди были убеждены, что их пастырь тронулся разумом по причине солидного возраста. Но одна женщина в среду на заре переполошила весь город, крича, что обнаружила следы какого-то двуногого парнокопытного существа. Следы были такими четкими и свежими, что каждый, их видевший, не сомневался в появлении чудища, подобного тому, о котором говорил священник, и все, как один, стали строить западни в своих патио. Случилось так, что поимка удалась. Спустя две недели после смерти Урсулы Петра Котес и Аурелиано Второй внезапно были разбужены ночью странным ревом теленка, доносившимся из соседнего двора. Когда они туда пришли, несколько мужчин сняли чудовище с острых кольев, натыканных в яме, которая была прикрыта сверху сухой листвой, и плач прекратился.

«Оно» весило с доброго быка, хотя по виду было не больше подростка, а из его ран

капала зеленая густая кровь. Шелудивое, заросшее жесткими волосами и облепленное клещами тело могло, вопреки описанию священника, принадлежать человеку, даже скорее падшему ангелу, потому что у него были гладкие и цепкие кисти рук, большие и печальные глаза, а на лопатках – по мозолистому, покрытому шрамами обрубку, возможно от прежних крыльев, отсеченных топором дровосека. Его повесили вниз головой на одном из миндальных деревьев в центре Макондо, чтобы все видели, а когда «оно» стало подгнивать, сожгли на костре, ибо так и не выяснили, кем был этот ублюдок – животным, чтобы кинуть в реку, или христианином, чтобы предать земле. Не установили также, вправду ли из-за него умирают птицы, но ни у кого из молодоженов не родился уродец, как было предсказано, и дикая жара не уменьшилась.

Ребека умерла к концу этого же года. Архенида, ее бессменная служанка, попросила власти взломать дверь спальни, где ее хозяйка заперлась три дня назад, и ту нашли в одинокой постели, где она, облысевшая от коросты, скрюченная, как креветка, лежала, засунув в рот большой палец. Аурелиано Второй взял на себя заботы о погребении и, подновив дом, хотел его продать, но дух разрухи так глубоко проник в него, что заново побеленные стены тотчас обсыпались и никак штукатурка не могла помешать сорнякам пробиваться сквозь щели в полу, а плющу разваливать гниющие подпоры.

Такова стала жизнь после дождя. Людская безучастность спорила с жаждой забвения, которое мало-помалу безжалостно расправилось с воспоминаниями и отшибло память у людей до такой степени, что, когда в ту пору, к очередной годовщине Неерландского соглашения, в Макондо прибыли представители президента Республики, чтобы наконец вручить орден, от которого не раз отказывался полковник Аурелиано Буэндия, им пришлось потерять день в поисках кого-нибудь, кто мог бы сказать, где можно найти одного из его потомков. Аурелиано Второй было соблазнился на награду, полагая, что получит массивную золотую медаль, но Петра Котес в последнюю минуту отговорила его от недостойного шага, хотя представители уже наняли оркестры и подготовили речи для торжественной церемонии. В эти же времена снова приехали цыгане, последние носители учености Мелькиадеса и нашли тут городок такой захудалый, а жителей таких одичалых, что снова ринулись в дома, выдавая намагниченные бруски железа за последнее изобретение вавилонских мудрецов, и опять ловили солнечные лучи огромной лупой, и находили таких, кто с открытым ртом глядел, как падают на пол тазы и к магнитам катятся кастрюли, и кто платил пятьдесят сентаво, чтобы подивиться на цыганку, которая вынимала изо рта и снова туда вставляла ряд белых искусственных зубов. Обшарпанный желтый поезд, никого не увозивший и не привозивший, и минуты не стоявший у пустого перрона, был тем, что осталось от битком набитого людьми состава, к которому сеньор Браун прицеплял свой вагон со стеклянной крышей и красными диванами, и от банановых составов по сто двадцать товарных вагонов, которые подавались на погрузку каждый Божий день. Судейские чиновники, прибывшие для расследования сообщения о непонятных массовых самоубийствах птиц и о жертвенной казни Вечного Жида, увидели, что падре Антонио Исабель играет с детишками в жмурки, и подумали, что его сообщение не что иное, как плод старческих фантазий, и отправили его в богадельню. Вскоре вместо него прислали падре Аугусто Анхеля, крестоносца новой закалки, непримиримого, отважного, безрассудного, который собственноручно звонил в колокола по нескольку раз на день, дабы не дремал дух в теле, и ходил по домам, дабы поднимать нерадивых с ложа и звать к мессе, но ранее чем через год он тоже был сражен равнодушием, разлитым в воздухе, жгучей пылью, всепроникающей и растлевающей, а также

сонливостью, в которую его ввергали вечные фрикадельки к обеду и нестерпимый зной в часы сиесты.

После смерти Урсулы в доме снова воцарилось запустение, с чем не сможет справиться даже такой волевой и решительный характер, каким обладала Амаранта Урсула, которая несколько лет спустя, уже став взрослой женщиной без предрассудков, жизнелюбивой и современной, твердо стоящей на обеих ногах, растворит окна и двери, чтобы изгнать губительные силы, восстановить цветник, покончить с рыжими муравьями, которые у всех на виду разгуливали по галерее, и будет безуспешно стараться воскресить забытую стихию гостеприимства. Страсть Фернанды к затворничеству неодолимой плотиной перекрыла путь мощному столетнему течению лет Урсулы. Фернанда не только не захотела открыть двери, когда несся горячий ветер, но велела забить окна досками крест-накрест, подчиняясь родительскому наказу похоронить себя заживо. Дорогостоящая переписка с заочными целителями имела плачевный конец. После многих отсрочек Фернанда заперлась в своей спальне в положенный день и час, легла головой к северу, накрывшись только белой простыней, а к часу ночи почувствовала, что ей кладут на лицо платок, смоченный холодной жидкостью. Когда Фернанда очнулась, за окном сияло солнце, а на животе у нее широкой дугой – от грудины до паха – рдел безобразный шов. Но еще до того, как ей было позволено встать с постели, она получила обескураживающее письмо от своих заочных целителей, которые сообщали, что в течение шести часов обследовали ее нутро и не нашли ничего, что соответствовало бы симптомам, многократно и подробно ею описанным. Случилось то, что ее скверная привычка не называть вещи своими именами снова привела к конфузу, ибо единственное, что обнаружили хирурги-телепаты, было опущение матки, чему мог помочь простой бандаж. Разочарованная Фернанда требовала более подробных сведений, но невидимые корреспонденты перестали отвечать на письма. Ее так давила тяжесть непонятного слова, что она решилась отбросить всякий стыд и разузнать, что такое «бандаж», но неожиданно узнала, что врач-француз повесился на балке под своей крышей три месяца назад и вопреки воле граждан похоронен в городе старым товарищем по оружию полковника Аурелиано Буэндии. Тогда она доверилась своему сыну Хосе Аркадио, и он прислал ей бандажи из Рима с инструкцией по применению, которую она, выучив наизусть, спустила в унитаз, чтобы никто не догадался о причине ее недомоганий. Это была напрасная предосторожность, так как малочисленные домочадцы почти не обращали на нее внимания. Санта София де ла Пьедад мыкалась в своей одинокой старости, готовила на всех скудное варево и почти полностью посвятила себя уходу за Хосе Аркадио Вторым. Амаранта Урсула, унаследовавшая до известной степени очарование Ремедиос Прекрасной, тратила теперь на школьные уроки то время, которое теряла на истязание Урсулы, и обнаруживала признаки недюжинного ума и влечения к учебе, что рождало в Аурелиано Втором добрые надежды, которые в свое время подавала Меме. Он обещал дочери послать ее в Брюссель продолжать учение, как было принято во времена Банановой компании, и эта мечта побудила его попытаться возродить земли, опустошенные потопом. Он редко бывал дома – разве только чтобы повидать Амаранту Урсулу – и со временем стал для Фернанды чужим человеком, а маленький Аурелиано, вступая в пору отрочества, снова становился замкнутым и угрюмым. Аурелиано Второй верил, что старость смягчит сердце Фернанды и мальчик сможет жить, как все люди, и в городе наверняка никому не придет в голову доискиваться до корней его происхождения. Но сам Аурелиано, казалось, предпочитал затворничество и одиночество и не делал даже попытки ускользнуть из дому и познать мир, начинающийся за дверью на

улицу. Когда Урсула заставила отпереть комнату Мелькиадеса, он стал околачиваться возле входа, подглядывать в дверную щель, и никто так и не узнал, когда он успел привязаться к Хосе Аркадио Второму и завоевать ответное расположение. Аурелиано Второй узнал об их тесной дружбе очень не скоро, когда услышал от мальчика рассказ о кровавой бойне у вокзала. Однажды кто-то за столом посетовал на бедственное состояние, в котором очутился городок после исчезновения Банановой компании, и Аурелиано стал возражать, аргументированно и уверенно, как взрослый человек. По его мнению, которое противоречило распространенной версии, Макондо процветал и развивался в верном направлении, пока его не взбудоражила, не развратила, не разграбила Банановая компания, чьи инженеры вызвали потоп и сбежали, чтобы не уступить рабочим. Он говорил так доказательно и складно, что Фернанде вся сцена представилась кощунственной пародией на разговор Иисуса с фарисеями.

Мальчик точно и убедительно описывал, как солдаты расстреляли из пулеметов больше трех тысяч рабочих, загнанных в ловушку у вокзала, как погрузили трупы в состав из двухсот вагонов, а потом выкинули в море. Верившую, подобно большинству людей, в официальную правду: «Нигде и ничего не произошло», Фернанду покоробило от мысли, что ребенок унаследовал анархистские инстинкты полковника Аурелиано Буэндии, и она приказала ему замолчать. Аурелиано Второй, напротив, поддержал версию своего брата-близнеца. В самом деле, хотя все и считали его помешанным, Хосе Аркадио Второй был в ту пору самым разумным из домочадцев. Он научил маленького Аурелиано читать и писать, приохотил к изучению пергаментов и так глубоко вбил ему в голову свою мысль о пагубной роли Банановой компании для Макондо, что по прошествии многих лет, когда Аурелиано вступил в жизнь, ему чудилось, что люди принимают его рассказ за выдумку, настолько это противоречило фальшивой версии историков, освященной школьными учебниками. В забытой всеми комнатушке, куда не проникали ни жаркий ветер, ни пыль, ни зной, обоих посещало атавистическое видение: старец в шляпе с полями, как крылья ворона, стоит спиной к окну и повествует о мире за много лет до того, как они оба родились. Стар и млад одновременно поняли, что в этой комнате всегда март месяц и всегда понедельник, и тогда стало ясно, что Хосе Аркадио Буэндия был не так безумен, как считали в семье, и что у него одного хватило ума понять ту истину, что время тоже терпит бедствия и переживает катастрофы и потому может дробиться и где-то, в какой-то комнате оставлять свою вечную частицу. Хосе Аркадио Второй сумел, кроме того, расшифровать и классифицировать тайнопись пергаментов. Он был уверен, что их знаки соответствуют буквам – числом от сорока до пятидесяти трех, что в отдельности знаки напоминают паучков и клещей и что в искусном каллиграфическом написании Мелькиадеса они похожи на вещи, развешанные сушиться на длинной проволоке. Аурелиано вспомнил, что видел похожую таблицу в английской энциклопедии, и принес книгу в комнату для сравнения с построением Хосе Аркадио Второго. Действительно, все совпадало.

В тот год, когда Аурелиано Второй придумал лотерею с загадками, он однажды утром проснулся, ощущая в горле комок, будто хотел и не мог разрыдаться. Петра Котес увидела в этом одно из многих недомоганий, вызванное трудной жизнью, и целый год смазывала ему глотку пчелиным медом и поила соком редьки. Когда комок в горле стал так ощутим, что уже мешал дышать, Аурелиано Второй навестил Пилар Тернеру и попросил дать какую-нибудь целебную траву. Его неподвластная времени бабушка, которая свой сотый год встретила, управляя подпольным домом свиданий, все так же не доверяла медицинским суевериям и

предпочитала карточный диагноз. Выпал король червей, раненный в шею шпагой пикового валета, из чего она заключила, что Фернанда старалась вернуть мужа домой с помощью такого затасканного способа, как втыкание иголок в его фотографию, но, не имея понятия, куда и как втыкать иголки, вызвала у мужа горловую опухоль. Поскольку у Аурелиано Второго не было других портретов, кроме свадебных, и все они хранились в семейном альбоме, он в поисках альбома перевернул тайком от супруги весь дом и наткнулся в глубинах комода на полдюжины бандажей в весьма привлекательных коробочках. Полагая, что эти красные резиновые ленты принадлежат к орудиям колдовства, он сунул одну коробочку в карман, чтобы показать Пилар Тернере. Та не смогла установить предназначение предмета, но он показался ей таким подозрительным, что на всякий случай она велела принести все коробочки и сожгла их на костре в патио. Чтобы уберечься от порчи и дурного глаза Фернанды, она присоветовала Аурелиано Второму закопать мокрую курицу живьем под каштаном, и он проделал все это с такой искренней верой, что, когда присыпал сухой листвой шевеляющуюся землю, ему уже стало легче дышать. Фернанда, со своей стороны, сочла исчезновение бандажей за наказание заочных целителей и пришила к подолу рубашки широкую полосу для хранения новых бандажных лент, присланных сыном.

Через шесть месяцев после захоронения курицы Аурелиано Второй проснулся в полночь от приступа кашля, чувствуя, как его горло изнутри перехватывают клешни рака. Тогда он понял, что сколько колдовских коробочек ни сжигай и сколько мокрых кур ни закапывай, от той печальной и единственной истины, что он умрет, никуда не деться. Про это он никому не сказал. Страшно боясь умереть раньше, чем Амаранта Урсула отправится в Брюссель, он выбивался из последних сил, устраивая на неделе по три лотереи вместо одной. С утра пораньше он обегал весь городок, включая самые отдаленные и бедные районы, и старался всучить людям билетики с таким душевным напором, который присущ лишь умирающим. «Это Божественное Провидение, – убеждал он. – Не упустите его, оно бывает только раз в сто лет». Он трогательно старался выглядеть веселым, приятным, красноречивым, но стоило посмотреть на его потный лоб и бледные щеки, чтобы понять, как это ему трудно дается. Иногда он сворачивал на родимые пустоши, подальше от чужих глаз, и на минуту садился передохнуть, изнемогая от клешней, рвавших ему горло. До полуночи он бродил по веселому кварталу, стараясь утешить одиноких женщин, плакавших у виктрол, обещанием счастливой судьбы. «Вот этот номер не выигрывал уже четыре месяца, – говорил он им, показывая билетики. – Не упускай свое счастье, жизнь гораздо короче, чем кажется». В конце концов он потерял в городе всякое уважение, над ним стали насмехаться, а в последние месяцы его уж не величали, как всегда, «дон Аурелиано», а называли прямо в глаза «дон Божественное Провидение». Голос у него стал срываться то на визг, то на хрип и под конец обратился в собачье тявканье, но еще хватало сил поддерживать у людей, собиравшихся в патио Петры Котес, интерес к выигрышам. Однако по мере того, как он лишался речи и все яснее видел, что скоро не сможет выдержать боль, ему становилось понятнее, что не свиньи и козлы лотерейные приведут его дочь в Брюссель, и у него созрела идея устроить совершенно удивительную лотерею и разыграть земли, опустошенные потопом, но вполне пригодные для того, чтобы их снова пустили в дело те, у кого есть деньги. Эта придумка была такой оригинальной, что сам алькальд захотел издать постановление о лотерее, стали создаваться общества для закупки билетов по сто песо каждый, и все билеты разошлись менее чем за неделю. Вечером после проведения лотереи скотоводы закатили пышный праздник, сравнимый разве что с гуляньями в добрые старые времена Банановой компании, и

Аурелиано Второй в последний раз играл на аккордеоне забытые песни Франсиско Человека, но петь их уже не мог.

Спустя два месяца Амаранта Урсула отправилась в Брюссель. Аурелиано Второй снабдил ее не только деньгами, вырученными от необычной лотереи, но и всем, что удалось скопить за последние месяцы, да еще той мизерной суммой, которую получил, продав пианолу, клавикорды и другие потешные вещи, попавшие в немилость. По его расчетам, этих денег должно было хватить на учение, и, таким образом, оставалось оплатить только обратный билет. Фернанда противилась поездке до последней минуты: одна мысль, что Брюссель находится так близко от развратного Парижа, выводила ее из душевного равновесия, но она успокоилась, получив от падре Анхеля рекомендательное письмо в пансион юных католичек, который содержали духовные лица и где Амаранта Урсула поклялась жить до конца обучения. Кроме того, местный пастырь позаботился о том, чтобы во время путешествия ее опекали монахини-францисканки, ехавшие в Толедо, где они обещали найти надежных попутчиков, с которыми Амаранта Урсула продолжит путь до Бельгии. Пока шла лихорадочная переписка и ей налаживались необходимые связи, Аурелиано Второй собирал вместе с Петрой Котес свою младшую дочь в дорогу. В тот вечер, когда ее вещи были заботливо уложены в один из сундуков Фернанды, опорожненный от приданого, будущая ученица уже наизусть знала, в каких платьях и замшевых бабушах без каблуков ей надо пересекать Атлантику, где в сундуке лежит голубое суконное пальто с медными пуговицами, а где мягкие кожаные туфли, в которых она сойдет на берег. Она знала также, как надо входить по трапу на корабль, чтобы не свалиться в воду и как там вести себя: ни на шаг не отходить от монахинь и не покидать каюту, разве только чтобы поесть, и ни за что не отвечать на вопросы незнакомых людей в открытом море – все равно, мужчин или женщин. Запаслась она и флакончиком с каплями от морской болезни, и тетрадкой, в которой падре Анхель собственноручно написал шесть молитв, оберегающих во время шторма. Фернанда сшила ей полотняный пояс для хранения денег и показала, как закреплять его на теле, чтобы не снимать даже ночью. Она хотела подарить дочери золотой горшок, вымытый с жавелем и протертый спиртом, но Амаранта Урсула не взяла, боясь, что ее засмеют подруги по школе. Через несколько месяцев на смертном одре Аурелиано Второй будет вспоминать, какой он видел ее в последний раз, как безуспешно старалась она опустить грязное окно вагона второго класса, чтобы услышать последние наставления Фернанды. На ней было шелковое розовое платье с бутоньеркой из искусственных анютиных глазок на левом плече, сафьяновые туфли с перепонкой и без каблуков и фильдеперсовые чулки с эластичными подвязками на икрах. Она была хрупкого телосложения, с длинными распущенными волосами и лучистыми глазами, как у Урсулы в юности, а ее манера прощаться – без слез, но и без улыбки – говорила о таком же твердом характере. Стараясь не отставать от вагона, ускорявшего ход, и держа под руку Фернанду, чтобы та не споткнулась, Аурелиано Второй едва успел махнуть ей рукой в ответ на воздушный поцелуй, который дочь послала ему кончиками пальцев. Супруги застыли под знойным солнцем, глядя, как поезд обращается в черную точку на горизонте, и держась за руки – в первый раз после свадьбы.

Девятого августа, еще до того, как пришло первое письмо из Брюсселя, Хосе Аркадио Второй, беседуя с Аурелиано в комнате Мелькиадеса, ни с того ни с сего произнес:

– Всегда помни, что их было больше трех тысяч и что их выкинули в море.

Потом навалился грудью на пергамент и умер с открытыми глазами. В этот же самый миг его брат-близнец избавился в постели Фернанды от долгих и страшных пыток

железными клешнями, которыми рак рвал ему горло. Неделей раньше он вернулся домой, без голоса, без сил, высохший почти до костей, со своими кочевыми сундуками, чтобы выполнить обещание – умереть рядом с женой. Петра Котес помогла ему собрать одежду и распрощалась с ним без единой слезы, но забыла отдать ему лаковые ботинки, которые он берег для своих похорон. И когда она узнала, что он умер, оделась в черное, завернула ботинки в газету и попросила у Фернанды позволения увидеть покойного, Фернанда не пустила ее на порог.

– Поставьте себя на мое место, – молила Петра Котес. – Подумайте, как я должна его любить, чтобы пойти на такое унижение.

– Нет такого унижения, которого не заслужила бы любовница, – отозвалась Фернанда. – Подождите, пока умрет какой-нибудь другой ваш сожитель, и наденьте на него эти ботинки.

Во исполнение обещанного Санта София де ла Пьедад рассекла кухонным ножом шею усопшего Хосе Аркадио Второго, боясь, как бы его не погребли живым. Оба тела положили в одинаковые гробы, и тут все увидели, что в смерти братья снова стали абсолютно неразличимы, как в детстве. Старые сотрапезники Аурелиано Второго водрузили на его гроб венок с лиловой лентой, на которой красовалась надпись: «Плодитесь, коровы, жизнь быстротечна». Фернанду покоробила их бестактность, и она распорядилась выкинуть венок на помойку. В последние минуты общей сумятицы грустные пьянчужки, выносившие покойников из дому, перепутали гробы и опустили каждого из близнецов в могилу, предназначенную для другого.

Аурелиано очень долго не выходил из комнаты Мелькиадеса. Он наизусть выучил волшебные сказки из книги без обложки, познал суть учения Германа святого и науки о демонах, прочитал о способах сотворения философского камня, «Столетия» Нострадамуса и его исследования о чуме и, таким образом, вступил в отрочество, ничего не зная о своем времени, но обладая солидным запасом знаний человека эпохи Средневековья. Когда бы ни зашла к нему Санта София де ла Пьедад, она всегда заставала его за чтением. На рассвете он получал кружку кофе без сахара, а в полдень – тарелку риса с ломтиками жареных бананов – в доме больше нечем было разжиться при жизни Аурелиано Второго. Она подстригала ему волосы, давила гнид, перешивала обноски, завалявшиеся в сундуках, а когда у него стали пробиваться усы, принесла опасную бритву и плошку для мыльной пены, которыми пользовался еще полковник Аурелиано Буэндия. Никто из прямых потомков полковника не был на него так похож, даже Аурелиано Хосе, как этот юнец, – те же острые скулы, та же решительная, даже жесткая линия рта. Подобно Урсуле, в свое время навещавшей Аурелиано Второго в этой же комнате, Санта София де ла Пьедад думала, что Аурелиано разговаривает сам с собой. В действительности же он беседовал с Мелькиадесом. В один жаркий полдень, вскоре после смерти братьев-близнецов, Аурелиано увидел в отблеске оконного света темную фигуру старика в шляпе с черными, как вороново крыло, полями – живое воплощение образа, который запечатлелся в его памяти, наверное, задолго до его рождения. Аурелиано успел составить алфавит для манускриптов. Так что, когда Мелькиадес спросил, разобрался ли он, на каком языке они написаны, у мальчика был готов ответ.

– На санскрите, – сказал он.

Мелькиадес не скрыл, что скоро перестанет являться в эту комнату. Но вступит на просторы окончательной смерти спокойно, зная, что у Аурелиано есть время изучить санскрит за годы, по истечении которых пергаменты достигнут столетнего возраста и их

можно будет прочитать. Именно старик шепнул ему, что в тупике у реки, где во времена Банановой компании предсказывали будущее и разгадывали сны, находится книжная лавка ученого каталонца, где продается учебник основ санскрита, но через шесть лет книга будет источена жучком, если ее сейчас не купить. Впервые за долгую жизнь на лице Санта Софии де ла Пьедад появилось выражение, причем выражение полной растерянности, когда Аурелиано попросил ее принести ему книгу, стоящую между «Освобожденным Иерусалимом» и поэмами Мильтона в правом углу второго ряда полок в книжной лавке. Поскольку она не умела читать, ей пришлось запомнить местонахождение книжки, а деньги выручить от продажи одной из шестнадцати золотых рыбок, которые оставались в мастерской и о которых знали только она и Аурелиано после той ночи, когда солдаты обыскивали дом.

Аурелиано быстро продвигался в изучении санскрита, а Мелькиадес возникал все дальше от него и исчезал все быстрее, растворяясь в слепящей яркости дня. Последний раз, когда Аурелиано ощутил его присутствие, старика почти не было видно, и только слышался шепот: «Я умер от лихорадки в болотах Сингапура». Комната с той поры перестала быть недоступной для пыли и жары, для термитов и моли, для рыжих муравьев, которые превратят в труху книги и пергаменты со всей их премудростью.

Еда в доме появилась. На следующий день после похорон Аурелиано Второго один его приятель, из тех, что притащили венок с оскорбительной надписью, пожелал уплатить Фернанде деньги, которые он задолжал ее мужу. С той поры каждую среду посыльный приносил корзину со съестным, которого хватало на всю неделю. Так никто и не узнал, что провиант посылала Петра Котес, веря себе в утешение, что заставить другого жить подаянием – значит унизить его, если он унизил тебя. Однако злоба испарилась гораздо раньше, чем ей думалось, но она все равно продолжала посылать еду – если сначала от обиды, то потом из сострадания. Не раз, когда не было сил продавать билетики и люди теряли интерес к лотерее, она сидела голодной, но кормила Фернанду и не освобождала себя от этого обязательства, пока ту не снесли на кладбище.

Сокращение числа домочадцев должно было принести Санта Софии де ла Пьедад вполне заслуженное облегчение после полувека работы. Никто не слышал ни слова жалобы от этой женщины, тихой и замкнутой, которая дала семье неземную красу Ремедиос Прекрасной и непостижимую самоуглубленность Хосе Аркадио Второго и которая посвятила всю свою молчаливую и одинокую жизнь воспитанию детей, едва ли помнивших, что они ее сыны и внуки, и которая, не зная, что Аурелиано ее правнук, заботилась о нем так, словно он тоже явился на свет из ее чрева. Только в таком доме, как этот, было допустимо такое, чтобы она спала ночью на циновке в кладовой, где по ночам шуршали крысы и где – хотя этого никто не узнал – она однажды проснулась во тьме от жуткого ощущения, будто на нее кто-то пристально смотрит, и успела заметить, как по ее животу скользнула змея. Санта София де ла Пьедад знала, что, расскажи она об этом Урсуле, та уложила бы ее спать в собственную постель, но тогда никому не было дела до другого, если только не заорать благим матом в галерее, потому как работа в пекарне, ужасы войны, уход за детьми не давали возможности тратить время на думы о ближнем. Она и в глаза не видела Петры Котес, но Петра была единственным человеком, который помнил о ней и беспокоился, есть ли у нее приличные туфли или платье, даже в ту пору, когда приходилось творить чудеса изворотливости, колдуя над мизерными доходами от лотереи. Фернанда, вошедшая в дом Буэндия, сразу стала относиться к Санта Софии де ла Пьедад так, словно та была здесь

бессменной прислугой, и, хотя не раз слышала, как Санта Софию называют матерью ее супруга, этот факт казался Фернанде таким абсурдом, что она предпочитала не вдаваться в подробности, а скорее об этом забыть. Санта София де ла Пьедад словно бы и не тяготилась своим подчиненным положением. Напротив, создавалось впечатление, будто ей нравится шнырять туда-сюда, без остановки, без нытья, поддерживая чистоту и порядок в большом доме, в котором она жила с юности и который, особенно во времена Банановой компании, скорее походил на казарму, чем на жилище. Но после смерти Урсулы сверхъестественная прыть Санта Софии де ла Пьедад, ее неимоверное трудолюбие начали сдавать. И не потому, что она старела и уставала от жизни, а потому, что сам дом стала одолевать необратимая старческая немощь.

Стены зарастали нежным лишайником. А когда и в обоих патио не осталось голого места, зелень стала подтачивать пол в галерее, раскалывать его, как стекло, и просовывать в трещины те самые желтые цветочки, которые почти век тому назад Урсула обнаружила у Мелькиадеса в стакане с вставной челюстью. Не имея ни сил, ни времени, чтобы противостоять наглому напору природы, Санта София де ла Пьедад проводила дни в спальнях, распугивая ящериц, которые к ночи снова были тут в полном сборе. Однажды утром она увидела, как рыжие муравьи оставили трухлявый фундамент, вылезли в сад, поднялись по перилам на галерею, где бегонии сразу стали желтыми, как земля, и проникли в глубины дома. Она сначала пыталась вымести их метлой, потом травила инсектицидами и, наконец, поливала известью, но на следующий день муравьи снова являлись, накатывали, как ни в чем не бывало, упорные и непобедимые. Фернанда, занятая перепиской с детьми, не замечала неотвратимо надвигающейся разрухи. Санта София де ла Пьедад продолжала вести борьбу в одиночку, сражаясь с дикой зеленью и не пуская ее в кухню, срывая со стен паутиньи махры, вновь появлявшиеся за считанные часы, и выскребая термитов. Но когда она увидела, что и комната Мелькиадеса зарастает паутиной и грязью, даже если убирать там и подметать полы по три раза на день, и что, несмотря на ее яростное желание навести там чистоту, грозит стать мерзкой мусорной ямой – как это заранее сумели увидеть только полковник Аурелиано Буэндия и молодой офицер, – она признала себя побежденной. Тогда Санта София де ла Пьедад надела древнее воскресное платье, старые башмаки Урсулы и грубые чулки, подаренные Амарантой Урсулой, и собрала в узелок оставшиеся две или три пары белья.

– Больше нет сил, – сказал она Аурелиано. – Не по моим бедным костям такой домище.

Аурелиано спросил, куда же она идет, старуха неопределенно махнула рукой, не все ли равно. Однако сказала, что хочет прожить последние годы с двоюродной сестрой, которая живет в Риоаче. Едва ли она сказала правду. После смерти родителей Санта София де ла Пьедад ни с кем в городе не общалась, ни писем, ни посылок не получала, о родственниках никогда не заикалась. Аурелиано отдал ей четырнадцать золотых рыбок, ибо она была готова уйти только с тем, что имела: один песо и двадцать пять сентаво. Он смотрел из окна, как она идет через патио со своим узелком, волоча ноги, сгибаясь под тяжестью лет, видел, как, выйдя на улицу, просунула руку в дыру и подтянула задвижку, заперев за собою ворота. Больше он ничего не слышал о ней.

Узнав о беглянке, Фернанда весь день, что-то шепча, рылась в сундуках, комодах и шкафах, перебирала вещь за вещью, чтобы убедиться, что Санта София де ла Пьедад ничего не стащила. Она обожгла себе пальцы, разжигая печь первый раз в жизни, и попросила Аурелиано – пожалуйста! – показать ей, как варят кофе. Со временем все кухонные дела

перешли к нему. Когда Фернанда утром вставала, завтрак был на столе, а потом она выходила из спальни только к обеду, оставленному Аурелиано на углях в закрытой кастрюле, которую она несла в столовую, чтобы съесть варево среди канделябров, сидя во главе одинокого стола, покрытого полотняной скатертью, облепленного пятнадцатью пустыми стульями. Даже в таких условиях Аурелиано и Фернанда не нарушали своего одиночества, а продолжали жить каждый сам по себе, наводя чистоту лишь в своей комнате, хотя паутина заснежила розовые кусты, задрапировала потолочные балки, окутала стены. Именно в эту пору Фернанде стало казаться, что у них завелись домовые. Предметы, главным образом повседневного пользования, вдруг стали обретать способность перемещаться с места на место. Заведомо зная, что она положила ножницы на кровать, Фернанда, потеряв кучу времени и перерыв всю постель, находила их вдруг в шкафу на кухне, куда не заходила, наверное, дня четыре. Ни с того ни с сего в ящике со столовыми приборами не оказывалось вилок, а на алтаре преспокойно лежало полдюжины их, и еще три были в ванной. Такая расторопность вещей особенно раздражала, когда она садилась писать письма. Чернильница, стоявшая справа, оказывалась слева, пресс-папье вообще и след простыл, и обнаружилось оно два дня спустя под подушкой, а тексты посланий к Хосе Аркадио попадали в конверты для Амаранты Урсулы, и Фернанду постоянно мучило страшное беспокойство, что письма отосланы не по адресу, как не раз и случалось. Однажды пропало перо. Две недели спустя его принес почтальон, который нашел эту писчую принадлежность в своей сумке и заходил в каждый дом, ища хозяина. Сначала Фернанда считала, что это проделки заочных целителей, прятавших от нее бандажи, и даже села писать им письмо, умоляя оставить ее в покое, но, оторвавшись от бумаги по какому-то делу, а затем вернувшись к столу, не только не нашла начатого письма, но даже не вспомнила, что бралась за перо. Одно время она думала на Аурелиано.

Подглядывая за ним, Фернанда ставила всякие вещи на самом виду и хотела накрыть его в тот момент, когда он будет их переставлять, но вскоре убедилась, что Аурелиано выходит из комнаты Мелькиадеса только на кухню или по нужде и что он не любитель шутки шутить. Ничего не оставалось, как все свалить на домовых и не дать предметам срываться с того места, где они нужнее всего. Фернанда привязала длинным шнуром ножницы к изголовью кровати. Прикрепила подставку для перьев и пресс-папье к ножке стола, а чернильницу приклеила пластырем к бювару на столе, справа от себя. Трудности, однако, на этом не кончились, ибо через час-другой занятий шитьем до ножниц на привязи было не дотянуться, словно бы домовые укорачивали шнур. То же самое происходило с привязанным пером и даже с ее собственной рукой, которая, написав несколько строк, уже не доставала до чернильницы. Ни Амаранта Урсула в Брюсселе, ни Хосе Аркадио в Риме ведать не ведали об этих ее мелких злоключениях. Фернанда сообщала им, что вполне счастлива, и это соответствовало действительности, так как она чувствовала себя свободной от всяких обязанностей, словно бы жизнь снова привела ее в родительский дом, где не было никаких мучений с повседневными делами, от которых она даже мысленно устранялась, в них не вникая. Нескончаемая забота о детях заставляла ее терять чувство времени, особенно после того, как ушла Санта София де ла Пьедад. Она привыкла вести счет суткам, месяцам и годам, принимая за точки отсчета ожидаемые дни приезда детей. Но когда сроки не раз и не два менялись, числа путались у нее в голове, даты смешивались, дни становились так похожи один на другой, что не замечалось, как они бегут. Вместо нетерпения она стала испытывать глубокое довольство, если случалась отсрочка их приезда. Ее не тревожило, что много лет

спустя после сообщения о своей полной готовности дать обет вечного послушания Хосе Аркадио заговорил о том, что хочет кончить курс высшей теологии, а затем приступить к изучению дипломатии, ибо она понимала, сколь высока и какими терниями устлана винтовая лестница, ведущая к престолу святого Петра. И душа матери ликовала от известий, которые другим показались бы сущей безделицей, как, например, то, что ее сын лицезрел Папу Римского. В такой же восторг ее привели строки Амаранты Урсулы о том, что ее занятия продлятся долее положенного срока, поскольку лестные отзывы о многих ее способностях открывают перед ней такие возможности, о которых отец не мог и мечтать при составлении ее бюджета.

Прошло более трех лет с тех пор, как Санта София де ла Пьедад принесла ему грамматику, и Аурелиано наконец одолел перевод первого санскритского пергамента. Однако этот далеко не напрасный труд был едва ли не первым шагом на пути, длину которого нельзя было измерить, поскольку испанский текст выглядел абракадаброй: стихи оказались зашифрованы. Аурелиано не знал, с чего начать, чтобы найти ключ к их разгадке, но вспомнил, что Мелькиадес направлял его в лавку ученого каталонца, где есть книги, которые помогут раскрыть тайну пергаментов, и решил попросить у Фернанды разрешения сбегать за ними. В своей комнате, пожираемой безудержным тленом и грязью, которая грозила покончить с жилым пространством, он обдумывал форму выражения своей просьбы, ждал подходящего момента и удобных обстоятельств, но, когда встречался лицом к лицу с Фернандой, приходившей на кухню за своим обедом, и получал единственную возможность заговорить с ней, тщательно подготовленное обращение застревало в горле и он не мог вымолвить ни слова. Только ради этого он стал следить за ней. Прислушивался к ее шагам в спальне. Знал, когда она идет к дверям, чтобы взять у почтальона письма от детей и отдать свои, и до глубокой ночи слушал жесткий и страстный скрип пера до щелчка выключателем и затем – шепот молитвы во тьме. Только тогда он засыпал, веря, что грядущий день принесет ему удачу. Проникшись уверенностью, что ему не будет отказа, он однажды утром остриг себе волосы, доходившие уже до плеч, сбрил нечесаную бороду, надел узкие брюки и рубашку с твердым воротником, неизвестно от кого унаследованные, и стал ждать на кухне Фернанду к завтраку. Но явилась не всегдашняя Фернанда, женщина с надменно вскинутой головой и твердой поступью, а старуха немыслимой красоты в пожелтевшей горностаевой мантии и с короной из позолоченного картона на голове, с видом человека, только что втайне лившего слезы. Дело в том, что с тех пор, как Фернанда раскопала в сундуках Аурелиано Второго изъеденный молью наряд королевы, она не раз в него облачалась. Если бы видели, как она ломается перед зеркалом, вдохновляя себя величественными позами и жестами, подумали бы, что она сошла с ума. Но она не была сумасшедшей. Просто-напросто королевское одеяние приводило в движение механизм ее памяти. Когда впервые она украсила себя этими реликвиями, сердце у нее сжалось, а на глаза набежали слезы, ибо в этот самый момент в нос снова ударил дегтярный запах сапог офицера, который искал ее, желая увезти с собой и сделать королевой, и душа ее переполнилась тоской несбывшихся надежд. Она почувствовала себя такой старой, такой старой, такой немощной и в такой дали от лучших часов своей жизни, что затосковала даже по тем часам, которые считала самыми худшими, и только теперь ощутила, как не хватает ей легкого аромата душицы в галерее, влажного благоухания роз и даже дикой простоты нравов незваных гостей. Ее сердце из отвердевшего пепла не поддавалось самым сильным ударам повседневности, но уступило первому натиску ностальгии. Потребность грустить с годами превратилась в губительную

привычку. Норов ее смягчился в одиночестве. Однако в то утро, когда Фернанда пришла на кухню и взяла чашку кофе из рук бледного и угловатого юноши с ярким блеском в глазах, ей внезапно и без пощады открылось, как она смешна. И она не только не дала ему разрешения выйти, но с тех пор стала носить все ключи в потайном кармане, где хранила запас бандажей. Это была ненужная предосторожность, ибо, если Аурелиано захотел бы удрать, он мог легко это сделать и тихо вернуться домой. Но продолжительное заточение, робость перед внешним миром, привычка повиноваться не давали мятежным семенам прорасти в его душе. И он вернулся к своему уединению, читая и перечитывая пергаменты и слушая до поздней ночи рыдания Фернанды в спальне. Однажды утром он пришел разжечь, как всегда, огонь на кухне и заметил на погасших углях еду, которую приготовил для нее накануне. Тогда он заглянул в спальню и увидел, что она, вытянувшись, лежит на кровати под горностаевой мантией, прекрасная как никогда, отверделая, как мраморное надгробие. Через четыре месяца, когда приехал Хосе Аркадио, она ничуть не изменилась.

Трудно представить себе человека, более напоминающего свою мать, чем он. Хосе Аркадио был в строгом костюме из тафты, в рубашке с круглым твердым воротничком, из-под которого вместо галстука свисала узкая шелковая лента, завязанная узлом. Бледный, апатичный человек со скучающим взором и вялыми губами. Черные напомаженные волосы, разделенные тщательным прямым пробором по длине черепа, напоминали гладкие парики святых. Казалось, и тень бороды не могла запятнать его на совесть выбритое парафиновое лицо. Руки с голубыми жилами и ленивыми пальцами были белы, а на левом мизинце сверкало толстое золотое кольцо с круглым желтым опалом. Открыв ему дверь, Аурелиано сразу понял, кто явился из дальних заморских краев. Куда бы приезжий ни шагнул, везде оседал запах цветочной воды, которой Урсула кропила ему голову, когда он был ребенком, чтобы находить его во тьме. Каким-то непостижимым образом после стольких лет отсутствия Хосе Аркадио продолжал оставаться поздним ребенком, страшно грустным и одиноким. Он направился прямо в спальню матери, где Аурелиано четыре месяца выпаривал ртуть из тигля своего деда, чтобы сохранить тело по рецепту Мелькиадеса. Он поцеловал покойницу в лоб и вытащил у нее из-под юбки подшитый карман с тремя оставшимися бандажами и ключ от шкафа. Все это он проделал уверенно и решительно, что никак не вязалось с его кислым видом. Вынул из шкафа обтянутую шелком шкатулку с фамильным гербом, из которой пахнуло сандалом, и развернул объемистое письмо, где Фернанда изливала свою душу, доверяя бумаге бесчисленные, доныне сокрытые истины. Он стоя прочитал письмо, с любопытством, но без волнения задержался на третьей странице, испытующе поглядев на Аурелиано, будто увидел его впервые.

– Значит, – сказал он голосом, острым как бритва, – ты незаконнорожденный.

– Я Аурелиано Буэндия.

– Иди в свою комнату, – сказал Хосе Аркадио.

Аурелиано пошел и не выходил оттуда, оставаясь равнодушным даже к звукам, сопровождавшим сиротливые похороны. Иногда он видел из кухни Хосе Аркадио, который бродил по дому, сопя и задыхаясь, а за полночь прислушивался к его шагам в запустелых спальнях. Много месяцев он не слышал голоса Хосе Аркадио, и не потому, что тот к нему не обращался, а потому, что сам Аурелиано не имел ни малейшего желания с ним разговаривать, ни времени думать о чем-либо другом, кроме пергаментов. После смерти Фернанды он взял предпоследнюю рыбку и отправился в книжную лавку ученого каталонца за необходимыми книгами. Его ничто не интересовало из виденного по пути, возможно, потому, что

вспоминать – для сравнения – было не о чем, а безлюдные улицы и пустые дома выглядели так, как он их себе представлял в ту пору, когда отдал бы душу, лишь бы на них посмотреть. Он сам дозволил себе то, в чем ему отказала Фернанда, и только один раз, с одной-единственной целью и на самое короткое, необходимое для дела время, и потому пробежал без остановки одиннадцать кварталов, отделявших дом от закоулка, где раньше толковали сны, и вошел, запыхавшись, в тесную темную комнатушку, где едва можно было повернуться. Помещение походило не на книжную лавку, а на свалку потрепанных книг, в беспорядке громоздившихся на полках, источенных термитами и прикрытых паутиной, и даже в узких проходах. За длинным столом, прогнувшимся под тяжестью томов, хозяин сидел над рукописью без конца и начала и плел фиолетовую буквенную вязь на листках, вырванных из школьной тетради. На его лбу хохолком какаду подрагивала прядь волос, вырвавшаяся из чудесной серебристой шевелюры, а в его синих, живых, прищуренных глазах светилось благодушие человека, прочитавшего все книги на свете. Он сидел в одних кальсонах, мокрый от пота, и даже не поднял головы посмотреть, кто вошел. Аурелиано без труда отыскал в чудовищных нагромождениях пять нужных книг, ибо они лежали именно там, где сказал Мелькиадес. Молча протянул их вместе с золотой рыбкой ученому каталонцу, тот их полистал, и веки его плотно сомкнулись, как ракушки. «Ты, видимо, спятил», – сказал он на своем языке, пожав плечами, и вернул Аурелиано пять книг и рыбку.

– Возьми их, – сказал он по-испански. – Последним человеком, читавшим эти книги, был, наверное, Исаак Слепец, подумай, что ты берешь.

Хосе Аркадио привел в порядок спальню Меме, велел почистить и подлатать бархатные портьеры и шелковый балдахин над вице-королевской кроватью и снова открыл дверь заброшенной купальни, где цементные стенки бассейна почернели от шершавых окаменелых наслоений. Этими двумя местами и ограничилось его царство барахла, экстравагантных поношенных вещей, дешевых и фальшивых камней. Единственное, что показалось ему ненужным хламом в остальных помещениях, были святые у домашнего алтаря, которых он однажды сгреб в охапку и сжег дотла на костре в патио. Спал он почти до полудня. Потом шел в бассейн, надев потрепанный халат с золотыми драконами и шлепанцы с желтыми помпончиками, и приступал там к ритуалу, который своей торжественностью и продолжительностью напоминал священнодействие Ремедиос Прекрасной. До того как ступить в воду, он сыпал в бассейн ароматические соли из трех фаянсовых сосудов. И не обливался из тыквенной бадейки, а целиком погружался в благоуханную воду и колыхался на ней целых два часа, одурманенный прохладой и воспоминаниями об Амаранте. Вскоре после приезда он расстался со своим тафтяным костюмом, и не только потому, что в нем было слишком жарко, а потому, что другого у него не имелось, и влез в узкие штаны, напоминавшие те, в которых Пьетро Креспи давал уроки танцев, надел рубашку из натурального шелка с вышитыми на сердце собственными инициалами. Дважды в неделю он стирал то и другое в бассейне и ждал, облачившись в халат, пока вещи просохнут, поскольку других у него не было. Дома он никогда не обедал. Выходил на улицу после сиесты, когда спадала жара, и возвращался глубокой ночью. А потом продолжал свое тоскливое хождение, сопя, как кот, и мечтая об Амаранте. Она и глаза святых, жутко мерцающие в свете ночника, были двумя самыми яркими воспоминаниями о детстве в этом доме. Много раз, просыпаясь среди ночи в сказочном римском августе, он открывал глаза и видел Амаранту, выходящую из беломраморного бассейна в своих кружевных юбках и со своей черной повязкой на руке, и на далекой чужбине она казалась особенно прекрасной.

В противоположность Аурелиано Хосе, который пытался утопить этот образ в кровавой трясине войны, Хосе Аркадио старался оживлять его в грязной луже соития все то время, когда опутывал мать ложью о своем духовном призвании. Ни ему, ни Фернанде не приходило в голову, что их переписка не более чем бесконечный обмен плодами фантазии. Хосе Аркадио, сбежавший из семинарии как только попал в Рим, продолжал плести небылицы о теологии и церковном праве, чтобы не подвергать угрозе наследование сказочных богатств, о которых говорилось в бредовых письмах матери и которые должны были вызволить его из нищеты и мерзости бытия в жалкой мансарде Трастевера, где он обитал вместе с двумя приятелями. Получив последнее письмо Фернанды, написанное в предчувствии близкой кончины, он сунул в чемодан жалкие остатки мнимой роскоши и пересек океан в трюме, битком набитом эмигрантами, которые ели холодные макароны и гнилой сыр. Еще до того, как он прочитал завещание Фернанды, бывшее не более чем подробным и запоздалым перечислением бед, обшарпанная мебель и заросшая травой галерея подсказали ему, что он попал в западню, из которой ему никогда не выбраться и где суждено навсегда забыть немеркнущий блеск и вековечный дух римской весны. Во время отгоняющих сон мучительных приступов астмы он снова и снова измерял шагами глубину своего несчастья, бродя по мрачному дому, где Урсула старческими бреднями вселяла в него когда-то страх перед миром. Чтобы не потерять ребенка во мгле, она сажала его в угол спальни и внушала, будто только тут он спасется от выходцев с того света, которые гуляют по дому с наступлением темноты. «Если не будешь слушаться, – говорила Урсула, – святые мне все равно скажут». Жуткие вечера детства были связаны с этим углом где он, потея от страха, неподвижно сидел на табурете под пристальным холодным взором святых ябед. Это была излишняя пытка, ибо уже в ту пору он боялся всего на свете и был готов пугаться того, что встретит в жизни: уличных женщин, портящих кровь; домашних женщин, рожающих детей с свиным хвостиком; бойцовых петухов, приносящих людям погибель или муки от угрызений совести до конца жизни; огнестрельного оружия, одно прикосновение к которому приводит к двадцатилетней войне; всяких глупых затей, которые приносят разочарование и доводят до помешательства, и вообще всего того, что Господь Бог создал милостью своей великой и что дьявол взял да испортил. Просыпаясь разбитым от бесконечных кошмаров и взглянув затем на светлое окно, испытав блаженство в бассейне от ласк Амаранты, от прикосновения шелковистой пуховки, которой она припудривала ему промежность, он забывал о страхах. Даже Урсула становилась другой в радужном блеске сада, потому что там она не говорила ему о страшных вещах, а натирала зубы толченым углем, чтобы улыбка у него была, как у Папы Римского, подстригала и полировала ему ногти, чтобы паломники, стекающиеся в Рим со всех концов земли, дивились бы холеным рукам Папы, их благословляющего; и прическу делала ему, как у Папы, и поливала его душистой водой, чтобы тело его и одежда благоухали, как одеяние Папы. На площади Кастель-Гандольфо он видел на балконе Папу, произносившего одну и ту же речь на семи языках для всей массы паломников, но особенно привлекала внимание белизна его рук, будто отбеленных жавелем, ослепительный блеск его летнего облачения и тончайшее благоухание одеколона.

Спустя почти год после возвращения домой, продав и проев серебряные канделябры и фамильный горшок, на котором действительно золотым оказался лишь герб, Хосе Аркадио стал развлекать себя сборищами уличных мальчишек в своем доме. Он приводил их к себе в часы сиесты и разрешал скакать в саду через веревку, горланить на галерее и кувыркаться в зале на диванах, а сам расхаживал среди них, читая им мораль. В эту пору он уже

распрощался с узкими брюками и шелковой рубашкой и носил обычную одежду, купленную в магазинах местных арабов, но не оставил своих папских замашек и томного высокомерия. Мальчишки живо освоились в доме, как когда-то школьные подружки Меме. До поздней ночи они галдели, распевали песни и отбивали чечетку, и дом стал выглядеть, как дикарская школа-интернат. Аурелиано не замечал нашествия, пока проказники не стали его донимать в комнате Мелькиадеса. Однажды утром двое мальчишек вломились к нему в дверь и остолбенели от ужаса при виде опаршивленного, заросшего волосами человека, который сидел, уткнувшись в пергамент за рабочим столом. Они не осмеливались входить, но от дверей не отлипали. Шептались и подглядывали в щели, забрасывали через окошечко над дверью всякую мелкую живность, а однажды забили снаружи и дверь и окно, и Аурелиано целых полдня не мог оттуда выбраться. Осмелев от своей безнаказанности, четверо сорванцов проникли как-то утром в комнату, когда Аурелиано был на кухне, и собрались расправиться с пергаментами. Но едва они схватили пожелтевшие свитки, как силы небесные оторвали их от пола и заставили висеть в воздухе до тех пор, пока не вернулся Аурелиано и не отобрал у них пергамент. С этих пор ему больше никто не докучал.

Четверо мальчишек постарше, которые еще бегали в коротких штанишках, хотя уже выглядели подростками, обязаны были следить за внешностью Хосе Аркадио. Они приходили раньше других и все утро брили его, массировали горячими полотенцами, подстригали и полировали ногти на ногах и на руках, опрыскивали одеколоном. Иногда опускали в бассейн и намыливали с ног до головы, а он покачивался на воде животом кверху, думая об Амаранте. Затем они его вытирали, пудрили тело и одевали. Один из мальчиков, белокурый и кудрявый, со стеклянными, красноватыми, как у кролика, глазками, обычно оставался ночевать. Его привязанность к Хосе Аркадио была так велика, что он ни на шаг не отходил от астматика в ночных блужданиях по темному дому. Однажды ночью в алькове Урсулы они заметили, как сквозь истертый цемент пробивается желтоватый блеск, словно бы какое-то подземное солнце превратило пол спальни в витраж. Не надо было зажигать лампу. Стоило приподнять растрескавшиеся плиты в углу, где всегда стояла кровать Урсулы и где свет был особенно ярок, как им открылся тайник, который ускользал от бешеных лопат Аурелиано Второго. Там были три холщовых мешка, обвязанных медной проволокой, а в них – семь тысяч двести четырнадцать дублонов, которые раскаленными углями сверкали во тьме.

Находка сокровища была как гром среди ясного неба. Вместо того чтобы возвратиться в Рим с нежданно-негаданно полученным богатством, о котором он только и мечтал в нищете, Хосе Аркадио превратил дом в старозаветный рай. Он повесил новые бархатные портьеры и обтянул бархатом балдахин в спальной комнате, выложил изразцами пол и стены в купальне. Буфет в столовой стал ломиться от засахаренных фруктов, окороков и маринадов, пустые кладовые снова заделались винными складами, куда сам Хосе Аркадио привозил с вокзала вина и ликеры в ящиках, маркированных его именем. Однажды ночью он с четырьмя подростками устроил пиршество до рассвета.

В шесть утра все выскочили голыми из спальни, спустили воду из бассейна и заполнили его шампанским. А потом бросились туда всей компанией: мальчишки плескались, как птицы, резвящиеся в небе, которое золотится шипучими искрами, а Хосе Аркадио покачивался на спине с открытыми глазами, отдыхая после вакханалии, вызывая в памяти образ Амаранты. Он пребывал в состоянии самозабвения, растворяя в воде горечь своих неправедных утех, еще долго после того, как уставшие мальчишки ввалились всем скопом в

спальню, сорвали там бархатные портьеры, чтобы обтереться, разгрохали в толкотне большое хрустальное зеркало и свалили балдахин, бросившись с разбегу на постель. Когда Хосе Аркадио вернулся из купальни, он увидел кучу голых тел, храпящих в алькове, потерпевшем крушение. Разъяренный не столько видом погрома, сколько вспыхнувшим чувством омерзения и жалости к самому себе среди отчаянной пустоты, завершившей оргию, он вооружился розгами для жития по Екклезиасту, хранившимися на дне баула вместе с власяницей и всякими железными штуками для умерщвления плоти и покаяния, и нещадно выдрал мальчишек, как не драл бы и диких койотов, и с ужасным ревом выкинул их из дома. А потом свалился без сил в припадке астмы, продолжавшемся несколько дней, и выглядел не краше мертвеца. На третью ночь мучений, еле дыша, он приплелся к Аурелиано и попросил купить в ближайшей аптеке порошки для ингаляции. Так произошел второй выход Аурелиано на улицу. Надо было пройти всего два квартала, чтобы попасть в тесную аптечку с давно не мытыми стеклянными шкафами, где гнездились банки и склянки с этикетками на латинском и где девушка с загадочным очарованием змеи Нила отпустила лекарство по бумажке, которую дал ему Хосе Аркадио. Вид городка с безлюдными улицами в тусклом желтом свете электрических лампочек и теперь не вызвал у Аурелиано большего интереса, чем в первый раз. Хосе Аркадио уже подумывал, что парень сбежал, когда наконец увидел его – Аурелиано возвращался, тяжело дыша, волоча ноги, которые ослабли в заточении и плохо подчинялись от долгой неподвижности. Его полное равнодушие к внешнему миру было столь очевидно, что через несколько дней Хосе Аркадио нарушил данное матери обещание и позволил ему свободно выходить на улицу.

– Мне там нечего делать, – ответил Аурелиано. И продолжал сидеть взаперти, всецело поглощенный пергаментами, которые постепенно расшифровывал, но смысла которых еще не мог уловить. Хосе Аркадио приносил ему в комнату кусочки ветчины, засахаренные цветы, оставлявшие во рту привкус весны, и раза два угостил стаканом тонкого вина. Хосе Аркадио не интересовали пергаменты, представляющие собой, по его мнению, чисто эзотерическое увлечение, но ему бросились в глаза небывалая увлеченность своего жалкого родича и его необъяснимое знание жизни. Позже он узнал, что тот понимает английский текст и, занимаясь пергаментами, прочитал мимоходом все шесть томов энциклопедии от корки до корки. Этим самообразованием он объяснял то, что Аурелиано мог говорить о Риме так, будто жил там многие годы, но вскоре увидел, что юноша разбирается и в том, чего нет в энциклопедиях, например знает истинную цену вещей. «Все всем известно», – таков был ответ Аурелиано на вопрос, как ему удалось это узнать. Аурелиано, в свою очередь, удивился тому что Хосе Аркадио при ближайшем знакомстве оказался не тем человеком, каким ему представлялся, когда бродил по пустому дому. Хосе Аркадио умел смеяться, позволял себе порой погрустить о былом семейном довольстве и посетовать на пришедшую в полное запустение комнату Мелькиадеса. Это сближение двух единокровных одиноких нелюдимов отнюдь не было дружбой, но помогало обоим легче переносить то непомерное одиночество, которое одновременно и разделяло их, и объединяло. Хосе Аркадио смог таким образом прибегать к помощи Аурелиано, чтобы отделываться от домашних забот, раздражавших его. Аурелиано, в свою очередь, мог сидеть и читать в галерее письма от Амаранты Урсулы, приходившие, как всегда, к сроку, и пользоваться купальней, откуда его изгнал Хосе Аркадио после своего приезда.

Одним жарким утром они оба проснулись от настойчивого стука в дверь дома. Оказалось, явился какой-то темный старик с большими зелеными глазами, яркое свечение

которых бросало призрачный отблеск на его лицо с пепельным крестом на лбу. Рваная одежда, дырявые башмаки, потрепанная сума через плечо – его единственная ноша – позволяли принять гостя за нищего, но держался он с достоинством, которое не отвечало его внешнему виду. Достаточно было взглянуть на него, и даже в полутьме гостиной стало ясно, что скрытой силой, поддерживающей в нем жизнь, служило не чувство самосохранения, а забвение чувства страха. Это был Аурелиано Сластолюб, единственный – из семнадцати – оставшийся в живых сын полковника Аурелиано Буэндии, мечтавший о передышке на своем долгом и опасном пути беглеца. Он представился и попросил приютить его в этом доме, который по ночам казался ему, всеми отверженному, последним прибежищем в жизни. Однако Хосе Аркадио и Аурелиано его не признали. Полагая, что это просто бродяга, они пинками выставили его за дверь. И с порога оба увидели конец драмы, начавшейся еще до появления Хосе Аркадио на свет. Два полицейских агента, которые много лет, как псы, охотились за Аурелиано Сластолюбом по всему миру, вынырнули из-за миндальных деревьев на противоположном тротуаре и всадили в него из маузера две пули, которые попали в самую середину пепельного креста на лбу.

Надо сказать, что после изгнания мальчишек из своего дома Хосе Аркадио пребывал в ожидании билета на трансатлантический лайнер, который до Рождества должен был взять курс на Неаполь. Он сказал об этом Аурелиано и даже склонялся к тому, чтобы купить лавку, которая давала бы тому средства к существованию, ибо после кончины Фернанды корзина с припасами перестала поступать. Но и эта последняя его мечта не сбылась. Одним сентябрьским утром, когда, выпив с Аурелиано на кухне по чашке кофе, Хосе Аркадио заканчивал в купальне свою обычную водную процедуру, сквозь дыру в черепичной крыше скользнули вниз четверо мальчишек, недавно выпоротых им. Не дав ему ополоснуться, они, как были, в одежде, бросились в бассейн, схватили Хосе Аркадио за волосы, окунули головой в воду и держали его так до тех пор, пока на поверхности не перестали булькать предсмертные пузыри, а тихое бледно-скользкое тело наследника папского престола не опустилось на дно благоуханной купели. Потом мальчишки сперли три мешка золотых монет, о местонахождении которых знали только они и их жертва. Налет был так внезапен, так продуман и так зверски осуществлен, что походил на военную операцию. Аурелиано, заперевшийся в своей комнате, ничего не слышал. Днем, не дождавшись Хосе Аркадио на кухне, он обыскал весь дом и нашел тело: Хосе Аркадио, большой и раздутый, покачивался на ароматных зеркалах бассейна и все еще мечтал об Амаранте. Только теперь Аурелиано понял, что начинал любить его.

Амаранта Урсула вернулась к первым декабрьским именинам, принеслась с восточным пассатом, а с ней явился и ее муж – на шелковом поводке. Она оказалась дома нежданно-негаданно в платье цвета слоновой кости, с жемчужным ожерельем почти до колен, с изумрудными и топазовыми перстнями на руках, с гладкими короткими волосами, которые остриями ласточкиных крыльев ложились на уши. Мужчина, с которым она обвенчалась шесть месяцев назад, оказался видным здоровым фламандцем, похожим на морехода. Распахнув дверь в гостиную, она тут же поняла каким неумеренно долгим было ее отсутствие и какой вред нанесло это дому.

– Боже мой! – воскликнула она скорее весело, чем встревоженно. – Сразу видно, что здесь нет женщины!

Багаж Амаранты Урсулы не уместился в галерее. Помимо старинного сундука

Фернанды, с которым ее отправили в Брюссель, она привезла два высоких гардероба, четыре больших чемодана, торбу с зонтиками, восемь шляпных коробок, гигантскую клетку с полсотней канареек и велосипед мужа, разобранный и уложенный в футляр наподобие виолончельного. Она даже не прилегла после долгой дороги. Натянула на себя старый холщовый комбинезон мужа, немало послуживший ему при возне с моторами, и приступила к очередной реставрации дома. Расправилась с рыжими муравьями, которые было уже завладели галереей, воскресила розарий, вырвала с корнем всю дикую зелень и снова посадила папоротники, душицу и бегонии в вазонах. Она командовала бригадой плотников, слесарей и каменщиков, которые заделали трещины в полах, навесили двери и окна, обновили мебель и побелили стены изнутри и снаружи, и через три месяца после ее приезда здесь снова дышалось легким воздухом юности и веселья времен пианолы. Никто и никогда в этом доме так не смеялся и не смешил других во всякое время и при любых обстоятельствах, никто так не любил петь, и танцевать и выкидывать на свалку отжившие вещи и обычаи, как с траурными воспоминаниями и кучами ненужной рухляди и чернокнижной утвари, завалившей углы, и сжалилась лишь – из уважения к Урсуле – над дагерротипом Ремедиос в гостиной. «Поглядите на это чудо из чудес, – кричала она, захлебываясь от смеха. – Прабабка, дожившая до четырнадцати лет!» Когда один из каменщиков рассказал ей, что дом населен привидениями и что единственный способ отделаться от них – это найти сокровища, которые они охраняют, она расхохоталась и заявила, что чихать хотела на мужское суеверие. Она была столь непосредственна, столь свободна от условностей и предрассудков, столь современна и непринужденна, что Аурелиано совершенно растерялся, увидев ее впервые. «Ну, силен! – радостно воскликнула она, раскрыв объятия. – Только поглядите, как вымахал мой милый каннибал!» Он не успел опомниться, а она уже схватила привезенный патефон, поставила пластинку и принялась обучать его модным танцам. Она вынудила Аурелиано расстаться с затасканными штанами полковника Аурелиано Буэндии, подарила ему яркие рубашки и двухцветные ботинки и выпроваживала его на улицу, если он слишком долго засиживался в комнате Мелькиадеса.

Живая, дотошная, своевольная, как Урсула, и почти такая же красивая и пленительная, как Ремедиос Прекрасная, она обладала редкой способностью опережать моду. Доставляемые почтой свежие журналы модной одежды служили ей в общем только для подтверждения того, что она придумывала вполне современные модели нарядов, которые сама же себе и шила на допотопной ручной машинке Амаранты. Она выписывала многие модные журналы, европейские музыкальные и театральные бюллетени, но, полистав их, убеждалась, что в мире все идет так, как она себе представляет. Трудно было объяснить, почему женщина с такими способностями вернулась в мертвый городишко, задавленный жарой и пылью, да еще с таким мужем, у которого денег куры не клюют, и можно было бы жить с ним припеваючи в любой части света, и который так ее любил, что позволял водить себя куда угодно на шелковом поводке. Однако с течением времени становилось все более очевидным ее намерение остаться тут навсегда, ибо все ее планы строились с прицелом на далекое будущее и все ее желания сводились к тому, чтобы обеспечить себе удобную жизнь и спокойную старость в Макондо. Огромная клетка с канарейками доказывала, что ее решение было принято не с бухты-барахты. Помня, что мать сообщала в письме о гибели птиц, она приурочила свое возвращение домой к рейсу судна с заходом на Канарские острова, чтобы отобрать там двадцать пять пар наилучших канареек, которым предстояло вновь заселить небо над Макондо. Это была самая досадная неудача из многих ее провалившихся затей. По

мере того как птички увеличивались в числе, Амаранта Урсула выпускала на волю пару за парой, но пернатых манила не столь свобода, сколь возможность бесследно отсюда исчезнуть. Напрасно старалась она прельстить их птичником, поставленным еще Урсулой в эпоху первой перестройки дома. Напрасно мастерила для них гнезда из соломы на миндальных деревьях, рассыпала корм на крышах и старалась, чтобы звонче пели еще сидевшие в клетках птицы и возвращали бы дезертиров, так как те, взмыв в небо и наспех описав над городом круг, дабы знать, куда лететь, тут же бросались в сторону Канарских островов.

Прошел год после возвращения, и, хотя ей не удалось ни завести друзей, ни устроить празднество, Амаранта Урсула продолжала верить, что еще воспрянет это людское общество, избранное судьбой для жестоких испытаний. Гастон, ее муж, старался ни в чем ей не перечить, хотя уже в тот смертоносный полдень, когда он вышел из вагона, ему стало понятно, что тяга жены к Макондо вызвана иллюзорной тоской по родине. Будучи убежден в том, что иллюзии разбиваются о повседневность, он даже не стал собирать велосипед, а занялся тем, что выискивал крупные паучьи яйца в лохмах паутины, сорванной со стен штукатурами, вскрывал яйца ногтем и подолгу наблюдал в лупу, как оттуда выбегают крохотные паучата. Позже, думая, что Амаранта Урсула продолжает свои переделки и перестройки из чистого упрямства, он наконец решился собрать свой замечательный велосипед, переднее колесо которого было гораздо больше заднего, и отправился ловить в окрестностях города и сажать на иголки всех местных козявок, которых затем посылал в банках из-под джема своему старому профессору естествоведения в Льежский университет, где когда-то с упоением изучал энтомологию, хотя его истинным призванием всегда было воздухоплавание. Собираясь на велосипедную прогулку, он натягивал трико гимнаста, чулки шотландского музыканта и кепку детектива, но, выходя прогуляться пешком, надевал безупречно выглаженный полотняный костюм, белые туфли, шелковый галстук, шляпу-канотье и шел, помахивая стеком. Своими светлыми зрачками он в самом деле напоминал моряка, а цветом усиков – рыжую белку. Хотя Гастон был по меньшей мере лет на пятнадцать старше своей супруги, его юношеские пристрастия, его всегдашняя готовность исполнять все ее желания и его идеальные мужские качества компенсировали разницу в возрасте. В самом деле, если поглядеть на этого сорокалетнего мужа, сдержанного и тактичного, со своим шелковым шнурком на шее и со своим шутовским велосипедом, нельзя было бы и подумать, что он и его молодая жена заключили негласный договор о полной безотказности в любви и что оба с самого начала знакомства уступали взаимной страсти там, где их настигало желание, – порой в совсем неподходящих местах и всегда с неистовым вожделением, какое чем дальше, тем сильнее ими овладевало, особенно в рискованных ситуациях. Гастон был не только свиреп в любви, опытен и неистощим на фокусы в постели, но стал, наверное, первым в истории авиатором, который с риском для собственной жизни и для жизни своей возлюбленной совершил вынужденную посадку на лужайке с фиалками только для того, чтобы там заняться любовью.

Они познакомились за три года до свадьбы, в день, когда спортивный биплан Гастона выписывал головоломные пируэты над колледжем, где училась Амаранта Урсула. Чтобы не врезаться во флагшток, ему пришлось слишком хитро сманеврировать, и в итоге хрупкое сооружение из парусины и фольги, зацепившись хвостом за электрические провода, повисло в воздухе. С того дня, невзирая на свой гипсовый сапог, он каждую субботу заходил за Амарантой Урсулой в монашеский пансион, где она постоянно жила и где распорядок был

отнюдь не так строг, как того желала Фернанда, и увозил ее в свой спортивный клуб. Они начали влюбляться друг в друга на высоте пятисот метров, в воскресном воздухе песчаных равнин, и взаимное их притяжение росло все больше, а земные создания казались все мельче. Она рисовала ему Макондо как самое прекрасное и безмятежное место на земле, рассказывала об огромном доме, благоухающем душицей, где она хотела бы жить до старости с преданным мужем и двумя проказливыми сыновьями, которых звали бы Родриго и Гонсало, но ни в коем случае не Аурелиано и Хосе Аркадио, и с дочкой, которая звалась бы Виргинией, но только не Ремедиос. Она с таким упорством превозносила воображаемые прелести городка, по которому тосковала, что Гастон понял одно – их свадьбе не бывать, если не отвезти ее в Макондо. Он согласился, как потом согласился ходить на поводке, ибо считал это временным капризом, который со временем пройдет. Но когда по истечении двух лет, Амаранта Урсула чувствовала себя в Макондо такой же ублаготворенной, как в первый день, Гастон начал проявлять признаки беспокойства. К этому времени он переловил и засушил всех насекомых, какие там только водились, научился говорить по-испански, как местный житель, и решил все кроссворды во всех полученных по почте журналах. Но сослаться на климат, чтобы оправдать отъезд, он не мог, так как природа наградила его поистине тропическим здоровьем и ему была нипочем и удушающая жара в часы сиесты, и зараженная паразитами вода. А креольская кухня ему так пришлась по нраву, что как-то за один присест он съел яичницу из восьмидесяти яиц игуаны. Амаранта Урсула не в пример ему предпочитала привозные замороженные устрицы и рыбу, мясные консервы и засахаренные фрукты, составлявшие ее единственную пищу, и все так же одевалась на европейский манер и получала по почте журналы мод, хотя ей некуда было ходить и некого навещать, а у мужа не было настроения восхищаться в этих дебрях ее короткими юбками, ее шляпками «фик-фок на один бок» и ожерельями по семь ниток каждое. Секрет ее бодрости состоял, видимо, в том, что она всегда находила себе дело, решая домашние проблемы, которые сама же и создавала, берясь за все подряд и добросовестно все портя, чтобы назавтра исправлять собственные ошибки. Фернанда несомненно увидела бы тут наследственный порок: созидать, чтобы разрушать. Неугомонная жизнерадостная Амаранта Урсула была такова, что когда она получала новые пластинки, то всегда тащила Гастона в залу и допоздна учила его новым танцам, все па которых ей на бумаге чертили подруги по колледжу, а уроки обычно заканчивались приступами любви, которой они занимались в венском кресле-качалке или на голом полу. Для полного счастья ей не хватало только детей, но у них был с мужем уговор: завести их не раньше чем через пять лет после свадьбы.

Не зная, чем заполнить пустоты жизни, Гастон забредал по утрам в комнату Мелькиадеса поговорить с нелюдимым Аурелиано. Он с удовольствием вспоминал самые укромные уголки родимой земли, которые Аурелиано так хорошо знал, будто сам не раз бывал там. Когда Гастон спросил его, откуда он знает о том, чего нет в энциклопедии, в ответ услышал то же, что и Хосе Аркадио: «Всем все известно». Кроме санскрита Аурелиано выучил английский и французский языки, разбирался в латыни и греческом. Поскольку теперь он ежедневно выходил из дому и получал каждую неделю от Амаранты Урсулы деньги на мелкие расходы, его комната стала походить на филиал книжной лавки ученого каталонца. До поздней ночи жадно глотал затворник одну книгу за другой, хотя по тому, как он отзывался о прочитанном, Гастону подумалось, что книги ему нужны не для пополнения знаний, а для подтверждения известных ему истин и что по-настоящему его интересуют только пергаменты, которым он дарит лучшие утренние часы. И Гастону, и его супруге

хотелось бы сделать Аурелиано действительно членом семьи, но он был человеком герметичным, витающим в мистических облаках, которые год от году сгущались. Эту толщу нельзя было пробить, все попытки Гастона сблизиться с Аурелиано потерпели фиаско, и вскоре ему пришлось искать другое развлечение, чтобы убивать свободное время. Именно в эту пору им овладела мысль доставлять в Макондо почту по воздуху.

Замысел был не нов, сказать по правде, уже почти созрел, когда Гастон познакомился с Амарантой Урсулой, но тогда в виду имелось не Макондо, а Бельгийское Конго, где семья Гастона вложила капиталы в производство кокосового масла. Женитьба и решение провести несколько месяцев в Макондо, чтобы доставить удовольствие супруге, заставили его отложить осуществление проекта. Но когда он увидел, что Амаранта Урсула собирается возглавить правление по благоустройству города и высмеивает его намеки на желаемый возврат в Европу, он понял, что они застряли здесь всерьез и надолго, и возобновил переговоры со своими давними партнерами в Брюсселе, полагая, что престиж идеи не пострадает от того, осуществлена ли она в Африке или в Южной Америке. Оформление бумаг шло своим чередом, а Гастон тем временем устроил посадочную площадку на старых зачарованных землях, которые в ту пору представляли собой усыпанную камнями равнину, изучил направление ветров, контуры побережья и наметил самые удобные пути для воздушных перевозок, не ведая, что его бурная деятельность, напоминавшая хлопоты мистера Герберта, рождала в городке обоснованные опасения: не намерен ли он сажать бананы, пролагая авиамаршруты для отвода глаз? Всецело увлеченный своей затеей, которая к тому же как бы оправдывала его решение обосноваться в Макондо, он несколько раз побывал в столице провинции, нанес визиты властям, получил лицензию на исключительное право полетов и заключил контракт. Тем временем он упорно переписывался со своими брюссельскими компаньонами, подобно тому как Фернанда со своими заочными целителями, и в конце концов убедил их отгрузить первый аэроплан под ответственность опытного механика, который снабдил летательный аппарат всем необходимым в ближайшем порту и по воздуху доставит в Макондо. Спустя год с начала первых метеорологических наблюдений и расчетов, веря горячим посулам своих компаньонов, Гастон стал приобретать привычку прогуливаться по городу в ожидании аэроплана, поглядывая на небо и прислушиваясь к подвываниям бриза.

Хотя Амаранта Урсула этого и не замечала, ее возвращение коренным образом изменило жизнь Аурелиано. После смерти Хосе Аркадио он дня не пропускал, чтобы не побывать в книжной лавке ученого каталонца. Кроме того, полученная свобода и остававшееся от занятий время пробудили в нем известное любопытство к городу, с которым он знакомился, ничем не поражаясь. Аурелиано ходил по одиноким пыльным улицам, осматривал скорее с научным, нежели с чисто человеческим интересом внутренность разрушенных домов, металлические сетки на окнах, красные от ржавчины и крови погибших птиц, глядел на горожан, прибитых тяжкими воспоминаниями. Он пытался восстановить в воображении великолепие города времен Банановой компании, на территории которой высохший бассейн был теперь доверху заполнен полусгнившими мужскими ботинками и женскими туфлями, а в одном из коттеджей, задушенных дикой зеленью, лежал скелет немецкой овчарки, все еще прикованной стальной цепью к кольцу, и стоял телефон, который все звонил, звонил, звонил, пока Аурелиано не поднял трубку и не услышал далекий тревожный голос женщины, сыпавшей вопросами по-английски. Он ее понял и ответил: да, мол, забастовка кончилась, три тысячи убитых выкинуты в море, Банановой компании след простыл, а Макондо живет в

мире и согласии уже многие годы. Эти экскурсии привели Аурелиано в заглохший квартал публичных домов, где в былую пору пачками жгли денежные купюры, чтобы поддать жару кумбиямбе, а теперь уныло переплетались улицы, утыканные жалкими и обшарпанными домами, на которых еще кое-где горели красные фонари, и в пустых залах для танцев, украшенных обрывками гирлянд, сидели обрюзгшие ничейные вдовы, французские прабабушки и вавилонские матриархессы и скучали у примолкших виктрол. Аурелиано не встретил никого, кто знал бы его семью, хотя бы полковника Аурелиано Буэндию, за исключением самого древнего из антильских негров, старца с хлопково-белой головой, похожего на фотонегатив, все так же распевающего на пороге своего дома печальные псалмы в вечерних сумерках. Аурелиано разговаривал с ним на тарабарском папьяменто, который освоил за несколько недель, а иногда угощался у него похлебкой из петушиных голов, которую готовила его правнучка, здоровенная негритянка, крупнокостная и большезадая, с грудями – парой живых дынь и с круглой, как шар, головой в твердом капоре проволочно-жестких волос, похожем на подшлемник средневекового воина. Ее звали Дьяволица. В эту пору Аурелиано перебивался с хлеба на воду, продавая столовые приборы, подсвечники и всякие домашние безделушки. Когда в кармане не было ни сентаво, что случалось частенько, ему удавалось в тавернах при рынках заполучать петушиные головы, прежде чем их выкинут на помойку, и он относил добычу Дьяволице, чтобы она варила похлебку, заправленную портулаком и сдобренную мятой. Когда прадед скончался, Аурелиано перестал к ним ходить, но виделся с Дьяволицей под темными миндалями на площади, где своим мяуканьем дикой кошки она приманивала полуночников. Частенько Аурелиано прогуливался вместе с ней, болтая на папьяменто о бурде из петушиных голов и о других деликатесах нищеты, и продолжал бы свои прогулки, если бы она не дала ему понять, что своим присутствием он отпугивает клиентов. Хотя иной раз ему и самому хотелось поддаться искусу и хотя Дьяволица сочла бы это естественным завершением их разделенной безотрадности, он не спал с ней. Так что Аурелиано был непорочным агнцем, когда Амаранта Урсула вернулась в Макондо и по-родственному прижала его к груди, от чего у него сперло дыхание. Всякий раз, как он ее видел, да если она еще учила его модным танцам, он чувствовал слабость в коленках, ноги рыхлели, как губка, а голова шла кругом, как у его прадеда, когда Пилар Тернера заманила того своими картами в кладовую. Стараясь одолеть мучения, он еще глубже зарывался в пергамент и увертывался от невинных ласк своей тети, которая ночи напролет заставляла его изливать струи терзаний, но чем больше он ее избегал, тем больше жаждал слышать ее дробный смех, ее долгие стоны и благодарное мурлыканье счастливой кошки, которая может исходить любовью во всякое время и в самых немыслимых местах. Однажды ночью, метрах в десяти от его кровати, лихо ерзая на стеклянной стойке для ювелирных работ, супруги раздавили стекло и завершили любовь в луже соляной кислоты. Аурелиано не только не заснул ни на минуту, но и весь следующий день бродил, как в жару, рыдая от ярости. Он не мог дождаться той ночи, когда отправится к Дьяволице под сень миндальных деревьев, поеживаясь от ледяных мурашек неуверенности, зажав в кулаке полтора песо, взятых у Амаранты не столько потому, что он в них нуждался, сколько для того, чтобы хоть как-то унизить, опозорить ее, впутать в свой блуд. Дьяволица подтолкнула его к своей комнатушке, освещенной свечами фальшивой святости, к своей койке с холстом, засаленным грязной любовью, и к своему телу бесстыжей суки, бездушной и бесчувственной, которая была готова быстро разделаться с ним, как с испуганным мальчишкой, но вдруг наткнулась на мужчину, чья ужасающая мощь заставляла ее чрево

податливо приноравливаться к вулканическим колебаниям.

Они стали любовниками. Аурелиано по утрам расшифровывал пергамент, а в часы сиесты входил в усыпительную спаленку, где ждала Дьяволица, чтобы научить его делать сначала как черви, потом как кроты и, наконец, как звери в клетке, пока не отрывалась от него, чтобы уберечься от явной чрезмерности. Прошли недели, прежде чем Аурелиано заметил у нее на талии поясок вроде бы из виолончельной струны, но крепкий, как сталь, и без застежки, ибо Дьяволица в нем родилась и выросла. Почти всегда между любовными приступами они нагишом что-нибудь жевали на койке в дурманной жаре под дневными звездами, которые ржавчина дырками рассыпала на цинковой крыше. Впервые в жизни у Дьяволицы был постоянный мужчина, «твердый забивала», как она выражалась, давясь от смеха, и даже стала мягчеть сердцем, но Аурелиано рассказал ей о своей тайной страсти к Амаранте Урсуле, от чего ему не излечиться никакой подменой, а наоборот, у него тем больше крутит внутри, чем скорее приходит опыт, раздвигающий горизонты блаженства. После этого Дьяволица продолжала принимать его со своим всегдашним пылом, но стала требовать плату за услуги с такой строгостью, что, когда у Аурелиано не оказывалось денег, она отмечала его очередной долг – не цифрой, а царапиной ногтем большого пальца – на внутренней стороне двери. К ночи, когда она лавировала в тени возле площади, Аурелиано шел по галерее к себе, как чужой, почти не обращая внимания на Амаранту Урсулу и Гастона, которые обычно ужинали в этот час, и снова запирался в комнате, не будучи в силах ни читать, ни писать, ни даже думать из-за мучительного беспокойства, которое у него вызывали смех, шепот, предваряющая возня, а затем взрывчатая агония счастья, пронзающая ночную тишину. Так он жил два года до той поры, когда Гастон стал ждать прибытия аэроплана, и все так же днем посещал книжную лавку ученого каталонца, где однажды встретил четырех молодых пустозвонов, с пеной у рта споривших о том, чем травили тараканов в Средние века. Старый книготорговец, знавший о пристрастии Аурелиано к фолиантам, которые прочел один лишь Беда Достопочтенный, по-отцовски уговорил того – не без задней мысли – выступить третейским судьей в их диспуте, и Аурелиано на одном дыхании прочел им лекцию о том, что тараканы – самые древние жесткокрылые насекомые на земле – уже в Ветхом Завете упомянуты как излюбленные жертвы тех, кто давил Божьих тварей сандалиями, но весь род тараканий нельзя взять решительно никаким измором, не поддаются они никакой отраве – ни резаным томатам с борной кислотой, ни сладкому печенью, ибо тысяча шестьсот три их разновидности устояли против всех самых давних, самых упорных и жестоких гонений, которым люди подвергали начиная с каменного века какие-либо живые существа, включая самих себя, и особо надо отметить, что если роду человеческому приписывается неодолимый инстинкт размножения, то человеку следует приписать еще более неодолимое и ярко выраженное стремление убивать тараканов, и если последним удалось спастись от человеческого изуверства, то лишь по той причине, что тараканы прячутся в темноте, где им не грозит опасность, ибо страх тьмы – врожденное свойство человека, но зато в лучах ясного дня тараканы становятся уязвимы, а потому и в Средневековье, и в нынешнюю эпоху, и во веки веков единственным действенным методом борьбы с тараканами остается их ослепление солнечным светом.

Подобный энциклопедический фатализм положил начало большой дружбе. Аурелиано каждый день встречался с четырьмя спорщиками, которых звали Альваро, Херман, Альфонсо и Габриель, – его первыми и последними друзьями в жизни. Для такого человека, как он, знавшего лишь книжную действительность, эти кипучие дискуссии, начинавшиеся в шесть

часов в книжной лавке и завершавшиеся в борделях к рассвету, стали настоящим откровением. До той поры он и думать не смел, что литература может служить самой увлекательной игрой, придуманной для того, чтобы позабавиться над людьми, как заявил Альваро одной бурной ночью. Лишь спустя некоторое время Аурелиано сообразил, что такое произвольное толкование было основано на убеждениях ученого каталонца, для которого вся ученость выеденного яйца не стоит, если она не помогает сготовить новое блюдо из турецкой фасоли.

Тем вечером, когда Аурелиано прочел лекцию о тараканах, дискуссия закончилась у девочек, которые продавали себя с голоду в каком-то вымышленном борделе на окраине Макондо. Хозяйка, улыбчивая святоша, была одержима манией открывать и закрывать двери. Ее растянутый в улыбке рот, казалось, выражал довольство глупостью клиентов, принимавших всерьез заведение, существовавшее лишь в воображении, ибо там даже осязаемые предметы не были самими собой: мебель разваливалась от прикосновения, виктрола отдала свое пустое чрево курице, сидевшей на яйцах, сад пестрел бумажными цветами, толстые газеты были датированы числом до рождения Банановой компании, а литографии на стенах вырезаны из журналов, которые никогда не издавались. Чистым блефом были и робкие потаскушки, прибегавшие из соседних домов, когда хозяйка им подавала знак, что пришли гости. Девочки являлись, не здороваясь, в цветастых платьицах пятилетней давности, из которых они выросли и которые снимали так же просто, как и надевали, а в пароксизме страсти удивленно попискивали: «Ой-ой-ой! Ох, потолок обрушился!» – и, получив свои полтора песо, тут же отдавали деньги за кусок хлеба с сыром, который им продавала хозяйка, улыбаясь еще шире, потому что только ей было известно: эта еда – не еда. Аурелиано, чей тогдашний мир начинался с пергаментов Мелькиадеса и кончался койкой Дьяволицы, прошел в этом невсамделишном борделике некий курс лечения от робости. Сначала у него ничего не получалось в этих комнатушках, куда хозяйка входила как раз тогда, когда подкатывал самый сладкий момент, и начинала отпускать всякого рода похвалы интимным способностям обоих действующих лиц. Но потом Аурелиано так свыкся с мелкими жизненными неурядицами, что одной далеко не самой удачной ночью он, бросив одежду в гостиной, стал голым бегать по дому, жонглируя бутылкой пива на своей капризной мужской принадлежности. Именно он ввел в моду разные экстравагантные выходки, на которые хозяйка взирала со своей вечной улыбкой, не возражая, не веря им, как не верила тому что Херман пытался поджечь ее дом, желая доказать, что такового не существует, что Альфонсо свернул шею попугаю и бросил его в кастрюлю, где начинал закипать куриный суп.

Хотя сердцу Аурелиано были близки и дороги все четверо друзей и порой он думал о них, как об одном человеке, ближе других ему был Габриель. Симпатия родилась однажды вечером, когда он случайно упомянул о своем родственнике, полковнике Аурелиано Буэндии, и Габриель оказался единственным, кто поверил, что друг не шутит. Даже хозяйка, которая обычно не вмешивалась в их разговоры, объявила с запальчивой категоричностью уличной балаболки, что полковник Аурелиано Буэндия, о котором она и вправду как-то слышала, был просто выдуман правительством, чтобы убивать либералов. Габриель, напротив, ничуть не сомневался в том, что полковник Аурелиано Буэндия существовал, потому что тот был товарищем по оружию и закадычным другом его, Габриеля, прадеда – полковника Херинельдо Маркеса. Особо странные коленца выкидывала людская память, когда речь заходила о массовом убийстве рабочих. Всякий раз, когда Аурелиано заговаривал об этом, не

только хозяйка борделя, но и люди постарше ее отвергали гнусную ложь о расстреле рабочих в западне у вокзала и о составе в двести вагонов, набитых трупами, и, более того, упорно повторяли, что тут вообще не было никакой Банановой компании, ссылаясь, ко всему прочему, на выводы следственной комиссии и на учебники начальной школы. Так что Аурелиано и Габриель стали еще и сообщниками, единомыслие которых скреплялось действительно имевшими место событиями, в которые никто не верил и которые до такой степени были неотделимы от существования двух друзей, что обоих не накрыла откатная волна прибоя, не оставившая от конченого мира ничего, кроме ностальгии по прошлому. Габриель ночевал где придется. Аурелиано помещал его несколько раз в ювелирной мастерской, но тот не мог там уснуть, прислушиваясь к копошению мертвецов в спальнях до самого рассвета. Позже Аурелиано отвел друга к Дьяволице, которая пускала его в свою общедоступную комнатушку, когда бывала одна, и отмечала вертикальными царапинами его долги за дверью на местечке, свободном от долгов Аурелиано.

Несмотря на свою беспутную жизнь, все четверо пытались заняться и путным делом, по настоянию ученого каталонца. Он, со своим опытом старого профессора классической филологии, обрушил на них гору антикварных изданий и сумел заставить их просидеть ночь за книгами в поисках тридцать седьмой сцены какой-то трагедии – и это в городке, где уже ни у кого не было ни желания, ни возможностей знать больше ученика начальной школы. Открывший радость дружбы, обалдевший от освоения прелестей мира, закрытого для него ханжеством Фернанды, Аурелиано забросил пергаменты, причем тогда, когда стал приоткрывать завесу над пророчествами, зашифрованными в стихах. Но, убедившись позже, что времени хватает на все, включая бордели, он надумал вернуться в комнату Мелькиадеса и решил не сдаваться, пока не откроет всей тайны шифра. Это случилось в те дни, когда Гастон стал отправляться на прогулки в ожидании аэроплана и Амаранта Урсула почувствовала себя такой одинокой, что однажды утром заглянула в комнату к Аурелиано.

– Привет, каннибал, – сказала она. – Значит, ты опять в пещере.

Она была неотразима в своем фантазийном платье с длинными ожерельями из позвонков рыбы-бешенки, нанизанных на нитки ею самой. Муж, доказавший свою верность, был спущен с поводка, и впервые после возвращения домой ей представилась возможность побездельничать. Аурелиано не надо было видеть ее, чтобы чувствовать ее присутствие. Нагнувшись, она поставила локти на его стол, такая близкая, такая беззащитная, что Аурелиано расслышал глубинный шорох своих костей и зарылся в пергаменты. Стараясь преодолеть смущение, он поймал свой голос, ускользавший от него, уцепился за жизнь, оставлявшую его, оживил память, затвердевшую, как коралл, и стал рассказывать ей о священном предназначении санскрита, о научно основанной возможности видеть будущее, просвечивающее сквозь время, как просвечивают на солнце буквы, написанные на обороте листа, о необходимости познать пророчества чтобы они не обернулись проклятиями; говорил о «Столетиях» Нострадамуса и о гибели Кантабрии, предсказанной Сан Милланом. Внезапно, не прерывая своей речи, движимый импульсом, дремавшим в нем с рождения, Аурелиано сжал рукой ее локоть, надеясь своим решительным жестом положить конец внутреннему волнению. Но она ухватилась за его указательный палец с ласковым простодушием, как не раз бывало в детстве, да так и держала, пока племянник отвечал на ее вопросы. Их соединял ледяной указательный палец, который ни о чем не говорил ни в каком смысле, пока она вдруг не очнулась и не хлопнула себя по лбу. «Ой, муравьи!» – воскликнула она. И, забыв о манускриптах, устремилась к двери танцующей походкой и с порога послала

Аурелиано кончиками пальцев такой же воздушный поцелуй, каким прощалась с отцом в день своего отъезда в Брюссель.

– Потом доскажешь, – бросила она. – Совсем забыла, что сегодня надо залить известью муравьиные дыры.

Она заходила к нему время от времени, мимоходом, на считанные минуты, пока муж со вниманием озирал небо. Аурелиано, воодушевленный таким видимым благорасположением, стал снова обедать дома, чего не делал с первых месяцев появления Амаранты Урсулы. Гастон был этому рад. В послеобеденных беседах, продолжавшихся порой больше часа, он жаловался Аурелиано, что компаньоны его надувают. Они сообщили об отправке аэроплана пароходом, который никак не приходит, и, хотя морские агентства уверяют, что пароход вообще не придет, поскольку не фигурирует в расписаниях карибских пароходств, партнеры настаивают на своем, мол, отгрузка имела место, и даже допускают, что Гастон их дурачит своими запросами. Взаимные обвинения достигли в переписке такого накала, что Гастон решил больше не посылать писем и стал подумывать о том, чтобы спешно съездить в Брюссель, все выяснить и вернуться с аэропланом. Однако этот план был отставлен, как только Амаранта Урсула объявила о своем намерении не трогаться из Макондо, даже если это стоило бы ей потери мужа. Первое время Аурелиано разделял общее мнение, что Гастон – дурак на велосипеде, и даже испытывал к нему нечто вроде жалости. Позже, углубив в борделях свое знание природы мужчин, он объяснял послушание Гастона тем, что тот не может справиться со своей бешеной страстью. Но когда Аурелиано познакомился с Гастоном ближе и увидел, что не в характере фламандца покоряться кому-либо и чему-либо, в душу закралось подозрение, что и ожидание аэроплана – тоже фарс. Ему подумалось, что Гастон не так глуп, как представляется, напротив, это человек упорный, сообразительный и с огромной выдержкой, решивший добиться, чтобы жену одолела скука от вечного ей потворства, от пресыщения его безграничной податливостью и мнимой покорностью и чтобы она запуталась в собственных сетях, в один прекрасный день захотела бы избавиться от иллюзорной вседоступности и удовлетворенности, сама схватила бы чемоданы и вернулась в Европу. Прежняя жалость Аурелиано заменилась злобным отвращением. Расчет Гастона показался ему таким подлым и в то же время таким верным, что он отважился предупредить Амаранту Урсулу. Но она только посмеялась над его домыслами, ничем не выдав, как сама терзается собственной беспокойной любовью, неуверенностью в муже, ревностью. Ей в голову не приходило, что она внушает Аурелиано чувство далеко не братской любви, до того часа, когда поранила себе палец, открывая банку консервированных персиков, и он бросился высасывать кровь из ранки так жадно и самозабвенно, что у Амаранты Урсулы волосы на голове зашевелились.

– Аурелиано! – рассмеялась она деланно. – Из тебя не получится добрый вампир, ты ведь злюка.

И тут Аурелиано не выдержал. Опасливо щекоча поцелуями ладонь раненой руки, он открывал перед ней все закоулки своей души, вывертывал наизнанку нутро, обнажал свою неохватную и умерщвленную суть, своего страшного зверя-хищника, взращенного мучениями. Он рассказал ей, как вставал по ночам и рыдал от бессильной ярости, зарывшись лицом в ее белье, которое сушилось в купальне. Рассказывал, как страстно умолял Дьяволицу стенать по-кошачьи и прерывисто шептать ему на ухо: «Гастон, Гастон, Гастон», и сколько ловкости требовалось, чтобы красть духи из ее флаконов, а потом снюхивать этот запах с девчонок, отдававшихся с голоду. Испуганная страстностью его излияний, Амаранта

тихо скрючивала пальцы, и ее ладонь закрылась, как раковина, а кровоточащий кулачок, выжав из себя всю боль и все до капли сострадание, превратился в каменный комок изумрудов, топазов и бесчувственных костяшек.

– Дрянь! – сказала она, как плюнула. – Я еду в Бельгию с первым же пароходом.

Альваро в один из этих дней пришел в лавку ученого каталонца, громко возвещая о своем последнем открытии: «Зоологический бордель!» Заведение называлось «Золотой мальчик» и представляло собой огромный салон под открытым небом, где на воле стаями разгуливали серые выпи, отмечая каждый час оглушительным уханьем. В проволочных вольерах, окружавших танцевальную площадку, среди огромных амазонских камелий обитали цветные цапли и гладкие, как свиньи, крокодилы и гремевшие дюжиной погремушек змеи, а черепаха с золоченым панцирем барахталась в крохотном искусственном океане. Жил там и пес, белый кроткий педераст, который нехотя оказывал услуги, лишь бы ему дали поесть. Воздух был девственно плотен, словно только что сотворен, а прекрасные мулатки, которые в безнадежном ожидании сидели под кровавыми лепестками цветов, слушая старомодную патефонную музыку, хорошо знали ремесло любви, про которое человек забывал в подобном земном раю. Первой же ночью, когда приятели явились на это пастбище иллюзий, роскошная и грустная старуха, сидевшая у входа в плетеном кресле-качалке, почувствовала, что время возвращается к своим истокам, когда среди пятерых гостей приметила долговязого бледно-желтого мужчину с монгольскими скулами, помеченного навсегда и с первого дня мироздания оспинами одиночества.

– Ох! – выдохнула она. – Аурелиано!

Она снова увидела полковника Аурелиано Буэндию, как тогда, при свете лампы, задолго до всех войн, задолго до помрачения его славы и бегства в разочарование, тем далеким утром, когда он вошел в ее спальню, чтобы отдать свой первый приказ в жизни, приказ, чтобы его любили. Это была Пилар Тернера. Несколькими годами раньше, когда ей исполнилось сто сорок пять лет, она отказалась от вредной привычки считать свои годы и продолжала жить в неподвижном времени, отлученном от воспоминаний, в совершенно определенном и ясном будущем, не имеющем ничего общего с тем будущим, которое мутят злокозненные предсказания и предостережения гадальных карт.

С этой самой ночи пристанищем для Аурелиано стали душевное тепло и понимание незнакомой прабабки. Сидя в плетеном кресле-качалке, она вспоминала прошлое, живописала взлет и падение семьи Буэндия, рухнувшее великолепие Макондо, а в это время Альваро пугал крокодилов внезапным гоготом, Альфонсо придумывал страшную историю о том, как выпи на прошлой неделе выклевывали глаза четырем клиентам, которые плохо себя вели, а Габриель навещал меланхоличную мулатку, которая брала за любовь не деньгами, а просила писать письма ее жениху-контрабандисту, которого схватили на том берегу Ориноко после того, как пограничники дали ему слабительное и посадили на горшок, а потом нашли бриллианты в куче говна. Этот натуральный бордель с его по-матерински доброй хозяйкой был тем миром, о котором мечтал Аурелиано в своем затянувшемся отшельничестве. Он чувствовал себя там так хорошо, что почти не желал лучшего общества и не думал об ином прибежище в тот день, когда Амаранта Урсула скинула его с небес на землю. Ему страстно захотелось избавиться от душивших его слов, подставить грудь, чтобы кто-нибудь развязал тугие канаты, но он смог только разрыдаться облегчающими сердце горючими слезами, зарыв лицо в колени Пилар Тернеры. Она дала ему выплакаться, ероша его волосы кончиками пальцев, и не ждала признания, что плачет он от любви – ей хорошо был знаком

этот самый древний плач в истории человечества.

– Ну хватит, малыш, – утешала она. – Лучше скажи, кто она.

Когда Аурелиано сказал, у Пилар Тернеры вырвался смешок из самой глубины груди, откуда прежде вырывался колокольчатый смех, со временем ставший куриным клохтаньем. Не было у мужчин из рода Буэндия от нее сокровенных тайн, потому что вековой карточный и жизненный опыт убедил ее, что история этой семьи – сцепление неизбежных повторов, кружение колеса, которому вовеки б не остановиться, если бы не подгнивала ось, все быстрее, все неизбежнее.

– Зря волнуешься, – усмехнулась она. – Где бы ей сейчас ни быть, она тебя ждет.

В половине пятого Амаранта Урсула вышла из купальни. Аурелиано видел, как она прошла мимо его комнаты в плиссированном капоте, с полотенцевым тюрбаном на волосах. Он последовал за ней, крадучись, пошатываясь от дурмана, и вошел в супружескую спальню как раз тогда, когда Амаранта Урсула распахнула капот и в ужасе снова прикрылась полой. Она молча кивнула на соседнюю комнату с приоткрытой дверью, где, как знал Аурелиано, Гастон сидел и писал письма.

– Уходи, – сказала она беззвучно.

Аурелиано улыбнулся, поднял ее обеими руками за талию, как вазу с бегониями, и бросил спиной на постель. Одним жадным рывком разорвал пеньюар, не дав ей опомниться, и оказался над пропастью наготы еще влажного тела, где не было такого оттенка кожи, такого островка волос, такой скрытой родинки, каких бы он не рисовал себе во мраке других комнат. Амаранта Урсула защищалась по-настоящему, как многоопытная самка, извиваясь всем своим по-куньи увертливым, гибким и ароматным телом, одновременно молотя коленками ему по почкам и жаля щеки ногтями-скорпионами, но притом ни она, ни он не испускали таких вздохов, ровную череду которых нельзя было бы не принять за дыхание человека, любующегося у открытого окна мягкими апрельскими сумерками. Это был страшный поединок, не на жизнь, а на смерть, хотя, казалось, насилия не было и в помине, ибо волны агрессии накатывали так мерно, а ускользания были столь иллюзорны, неспешны, осторожны и царственны, что между тем и другим вполне могли снова расцвести петунии, а Гастон – в соседней комнате – забыть о своем воздухоплавании: будто бы двое любовников-врагов старались примириться на дне прозрачной купели. На ухабистом пути своего упорного и церемонного сопротивления Амаранта Урсула вдруг поняла, что ее усердная молчаливость так противоестественна, что грозит гораздо большими неприятностями, если бы нагрянул муж, чем явный шум сражения. И тогда она стала хихикать с плотно сжатыми губами, не сдаваясь в борьбе, но уже защищаясь нарочитыми укусами и мало-помалу уменьшая амплитуду изгибов тела, пока оба внезапно не ощутили себя одновременно и противниками и соучастниками и схватка не свелась к почти согласованным шалостям, а наскоки не превратились в нежности. Вдруг, будто еще играя с ним, будто готовя подвох, Амаранта Урсула расслабилась, а когда спохватилась, испугавшись, что прозевала, было уже слишком поздно. Мощнейший нажим пресек колебания ее центра тяжести, пригвоздил к месту, а ее воля к самозащите была сокрушена собственным бешеным желанием знать, какие оранжевые шорохи и невидимые миры ждут ее по ту сторону смерти. Она едва успела вытянуть руку, схватить вслепую полотенце и прикусить его зубами, чтобы не вырвался наружу кошачий визг, распиравший ее нутро.

Пилар Тернера умерла в плетеном кресле-качалке у входа в свой рай одной праздничной

ночью. Исполняя последнюю волю покойницы, ее похоронили не в гробу, а так, как она хотела, в качалке, которую восемь человек опустили на канатах в большую яму, вырытую в центре танцевального круга. Мулатки, одетые в черное, побледневшие от слез, воспроизвели свой обычный ритуал: сняли кольца, браслеты, серьги и на сей раз бросили их в могилу, которая затем была придавлена камнем без имени и даты под копной амазонских камелий. Отравив ядом всех птиц и животных, красотки заложили двери и окна кирпичами с цементом и разбрелись по свету со своими деревянными сундучками, оклеенными изнутри изображениями святых, цветными журнальными картинками и портретами эфемерных женихов, далеких, придуманных, которые гадят бриллиантами, пожирают людоедов или слывут картежными королями где-то за морем.

Это был конец. В могиле Пилар Тернеры, среди молитвенников и мишуры проституток, будут гнить ошметки прошлого, то малое, что осталось после того, как ученый каталонец продал с торгов свою книжную лавку и вернулся в родную средиземноморскую деревушку, вконец измученный тоской по незабвенной весне. Никто не ожидал его отъезда. Он появился в Макондо в пору преуспевания Банановой компании, спасаясь от какой-то войны, и не нашел лучшего и более надежного дела, чем торговля фолиантами, набранными вручную до изобретения книгопечатания, и другими старинными разноязычными изданиями, которые опасливо – словно книги были найдены в отхожем месте – листали случайные посетители, ожидая своей очереди к толкователю снов в соседнем доме. Полжизни провел старик каталонец в жаркой клетушке, царапая фиолетовыми чернилами каракули с изысканными завитками на листках, вырванных из школьных тетрадей, но никто не ведал, о чем он пишет. Когда Аурелиано с ним познакомился, два ящика были уже забиты доверху пестрыми листками, которые в чем-то имели сходство с манускриптами Мелькиадеса, и с той поры до самого отъезда старик сумел заполнить своими писаниями третий ящик, а потому вполне можно было предположить, что за время своего пребывания в Макондо он ничего иного не делал. Единственными людьми, с которыми старик общался, были четверо приятелей. Им, когда они еще учились в начальной школе, он дарил волчки и бумажных змеев, чтобы пристрастить к чтению, научить понимать Сенеку и Овидия. С классиками он обращался по-свойски, будто жил с ними когда-то бок о бок и узнал про них много такого, чего, в общем, не следует знать, например, что святой Августин носил под монашеским облачением шерстяную душегрейку, которую не снимал четырнадцать лет, и что маг и целитель Арнальдо де Виланова был с детства импотентом после укуса скорпиона. Страсть каталонца к рукописному слову сочетала в себе величайшую почтительность с полнейшим к нему небрежением. К собственным писаниям он относился точно так же. Альфонсо, выучив каталонский язык, чтобы разобраться в листках, рассовал их, свернув в трубку по карманам, всегда набитым вырезками из газет и всяких странных пособий, как-то ночью потерял сочинения в борделе у девочек, продававших себя с голоду. Когда ученый старик узнал об этом, то отнюдь не разгневался, а, давясь от смеха, ограничился замечанием, что такова обычная судьба литературы. С другой стороны, не в силах людских было запретить ему взять с собой при возвращении в родную деревню три больших ящика с книгами. Он обрушил на железнодорожных служащих, хотевших было затолкать их в багажный вагон, такую несусветную, взятую не иначе как из «Картахинеса» брань, что те сдались и позволили втиснуть ящики в купе. «Весь этот мир – не хвала, а хула ему в зад – на карачки встать должен, – рычал он, – и тоже не первым классом, а вместе с книгами в скотских вагонах ездить». Это было последнее, что от него слышали. Неделя приготовлений к отъезду

оказалась очень тяжелой, ибо по мере приближения решающего часа его настроение портилось на глазах, он все больше терялся и суетился, а вещи, которые ставил на одно место, вдруг оказывались совсем в другом, передвинутые теми самыми домовыми, которые издевались над Фернандой.

– Блядуны проклятые, – выходил каталонец из себя. – Плевал я на двадцать седьмой канон Лондонского синода.

Аурелиано и Херман взвалили все хлопоты на себя. Они опекали старика, как ребенка, положили ему в карманы и закололи английскими булавками билеты и иммиграционные бумаги, составили подробный перечень того, что ему надо сделать после выезда из Макондо и до прибытия в Барселону, и тем не менее он ухитрился выбросить на помойку штаны с половиной своих денег. Накануне отъезда, после того как ящики были забиты, а вещи уложены в тот же чемодан, с которым он приехал в Макондо, ученый каталонец прищурил свои веки-раковинки, вскинул руку над кучами оставшихся, утешавших его в изгнании книг, насмешливо их благословил и сказал своим друзьям:

– А это дерьмо я оставляю вам!

Спустя три месяца они получили в одном большом конверте двадцать девять писем и более пятидесяти фотографий, которые у него накопились за время безделья в открытом море. Хотя числа не были проставлены, порядок написания писем легко определялся. В первых посланиях старик со своим обычным юмором описывал перипетии морского путешествия, свои переживания в связи с тем, что второй помощник капитана – вышвырнул бы такого суперкарго к черту за борт – не позволил ему засунуть три ящика в каюту; невероятную дурость одной сеньоры, которая страшилась числа 13 не из-за суеверия, а потому, что это число, как ей казалось, почему-то не имеет конца, и рассказал о пари, которое он выиграл за первым же ужином, распознав, что вода на судне, отдающая ночным свекольным духом, припасена из источников Лериды. Однако шли дни, корабельный быт все меньше интересовал его, а самые обыденные и заурядные события недавнего прошлого все чаще всплывали в памяти, и, по мере того как судно удалялось от старых берегов, на сердце у него становилось тоскливее. Этот процесс явной ностальгизации был заметен и по его портретам. На первых старик выглядел счастливым в своей свободной рубахе и с белоснежной шевелюрой на фоне октябрьской пенной волны Карибского моря. На последних снимках он, в темном пальто с шелковым кашне, бледнолицый и угрюмо сосредоточенный, смотрел с палубы проклятого корабля, который лунатиком бредет в осенних туманах Атлантики. Херман и Аурелиано отвечали ему на письма. В первые месяцы старик присылал их столько, что казалось, будто он тут, рядом, ближе, чем был раньше, и что дома все по-старому, что в комнате, где он родился, еще лежит розовая раковина, что сушеная селедка на куске хлеба так же вкусна, как раньше, что от деревенских источников веет в сумерках таким же ароматом, как прежде. Это были все те же листки из тетради, разрисованные лиловыми каракулями, где каждому из друзей посвящались отдельные строки. Однако и притом, что сам он этого вроде бы не замечал, письма первых радостей и восторгов мало-помалу превращались в пасторали с долей разочарования. Зимними ночами, уставясь на суп, кипящий на очаге, он тосковал по жаре своей комнатушки за лавкой, по шелесту солнца в пропыленной листве миндалей, по паровозным свисткам в разгар сиесты – так же, как в Макондо он тосковал по супу, кипящему зимой на очаге, по выкрикам торговца молотым кофе и по весенним жаворонкам. Раздираемый двумя ностальгиями, каждая из которых отражалась в другой как в зеркале, он потерял свое чудесное ощущение

ирреальности и дошел до того, что стал советовать им всем уехать из Макондо, забыть все, чему он учил их, о мире и человеческих душах, послать в задницу Горация и всюду, где бы они ни оказались, всегда помнить, что прошлое – ложь, что у памяти нет путей назад, что все прежние весны ушли безвозвратно и что самая безрассудная и упорная любовь – всего-навсего преходящая истина.

Альваро был первым, кто внял совету покинуть Макондо. Он продал все, даже цепного ягуара, который из домашнего патио скалил зубы на прохожих, и купил бессрочный билет на поезд, который всегда был в дороге. Почтовые открытки с разных вокзалов несли его восторги от мимолетных видений, мелькавших за окошком вагона, будто летели от него обрывки швыряемой в забвение длинной поэмы быстротечности: призрачные негры на хлопковых плантациях Луизианы, крылатые кони на голубых лугах Кентукки, греческие любовники в кровавых сумерках Аризоны, девушка в ярком свитере, писавшая акварели у озера Мичиган и махнувшая ему кисточкой – не на прощание, а с надеждой, ибо не знала, что видит безвозвратный поезд. Потом, в субботу, уехали Альфонсо и Херман, с намерением вернуться в понедельник, но Аурелиано о них больше ничего не слышал. Через год после того, как уехал ученый каталонец, в Макондо из прежней компании оставался только Габриель, еще не знавший, куда податься. Он жил, пользуясь опасным добросердием Дьяволицы и регулярно отвечая на конкурсные вопросы какого-то французского журнала, обещавшего в качестве главной премии поездку в Париж. Аурелиано, получавший этот журнал, помогал ему находить ответы, иногда у себя дома, но чаще среди фаянсовых плошек в пропитанной валерьянкой единственной в Макондо аптеке, где жила Мерседес, тайная пассия Габриеля. Таковы были последние остатки прошлого, чья гибель не завершалась, ибо прошлое погибало, будто колеблясь, подтачивая себя изнутри, исчерпывая себя ежеминутно, но не будучи в состоянии исчерпаться раз и навсегда. Городок до того зачах, что, когда Габриель, выиграв конкурс, направился в Париж с парой башмаков, двумя сменами белья и полным собранием сочинений Рабле, ему пришлось махать рукой машинисту, чтобы поезд остановился и забрал его из Макондо. Старая Турецкая улица вконец опустела и стала местом, где последние арабы дожидались смерти, сидя у своего порога, не отступая от тысячелетнего обычая, хотя последний ярд ткани был продан много лет назад, а в темных витринах торчали одни обезглавленные манекены. Поселок Банановой компании, о котором, возможно, рассказывала Патриция Браун своим внукам по вечерам, с их нестерпимой скукой и маринованными огурцами, где-нибудь в Праттвилле (Алабама), превратился теперь в пустошь, поросшую бурьяном. Старый священник, заменивший отца Анхеля и чье имя ни для кого не представляло интереса, целыми днями лежал в гамаке брюхом кверху, ожидая, когда Господь Бог избавит его от артрита и тяжких сомнений, рождавших бессонницу, а тем временем крысы и ящерицы отвоевывали друг у друга право унаследовать соседний храм. В этом самом Макондо, забытом даже птицами и так плотно укрытом пылью и жарой, что было не продохнуть, Аурелиано и Амаранта Урсула, замурованные любовью и одиночеством, и одиночеством любви в доме, где трудно было заснуть под зубовный скрежет рыжих муравьев, были единственными счастливыми существами. Самыми счастливыми в мире.

Гастон вернулся в Брюссель. Не дождавшись аэроплана и потеряв терпение, он в один прекрасный день уложил в чемоданчик все самое необходимое, включая пачки писем, и убыл, обещая вернуться воздушным путем, прежде чем все его привилегии будут переданы группе немецких авиаторов, которые представили властям провинции план перевозок, более многообещающий, чем проект Гастона. С первого дня любви Аурелиано и Амаранта Урсула

использовали каждую минуту, которую проворонит супруг, чтобы остервенело любить друг друга при этих опасных встречах, которые почти всегда прерывались его возвращением. Но когда они остались в доме одни, то захлебнулись в наслаждениях без помех утоляемой похоти. Это была бешеная, сорвавшаяся с цепи страсть, заставлявшая кости Фернанды от ужаса греметь в гробу и державшая любовников в состоянии всегдашней готовности. Визги Амаранты Урсулы, ее песни в конвульсиях блаженства рвали тишину и в два часа дня в столовой, и в два часа пополудни в кладовке. «Нет, больше всего мне больно оттого, – смеялась она, – что мы потеряли столько времени». В угаре страсти она видела, как муравьи опустошают сад, утоляют свой доисторический голод деревянными опорами дома, видела поток живой лавы, снова разлившейся по галерее, но взялась за дело только тогда, когда угроза нависла над ее спальней. Аурелиано забросил пергаменты, из дому снова не выходил и кое-как отвечал на письма ученого каталонца. Они потеряли чувство реальности, ощущение времени, нарушили ритм повседневных привычек. Они снова закрыли окна и двери, чтобы не возиться с раздеванием и одеванием, и разгуливали по дому так, как всегда хотелось Ремедиос Прекрасной, и нагишом катались по грязи в патио, а однажды едва не пошли ко дну, когда принялись заниматься любовью в бассейне. За короткое время они нанесли дому больший урон, чем рыжие муравьи: разбили в щепы диваны в гостиной, до дыр протерли гамак, выдержавший все приступы тоскливой походной любви полковника Аурелиано Буэндии, разодрали матрацы, вывалив на пол их белое нутро, чтобы надрывно дышать в бурях пера и пуха. Хотя Аурелиано был таким же свирепым любовником, как его соперник, командовала в этом адском раю Амаранта Урсула, словно бы ее тяга к безрассудным выдумкам и страсть к сильным ощущениям, сконцентрированные в любви, возродили ту сумасшедшую энергию, которую ее прабабка тратила на леденцовых зверушек. Впрочем, пока она выводила рулады от наслаждения и умирала от смеха над своими вывертами, Аурелиано становился все более молчалив и рассеян, ибо его страсть гнездилась глубоко и жгла нутро. Тем не менее оба достигали таких высот виртуозности, что, исчерпав силы в экзальтации, они получали не меньше удовольствия от передышки. И затевали культовые игры со своими телами, находя, что антракты в любви имеют массу неиспользованных возможностей, куда больше, чем при достижении желаемого. В то время как Аурелиано смазывал яичным белком напруженные груди Амаранты Урсулы или умащивал кокосовым маслом ее эластичные ляжки и ее персиковый живот, она играла в куклы с его великолепным крепышом, рисовала на нем губной помадой глаза, как у клоуна, а тушью для ресниц – усы, как у турка, и надевала галстучки и шляпки из серебряной бумаги. Как-то ночью они обмазались абрикосовым джемом, лизали друг друга, как собаки, и безумствовали в любовном экстазе на полу в галерее, пока на них не накинулось полчище муравьев-мясоедов, готовых сожрать их живьем.

В свободное от любви время Амаранта Урсула отвечала на письма Гастона. Он казался ей таким далеким и забытым, что о его возвращении и не думалось. В одном из первых писем он сообщил, что его партнеры действительно отправили аэроплан, но морское агентство Брюсселя по ошибке отгрузило его в Танганьику, где летательный аппарат вручили кочевому племени макондо. Эта путаница породила огромные трудности: одни только поиски самолета могли затянуться года на два. Так что Амаранта Урсула исключила возможность неожиданного возвращения супруга. С другой стороны, для Аурелиано связь с внешним миром выражалась только в переписке с ученым каталонцем и в получении от Габриеля вестей, которые доставляла Мерседес, молчаливая аптекарша. Сначала вести

приходили регулярно. Габриель остался в Париже, возместив стоимость обратного билета продажей старых газет и пустых бутылок, которые выкидывали горничные из неказистого отеля на улице Дофина. Аурелиано мог себе легко представить приятеля, снимавшего свой свитер с высоким воротником-гармоникой только тогда, когда холмы Монпарнаса заполнялись весенними влюбленными, мог живо вообразить, как Габриель сидит днем и пишет ночью, стараясь одурачить голод, в комнате, пропахшей вареной цветной капустой, там, где, наверное, умер Рокамадур. Однако его послания становились все менее вразумительными, а письма от каталонца – все более редкими и грустными, и Аурелиано привык думать о них так же, как Амаранта Урсула думала о муже, и они оба продолжали плавать в пустой вселенной, где единственной радостью, повседневной и вечной, была любовь.

Настоящим взрывом в этом мире блаженного бездумия стало известие о возвращении Гастона. Аурелиано и Амаранта Урсула протерли глаза, копнули собственные души, глянули друг на друга и поняли, что стали чуть ли не единым целым и предпочли бы смерть разлуке. Тогда она отправила мужу письмо, где изложила обе правды, противоречившие одна другой: ей снова очень хотелось увидеть его и доказать свою любовь, но в то же время она считает, что само небо велит ей жить с Аурелиано. Вопреки тому, чего они ждали, Гастон прислал наставительный, почти отеческий ответ на двух страницах, предупреждая об изменчивой природе страсти, а напоследок коротко и ясно пожелал им быть такими же счастливыми, каким он был сам в своей недолгой супружеской жизни. Его шаг был настолько неожиданным, что Амаранте Урсуле стало дурно: она почувствовала себя оскорбленной мужем, которому сама же дала повод бросить себя на произвол судьбы. Еще больше она расстроилась через полгода, когда Гастон снова прислал письмо, из Леопольдвиля, где наконец отыскал аэроплан, и теперь просил – ни более ни менее – переправить ему его велосипед, который из всего того, что было им оставлено в Макондо, вызывал у него самые нежные чувства. Аурелиано терпеливо утешал обозленную Амаранту Урсулу, стараясь показать себя хорошим мужем и в бурю, и в штиль, а повседневные заботы, которые на них навалились, когда растаяли деньги Гастона, связали их чувством глубокой привязанности, которое не было таким ослепляющим и дурманным, как страсть, но позволяло любить друг друга и быть счастливыми, как в бурные времена похотливых забав. В ту пору, когда умерла Пилар Тернера, они ждали ребенка.

В тиши беременности Амаранта Урсула принялась мастерить на продажу ожерелья из рыбьих позвонков. Но, за исключением Мерседес, которая купила дюжину ниток, других охотников не нашлось. Аурелиано впервые в жизни осознал, что его способность к языкам, его энциклопедические знания, его феноменальный дар вспоминать мельчайшие детали неизвестных ему мест и событий так же бесполезны, как шкатулка с драгоценными камнями его жены, которые стоили, наверное, не меньше, чем все добро, которое было тогда у всех последних обитателей Макондо, вместе взятых. Хотя Амаранта Урсула не утратила ни своего жизнелюбия, ни своей склонности к любовным шалостям, она заимела привычку сидеть после обеда в галерее, проводя там бессонную, созерцательную сиесту. Аурелиано был вместе с ней. Иногда они так сидели и молчали до сумерек, совсем рядом, не спуская глаз друг с друга, любя в покое так же сильно, как прежде любили в буйстве. Неуверенность в своем будущем направляла их думы к прошлому. Они видели себя в раю, утонувшем в дожде, они шлепали босиком по лужам в патио, убивали ящериц и вешали их на Урсулу, играли в ее похороны, и эти воспоминания доказывали им, что они были счастливы вместе чуть ли не с

младенчества. Погружаясь в прошлое, Амаранта Урсула вспомнила тот день, когда она вошла в ювелирную мастерскую, а ее мать сказала ей, что маленький Аурелиано ничей сын, его нашли в корзине на реке. Хотя эта версия теперь казалась им маловероятной, у них не было оснований заменить ее более достоверной. Но зато, обсудив все «за» и «против», они были твердо уверены, что Фернанда не могла быть матерью Аурелиано. Амаранта Урсула предположила, что он сын Петры Котес, о которой в доме ходили самые грязные толки, и эта мысль неприятно резанула их по сердцу.

Уверенность в том, что жена приходится ему сестрой, все больше терзала Аурелиано, и он совершил набег на церковные книги, чтобы в полусгнивших, источенных жучками архивных страницах отыскать следы своего происхождения. Самая старая запись о рождении, которую он нашел, относилась к Амаранте Буэндия, крещенной уже в подростковом возрасте отцом Никанором Рейной в ту пору, когда тот старался доказать существование Бога при помощи манипуляций с чашкой шоколада. Аурелиано вдруг подумал, что он может быть одним из тех семнадцати Аурелиано, записи о рождении которых были разбросаны по четырем церковным книгам, но даты крещения были очень давними и не подходили ему по возрасту. Глядя, как он с трясущимися руками блуждает по лабиринтам кровных связей, святой отец-подагрик сочувственно обратился к нему из своего гамака и спросил, как его зовут.

– Аурелиано Буэндия, – ответил тот.

– Тогда не убивайся и не трать время, – с твердой убежденностью произнес священник. – Много лет тому назад здесь одна улица носила это имя, и отсюда пошел обычай давать детям имена по названиям улиц.

Аурелиано задрожал от злости.

– А! – сказал он. – Значит, и вы не верите.

– Чему?

– Тому, что полковник Аурелиано Буэндия разжег тридцать две гражданские войны и все их проиграл, – ответил Аурелиано. – Что солдатня окружила и расстреляла три тысячи работников и что трупы увезли в двухстах товарных вагонах, чтобы сбросить в море.

Священник смерил Аурелиано жалостливым взглядом.

– Ох, сын мой, – вздохнул он. – С меня хватило бы веры в то, что ты и я сейчас существуем.

Таким образом Аурелиано и Амаранта Урсула остановились на версии с корзиной, и не потому, что она им представлялась правдивой, а потому что исключала все страхи и сомнения.

По мере того как беременность прибавляла во времени, они превращались в единое существо, все больше вживались в одиночество дома, которому не хватало последнего порыва ветра, чтобы рухнуть. Они ограничили свое обитание реальным пространством – начиная от спальни Фернанды, где перед ними уже представали прелести оседлого образа любви, и кончая началом галереи, где Амаранта Урсула сидела и вязала чепчики и чулочки для новорожденного, а тихий Аурелиано отвечал на редкие письма ученого каталонца. Все остальные помещения уступили безудержному натиску тлетворности. Ювелирная мастерская, комната Мелькиадеса, укромные и непритязательные покои Санта Софии де ла Пьедад оказались в глубинах домашней дремучей сельвы, влезть в которую никто бы не осмелился. Осажденные прожорливой природой, Аурелиано и Амаранта Урсула продолжали ухаживать за душицей и бегониями и защищали свой мирок, возводя известковые насыпи,

роя последние окопы в этой вековечной войне людей с муравьями. Длинные, давно не стриженные волосы, коричневые пятна, усеявшие лицо, опухлость ног, полнота, портившая ее любвеобильное гибкое тело, лишили Амаранту Урсулу девичьего облика тех времен, когда она явилась домой с клеткой злополучных канареек и с мужем на привязи, но не убили живость ее духа.

– Черт побери! – как всегда, хохотала она. – Кто бы мог подумать, что мы и вправду станем жить не лучше каннибалов!

Последняя нить, которая связывала их с миром, оборвалась на шестом месяце беременности, когда они получили письмо, по всей видимости, не от ученого каталонца. Письмо было отправлено из Барселоны, но конверт надписан синими чернилами и четким официальным почерком и выглядел невинно и безлико, как пакет от врага. Аурелиано выхватил его из рук Амаранты Урсулы, готовой вскрыть конверт.

– Не надо, – сказал он. – Не хочу читать.

Предчувствие его не обмануло, ученый каталонец писем больше не присылал. Чужое послание, никем не прочитанное, отданное в распоряжение жучков, осталось лежать на полке, где Фернанда иногда забывала свое обручальное кольцо, и там гибло, снедаемое холодным огнем заключенной в нем дурной вести, а одинокие любовники продолжали плыть против течения времени, того уходящего времени, незамоленного и пагубного, которое напрасно тратило себя в попытках подтолкнуть их к пропасти разочарования и забвения. Предвидя такую опасность, Аурелиано и Амаранта Урсула все последние месяцы проводили вместе, держась за руки, завершая верной любовью сотворение сына, начатое разнузданной похотью. Ночами, в объятиях друг друга, их не пугали ни шумные подлунные нашествия муравьев, ни шуршание жучков, ни постоянный тонкий свист дикой зелени в соседних комнатах. Часто их будило копошение покойных. Было слышно, как Урсула сражается с зовом плоти, желая иметь здоровое потомство, как Хосе Аркадио Буэндия ищет химерическую суть великих изобретений, как молится Фернанда, как звереет полковник Аурелиано Буэндия от подлостей войны и от золотых рыбок, как Аурелиано Второй беснуется в одиночестве среди шума и гама пирушек, и тогда они поняли, что безумные увлечения сильнее смерти, и опять стали чувствовать себя счастливыми в уверенности, что не перестанут любить друг друга и в обличье духов, долго-предолго после того, как новые виды животных отвоюют в будущем у насекомых тот горький рай, который насекомые уже почти отвоевали у людей.

В воскресенье, около шести вечера, Амаранта Урсула согнулась от первых схваток. Улыбчивая хозяйка девочек, продававших себя с голоду, помогла ей влезть на обеденный стол, уселась верхом на живот и плющила его в диком галопе до тех пор, пока крики роженицы не сменились ревом огромного младенца. Сквозь слезы Амаранта Урсула увидела великолепный образец Буэндия – крепко сбитый и норовистый, как все Хосе Аркадио, большеглазый и прозорливый, как все Аурелиано, предназначенный для того, чтобы положить начало новому чистому роду, лишенному своих губительных пороков и своей тяги к одиночеству, ибо он единственный из всех Буэндия на протяжении ста лет был зачат в любви.

– Вылитый каннибал, – сказала она. – Будет зваться Родриго.

– Нет, – возразил муж. – Он будет зваться Аурелиано и выиграет тридцать две войны.

После того как была перерезана пуповина, повитуха при свете лампы, которую держал Аурелиано, принялась тряпкой обтирать тельце, покрытое синей слизью. И только когда ребенка повернули кверху спиной, увидели: у него есть еще кое-что, кроме мужского

добавка, – и нагнулись, чтобы получше разглядеть. Это был свиной хвостик.

Родители не встревожились. Аурелиано и Амаранта Урсула не знали о роковом случае из истории их рода и не помнили о грозных предостережениях Урсулы, а повитуха вообще успокоила их, сказав, что этот лишний хвост можно обрезать, когда ребенок потеряет молочные зубы. И все тут же забыли об этом, потому что из Амаранты Урсулы ручьем хлынула кровь. Ей пытались помочь, запихивали в нее паутину и комья золы, но это было все равно что затыкать кулаком пробоину в корабельном днище. Сначала она старалась не падать духом и балагурила. Взяв за руку испуганного Аурелиано, просила его не волноваться, мол, такие, как она, не для того сделаны, чтобы умирать вопреки своей воле, хохотала над варварскими действиями повитухи. Но Аурелиано все меньше верил в чудо, а ее все больше накрывала тень, словно свет отлетал от нее, и, наконец, она впала в забытье. На заре в понедельник привели женщину, которая возле кровати читала молитвы о спасении, равно влияющие и на людей, и на животных, но буйная кровь Амаранты Урсулы не могла подчиниться ничему иному, кроме любви. Днем, спустя сутки страданий, стало ясно, что она мертва, ибо ручей затих сам по себе, профиль заострился, темное лицо разгладилось светлой алебастровой маской, и она снова заулыбалась.

До той поры Аурелиано не понимал, как ему были дороги его друзья, как их ему не хватало и чего бы он только не дал, чтобы в этот момент они были рядом. Он положил ребенка в плетеную колыбель, приготовленную матерью, прикрыл лицо покойной платком и бросился в словно вымерший город искать тропку, ведущую в прошлое. Он постучал в дверь аптеки, куда уже давно не заходил, но теперь там была столярная мастерская. Старуха, открывшая дверь с лампой в руке, простила ему оплошность, но начисто отрицала, что тут когда-то была аптека, и не видывала она никакой женщины с лебединой шеей и томными глазами, звавшейся Мерседес. Он плакал, прижавшись лбом к старой лавке ученого каталонца, сознавая, что льет запоздалые слезы по той смерти, которую вовремя не захотел оплакать, побоявшись нарушить колдовство любви. Он в кровь разбил руки, стуча кулаками по глухим стенам «Золотого мальчика», призывая Пилар Тернеру, не глядя на светящиеся оранжевые круги, которые бороздили небо и на которые он столько раз, как мальчик, зачарованно глядел веселыми вечерами из сада с выпями. В последнем открытом салоне запустелого квартала домов терпимости ансамбль аккордеонистов исполнял песни Рафаэля Эскалоны, племянника епископа и наследника секретов Франсиско Человека. Хозяин заведения, у которого одна рука была сухая и будто обугленная, ибо он замахнулся когда-то на свою мать, пригласил Аурелиано распить с ним бутылку спиртного, Аурелиано пригласил его распить вторую. Хозяин рассказал про беду со своей рукой. Аурелиано рассказал ему про беду со своим сердцем, теперь сухим и будто обугленным, потому что он замахнулся на свою сестру. Оба поплакали вместе, и на какой-то момент боль отпустила Аурелиано. Но когда ему снова пришлось остаться наедине с собой в последний рассветный час Макондо, он, замерев среди площади, раскинул руки и, желая разбудить весь мир, заорал благим матом:

– Друзья – не друзья, а паскуды!

Дьяволица выволокла его из лужи слез и блевотины. Притащила к себе в комнату, обмыла и заставила выпить супа из куриных голов. Надеясь, что это его утешит, она погасила, чиркнув углем по стене, все его долги за любовь, которую он не оплатил, и стала изливать перед ним свои одинокие горести, чтобы не было ему одиноко в несчастье. Утром, стряхнув короткий тяжелый сон, Аурелиано снова ощутил, как раскалывается голова. Он открыл глаза и вспомнил о ребенке.

Плетеная колыбель была пуста. В первую секунду сердце екнуло от радости, и вдруг подумалось, что Амаранта Урсула очнулась от смерти и занялась младенцем. Но ее тело каменным истуканом лежало под покрывалом. Вспомнив, что, войдя в дом, он увидел дверь в спальню открытой, Аурелиано кинулся в галерею, где на него пахнуло утренним ароматом душицы, и взбежал в столовую, где все было как после родов: большой таз, кровавые простыни, горшки с золой и скрученная жгутом пуповина рядом с ножницами и шнурком на пеленке, расстеленной на столе. Мысль о том, что повитуха могла зайти за ребенком ночью, на минуту его успокоила, дала время подумать. Он рухнул в кресло-качалку, в то самое, где сидела Ребека в первичную домашнюю эпоху и давала уроки вышивания, где Амаранта играла в китайские шашки с полковником Херинельдо Маркесом и где Амаранта Урсула шила приданое для младенца, и миг прозрения вдруг открыл ему, что его душе не выдержать всей тяжести минувших лет. Смертельно раненный копьями своей и чьей-то чужой ностальгии, он любовался бесстрашием паутины, лежащей на мертвых розах, упорством сорняков, невозмутимостью воздуха в сиянии февральского утра. И тут он увидел ребенка. Вернее – вздутый сухой бурдючок, который муравьи всего света с великим трудом тащили к своим норам по каменной дорожке сада. Аурелиано не шелохнулся. И не потому, что столбняк на него нашел, а потому, что в этот поразительный момент ему открылась последняя загадка шифра Мелькиадеса и перед глазами возник эпиграф к манускриптам, точно соотнесенный со временем и бытием людей: «Первый в роду был привязан к дереву, а последнего съедят муравьи».

Никогда в своей жизни Аурелиано не поступал осознаннее, чем в тот час, когда забыл о своих усопших и о горе по своим усопшим и снова заколотил двери и окна деревянными крестовинами Фернанды, чтобы не смущать свою душу никакими соблазнами, ибо теперь он знал, что в пергаментах Мелькиадеса определена его судьба. Он нашел их целыми и невредимыми среди доисторических растений, и дымящихся луж, и светящихся насекомых, заполнивших комнату, словно нога человека тут никогда не ступала, и, не удосужившись вынести пергамента на свет, здесь же, стоя, без малейшего труда, будто бы они были написаны по-испански и освещены ярким полуденным солнцем, Аурелиано стал вслух читать текст. Это была история семьи Буэндия, заранее, сто лет назад, описанная Мелькиадесом во всех подробностях. Он написал ее на санскрите, своем родном языке, и зашифровал синхронные стихи личной условной азбукой императора Августа, а несинхронные – военными шифрами лакедемонян. Последняя головоломка, ключ к которой Аурелиано уже нащупывал, когда его сразила любовь к Амаранте Урсуле, состояла в том, что Мелькиадес изложил семейные истории не в соответствии с условным человеческим временем, а до того сгустил повседневные события целого века, что все они соприкасались в какие-то моменты. Потрясенный открытием, Аурелиано читал громко, без запинки те энциклики, которые сам Мелькиадес декламировал Аркадио, заставляя того слушать, и которые в действительности были предсказанием расстрела Аркадио. Аурелиано вычитал пророчество о рождении самой прекрасной на свете женщины, которая вознесется на небо душой и телом, и узнал о происхождении двух близнецов, посмертных детей отца, не сумевших расшифровать пергамента не только из-за бесталанности или нерадивости, а потому, что срок еще не пришел. В этом месте, горя желанием узнать о собственном происхождении, Аурелиано перескочил через несколько страниц. Тут подул ветерок, тихий, собирающийся с силами, наполненный голосами прошлого, шепотом давно отцветших бегоний, вздохами разочарований, отлетевших до прихода настоящей тоски. Аурелиано не

заметил ветерка, ибо в этот момент разглядел первые приметы самого себя – в своем чувственном деде, который по ветрености натуры оказался в пустыне миражей, где искал красивейшую женщину, нашел, но не смог дать ей счастья. Аурелиано узнал его, последовал дальше тайными путями своего рода и увидел миг собственного зачатия среди скорпионов и желтых бабочек в сумеречной купальне, где один мастеровой тешил свою похоть с той, что отдавалась мужчине назло своей матери. Аурелиано был так поглощен письменами, что не заметил второго, яростного и мощного, порыва ветра, который сорвал с петель двери и окна, разметал крышу восточной галереи и подломил фундамент. Только сейчас он открыл, что Амаранта Урсула была ему не сестрой, а теткой и что Фрэнсис Дрейк осадил Риоачу только для того, чтобы все они плутали в поисках друг друга по самым запутанным лабиринтам кровных связей до тех пор, пока не породят мифологического монстра, с которым найдет конец весь их род. Макондо был уже почти весь перемолот в пыль и труху страшным смерчем, который раскручивала ярость библейского урагана, когда Аурелиано перевернул еще одиннадцать страниц, чтобы не тратить время на хорошо знакомые факты, и начал расшифровывать момент, которым жил, постигая его по мере проживаемых мгновений, читая предсказания самому себе на последней странице пергамента, будто смотрелся в словесное зеркало. Скользнул взглядом ниже, чтобы пропустить предсказания и узнать час и обстоятельства собственной смерти. Однако прежде чем взглянуть на последний стих, он уже понял: ему никогда не покинуть эту комнату, ибо было предречено, что зеркальный (или зазеркальный) город будет снесен ураганом и стерт из памяти людей в ту самую минуту когда Аурелиано Вавилонья закончит чтение пергамента, и что все написанное в них неповторимо отныне и навеки, ибо ветвям рода, приговоренного к ста годам одиночества, не дано повториться на земле.

---

notes

Примечания

1

Все очень просто. Этот человек познал четвертое состояние материи *(лат.)*.

2

Отрицаю. Этот факт неопровержимо доказывает существование Бога *(лат.)*.

3

Святая София Милосердная *(исп.)*.